

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион	Филиппов Т. И.	Хомяков Д. А.
Св. Нил Сорский	Гиляров-Платонов Н. П.	Шарапов С. Ф.
Св. Иосиф Волоцкий	Страхов Н. Н.	Щербатов А. Г.
Иван Грозный	Данилевский Н. Я.	Розанов В. В.
«Домострой»	Достоевский Ф. М.	Флоровский Г. В.
Посошков И. Т.	Григорьев А. А.	Ильин И. А.
Ломоносов М. В.	Мещерский В. П.	Нилус С. А.
Болотов А. Т.	Катков М. Н.	Меньшиков М. О.
Пушкин А. С.	Леонтьев К. Н.	Митр. Антоний Храповицкий
Гоголь Н. В.	Победоносцев К. П.	Поселянин Е. Н.
Тютчев Ф. И.	Фадеев Р. А.	Солоневич И. Л.
Св. Серафим Саровский	Киреев А. А.	Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Муравьев А. Н.	Черняев М. Г.	Башилов Б.
Киреевский И. В.	Св. Иоанн Кронштадтский	Митр. Иоанн (Снычев)
Хомяков А. С.	Архиеп. Никон (Рождественский)	Белов В. И.
Аксаков И. С.	Тихомиров Л. А.	Распутин В. Г.
Аксаков К. С.	Соловьев В. С.	Шафаревич И. Р.
Самарин Ю. Ф.	Бердяев Н. А.	
Погодин М. П.	Булгаков С. Н.	
Беляев И. Д.		

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

НУЖНО
ЛЮБИТЬ
РОССИЮ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2008

Гоголь Н. В. Нужно любить Россию / Сост., предисл. и коммент. В. А. Воропаева. / Отв. ред. О. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2008. — 672 с.

Николай Васильевич Гоголь — великий русский писатель, выдающийся выразитель идеалов Святой Руси. В книгу вошли его художественные, литературно-критические, публицистические и духовно-нравственные произведения, связанные темой русской идеологии и духовного будущего России. «Тому, кто пожелает истинно честно служить России, — говорил Гоголь, — нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, — нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова». Издание приурочено к 200-летию со дня рождения классика отечественной литературы, великого патриота России.

ISBN 978-5-902725-15-2

© Институт русской цивилизации, 2008.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Где-то на перепутьях европейских дорог, в 1844 году, Гоголь писал своему другу графу Александру Петровичу Толстому, чьи душевные устремления были направлены к монашеству: «Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его». И далее, сказав о том, что трудно полюбить того, кого никто не видал, Гоголь замечает: «Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу... Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям».

«Но как полюбить братьев, как полюбить людей? – вопрошает Гоголь. – Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это?» И сам отвечает: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви».

Это письмо, названное Гоголем «Нужно любить Россию» и включенное в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», было запрещено цензурой и не печаталось при жизни автора. Оно и сегодня, к сожалению, не так широко известно. Да и сама книга, о которой много написано, едва ли понята

в своей сути. В ней Гоголь во всеуслышание высказал свои взгляды на веру, Церковь, царскую власть, Россию и слово писателя. Основная идея книги видна уже в названиях глав, которые поражают обилием национальных акцентов: «Чтения русских поэтов перед публикою», «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве», «О лиризме наших поэтов», «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», «Страхи и ужасы России», «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». В десяти из тридцати двух глав книги национальная идея вынесена в заглавие. Однако и в тех главах, где имя ее отсутствует в названии, речь идет о России, а в предисловии Гоголь просит соотечественников прочитать его книгу «несколько раз» и «всех в России» помолиться о нем. Можно сказать, что главным содержанием «Выбранных мест...» является Россия и ее духовная будущность.

Из всех русских писателей никто, кажется, так сильно, как Гоголь, не обнажил язв русской души, указав и на источник их — роковую отделенность большей части общества от Церкви. Вся неправда суетного и мелочного существования, которая гнездилась в культурной среде и соседствовала с устремленностью к материальным благам и развлечениям, является следствием этой убивающей душу отделенности. Единственным условием духовного возрождения России Гоголь считал воцерковление русской жизни. «Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, — наша Церковь, — пишет он. — Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направление, всему законная и верная дорога» («Просвещение»); «Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его» («Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве»).

Гоголь указал на два условия, без которых никакие благие преобразования в России невозможны. Прежде всего, нужно любить Россию. А что значит – любить Россию? Писатель поясняет: «Тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, – нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова».

Не должно также ничего делать без благословения Церкви: «По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословения. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым» («Просвещение»).

В своей книге Гоголь выступил в роли государственного мыслителя, стремящегося к наилучшему устройству страны, установлению единственно правильной иерархии должностей, при которой каждый выполняет свой долг на своем месте и тем глубже сознает свою ответственность, чем это место выше («Занимающему важное место»). Отсюда разнообразие адресатов писем: от государственного деятеля до духовного пастыря, от человека искусства до светской женщины.

Но это – только внешняя сторона дела. Гоголевская апология России, утверждение ее мессианской роли в мире в конечном итоге опираются не на внешние благоустройства и международный авторитет страны, не на военную мощь (хотя и они важны), а главным образом на духовные устои национального характера. Взгляд Гоголя на Россию – это прежде всего взгляд православного христианина, сознающего, что все материальные богатства должны быть подчинены высшей цели и направлены к ней.

Здесь – основная гоголевская идея и постоянный момент соблазна для упреков писателю в великодержавном шовинизме: Гоголь будто бы утверждает, что Россия стоит впереди других народов именно в смысле более полного воплощения христианского идеала. Но, по Гоголю, залог будущего Рос-

сии – не только в особых духовных дарах, которыми щедро наделен русский человек по сравнению с прочими народами, а еще и в осознании им своего неустройства, своей духовной нищеты (в евангельском смысле), и в тех огромных возможностях, которые присущи России как сравнительно молодой христианской державе.

Эта идея ясно выражена в замечательной концовке «Светлого Воскресенья»: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе... Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней».

Все вопросы жизни – бытовые, общественные, государственные, литературные – имеют для Гоголя религиозно-нравственный смысл. Признавая и принимая существующий порядок вещей, он стремился к преобразованию общества через преобразование человека. «Общество образуется само собою, общество слагается из единиц, – писал он. – Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою... Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».

Любовь к Отечеству, понимаемая как служение «гражданина земли своей», пронизывает все творчество Гоголя. Героической борьбе малороссов против чужеземцев посвящено одно из лучших творений писателя – историческая повесть «Тарас Бульба». С подлинно эпическим размахом создает автор яркие, могучие характеры запорожцев. Суров и непреклонен полковник Тарас, опытный предводитель казацкого войска. Служению Родине и «товариществу» он отдает без остатка всего себя. Гимном русскому боевому братству звучат слова Тараса: «Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать лю-

бит свое дитя, дитя любит отца и мать; но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя! но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей».

Боевые сцены под стенами Дубно – центральные в повести. Доблестно сражаются запорожские казаки, вызывая восхищение даже у своих врагов. «Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло все поле; а запорожцы все падали, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли казаки, не заряжая ружей... Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же при всех: «Вот brave молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!»

Действия казаков даны крупным планом, штрихами яркими, заключающими в себе нередко патетическую гиперболу, характерную для героического эпоса. Мы видим и весь ход боя, и действия отдельных бойцов с их воинскими приемами, их наружность, оружие, одежду. Уже первые читатели «Тараса Бульбы» увидели в повести образец эпического стиля. Работая над книгой, Гоголь пересмотрел множество летописей и исторических источников. Он прекрасно знал эпоху, которой посвящено его произведение. Но важнейшим материалом, который помог писателю так живописно передать характеры запорожцев, стали народные песни и думы. Гоголь был глубоким знатоком и собирателем устного народного творчества. «Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! – писал он в 1833 году своему другу, известному фольклористу Михаилу Максимовичу. – Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями!»

Именно в песнях находил Гоголь отражение подлинной народной жизни. «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа», – писал он в статье «О малороссийских песнях». Автор «Тараса

Бульбы» сознательно обращается к поэтике фольклора, из героических народных песен черпает образы, краски, приемы. Так, например, он широко использует былинно-песенный прием распространенных сравнений: «Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластаный среди воздуха на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела, — так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку».

Один из самых характерных приемов народной поэзии — это тоекратные повторения. В повести Гоголя в разгар битвы Тарас трижды перекликается с казаками: «А что, паны? есть еще порох в пороховницах? не ослабела ли казацкая сила? не гнутя ли казаки?» И трижды слышится ему в ответ: «Есть еще, батько, порох в пороховницах; не ослабела еще казацкая сила, еще не гнутя казаки!»

Героям Сечи свойственна одна общая черта — их самоотверженная преданность Родине. Сраженные в битве казаки, умирая, славят Русскую землю. Сбываются слова Тараса: «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведется так умирать!..» Вот пошатнулся смертельно раненый удалой атаман Мосий Шило, наложил руку на свою рану и сказал: «Прощайте, паны-братья, товарищи! пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» Добрый казак Степан Гуска, поднятый на четырех копьях, только и успел воскликнуть: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» Упал старый Касьян Бовдюг, сраженный пулей в самое сердце, но, собрав последние силы, сказал: «Не жаль расстаться с светом! дай Бог и всякому такой кончины! пусть же славится до конца века Русская земля!»

Гоголю важно показать, что запорожцы сражаются и умирают за православную веру. «И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать

в ней за святую веру». Вот пал, пронзенный копьем, куренной атаман Кукубенко, лучший цвет казацкого войска. Повел он во-круг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! пусть же после нас живут лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» Автор восхищается своим героем: «И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам; хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную Меня! – скажет ему Христос. – Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал Мою Церковь».

Читая «Тараса Бульбу», понимаешь, что нет на свете преступления более страшного и позорного, чем измена Родине. Младший сын Тараса, презрев священный долг, увлекся красивой полячкой и перешел на сторону врагов Сечи. Как грозное возмездие воспринимает Андрий свою последнюю встречу с отцом. На вопрос Тараса: «Что, сынку! Помогли тебе твои ляхи?» – Андрий «был безответен». «Так продать? продать веру? продать своих?» Не чувствует жалости к сыну-изменнику Тарас. Без колебания вершит он свой суд: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Покорно принимает Андрий приговор отца, понимая, что нет у него и не может быть оправдания. Он не только предатель, но и богоборец, так как отрекаясь от Родины («Кто сказал, что моя отчизна Украина? кто дал мне ее в отчизны?»), он отрекается от Божьего установления: только Господь указывает каждому место его рождения, и человек должен любить данную ему Богом Родину.

А вслед за этим попадает в плен старший сын Тараса Остап. С риском для жизни пробирается в стан врагов отец, чтобы поддержать его в минуту мучительной казни. Вскоре и сам Тарас мужественно погибает в огне, распятый на дереве. В последние минуты жизни он думает не о себе, а о товарищах, о Родине. «...Уже казаки были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана. «Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. – Вспоминайте меня и будущей весной прибывай-

те сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Пойдите же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера!»

Гоголя занимала мысль – не грешно ли христианину убивать людей на поле брани. Среди его выписок из творений святых отцов и учителей Церкви есть такая: «...не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно» (Из святителя Афанасия Александрийского). А вот выписка из современного Гоголю автора, епископа Гедеоны Полтавского: «Облекается ли кто в воинственное мужество: оно возвышенно, когда дышит верою; ибо тогда не отчаяние, не страх, не боязнь, не ожесточение живет в груди воина, но великодушие, поражающее врага без презрения к нему; тогда не мщение, не злоба, но благородное сознание своих достоинств наполняет его сердце».

В книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь подводит итог своим размышлениям о том, правомерно ли защищать святыню веры силой оружия: «Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину...» Это было перед Куликовской битвой, когда преподобный Сергей Радонежский, игумен земли Русской, благословил великого князя Московского Дмитрия Донского на сражение с татарами.

В последние годы жизни Гоголь задумал написать книгу по географии России для юношества. В набросках официального письма (июль 1850 года) одному высокому лицу он излагает свои соображения по этому поводу: «Нам нужно живое, а не мертвое изображение России, та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров-иностранцев... Книга эта составляла давно предмет моих размышлений... В успехе ее я надеюсь не столько на свои силы, сколько на любовь к России, слава Богу, беспрестанно во мне увеличивающаяся, на споспешество всех истинно знающих ее

людей, которым дорога ее будущая участь и воспитанье собственных детей, а пуще всего на милость и помощь Божью, без которой ничто не совершится...»

С этим замыслом связаны и предполагаемые поездки Гоголя по монастырям. Пантелеимон Кулиш, первый биограф писателя, рассказывает: «Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частию были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки Русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился»».

На написание этого труда Гоголь спрашивал благословение преподобных Оптиных старцев. Иеромонах Макарий преподал его, но предупредил сочинителя, чтобы тот ждал препятствий: «В благом вашем намерении об издании полезной книги Бог силен даровать вам свою помощь, когда будет на сие Его святая воля. Но, как пишут святые отцы, что всякому святому делу или предыдет, или последует искушение, то и вам предложится в сем деле искус, требующий понуждения». Этого замысла писатель осуществить не успел.

Долгое пребывание за границей не отрывало души Гоголя от России. В сентябре 1850 года он писал дипломату и духовному писателю Александру Стурдзе из родной Васильевки: «Скажу вам откровенно, что мне не хочется и на три месяца оставлять России. Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия все мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной».

Письмо к графу Толстому Гоголь заключает следующими словами, как бы обращенными и к нам: «Нет, вы еще не

любите Россию. А не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам».

Последнее десятилетие жизни Гоголя проходит под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, он воплощал их в своем образе жизни. «Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведасть его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира». Гоголь не имел своего дома и жил у друзей, – сегодня у одного, завтра у другого. Свою долю имения он отказал в пользу матери и остался нищим, помогая при этом бедным студентам из средств, полученных за издание своих сочинений. Оставшееся после смерти Гоголя личное его имущество состояло из нескольких десятков рублей серебром, книг и старых вещей, а между тем созданный им фонд «на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством», составлял более двух с половиной тысяч рублей.

Современники не оставили никаких свидетельств о близких отношениях Гоголя с какой-либо женщиной. О его церковном отношении к послушанию говорит тот поразительный факт, что он по совету своего духовного отца сжег главы незавершенного труда и практически отказался от художественного творчества. О том, насколько труден этот шаг был для Гоголя, можно судить по его признанию в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни, и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего».

Однако подлинный трагизм ситуации заключался в том, что монашеский склад был только одной и, вероятно, не главной стороной гоголевской натуры. Художническое начало преобла-

дало в нем; кризис Гоголя – следствие внутреннего конфликта между духовными устремлениями и писательским даром.

Умирал Гоголь с четками в руках. Перед кончиной он дважды исповедался и причастился Святых Таин, а также со- боровался. Последними его словами, сказанными в полном сознании, были: «Как сладко умирать!» Накануне, часу в одиннадцатом, он громко произнес: «Лестницу, поскорее, да- вай лестницу!..» Подобные же слова о лестнице сказал перед смертью святитель Тихон Задонский, один из любимых духов- ных писателей Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно.

После кончины Гоголя в его бумагах были обнаружены обращение к друзьям, наброски духовного завещания, молит- вы, написанные на отдельных листках, предсмертные записи.

Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи, желанья и мо- ленья их. Спаси их, Боже. Прости им, Боже, как и мне, греш- ному, всякое согрешенье пред Тобою.

Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелезай иначе есть тать и разбойник.

Помилуй меня, грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого Креста!

В завещании своем Гоголь советовал сестрам открыть в деревне приют для бедных девиц, а по возможности и превра- тить его в монастырь, и просил: «Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде церковной, и что- бы панихиды по мне не прекращались».

Владимир ВОРОПАЕВ

СТАТЬИ ИЗ «АРАБЕСОК»

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

Благодарность Зиждителю мириад за благость и сострадание к людям! Три чудные сестры посланы Им украсить и усладить мир: без них он бы был пустыня и без пения катился бы по своему пути. Дружнее, союзнее сдвинем наши желания и — первый кубок за здоровье скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю. Она — мгновенное явление. Она — оставшийся след того народа, который весь заключился в ней, со всем своим духом и жизнью. Она — ясный призрак того светлого греческого мира, который ушел от нас в глубокое удаление веков, скрылся уже туманом и до которого достигает одна только мысль поэта. Мир, увитый виноградными гроздьями и масличными лозами, гармоническим вымыслом и роскошным язычеством; мир, несущийся в стройной пляске, при звуке тимпанов, в порыве вакхических движений, где чувство красоты проникло всюду: в хижину бедняка, под ветви платана, под мрамор колонн, на площадь, кипящую живым, своенравным народом, в рельеф, украшающий чашу пиршества, изображающий всю выющую вереницу грациозной мифологии, где из пены волн стыдливо выходит богиня красоты, тритоны¹ несутся, ударяя в ладони. Посейдон выходит из глубины своей прекрасной стихии — серебряный и белый; мир, где вся религия заключилась в красоте, в красоте человеческой, в богоподобной красоте женщины, — этот мир весь остался в ней, в этой нежной скульптуре; ничто, кроме ее,

не могло так живо выразить его светлое существование. Белая, млечная, дышащая в прозрачном мраморе красотой, негой и сладострастием, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человека. В каком бы ни было пылу страсти, в каком бы ни было сильном порыве, но всегда в ней человек является прекрасным, гордым и невольно остановит атлетическим, свободным своим положением. Все в ней слилось в красоту и чувственность: с ее страдающими группами не сливаешь страдающий вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самым их страданием, — так чувство красоты пластической, спокойной пересиливает в ней стремление духа! Она никогда не выражала долгого глубокого чувства, она создавала только быстрые движения: свирепый гнев, мгновенный вопль страдания, ужас, испуг при внезапности, слезы, гордость и презрение и, наконец, красоту, погруженную саму в себя. Она обращает все чувства зрителя в одно наслаждение, в наслаждение спокойное, ведущее за собою негу и самодовольство языческого мира. В ней нет тех тайных, беспредельных чувств, которые влекут за собою бесконечные мечтания. В ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясений и переворотов жизни. Она прекрасна, мгновенна, как красавица,глянувшая в зеркало, усмехнувшаяся, видя свое изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых юношей. Она очаровательна, как жизнь, как мир, как чувственная красота, которой она служит алтарем. Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его — и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства: она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью.

Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство воздвигнуло из ничтожества и превратило в иполинское. Его порывом они развились и исторгнулись из границ чувственного мира. Мне жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... светлее сияй, покал мой, в моей смиренной

келье, и да здравствует живопись! Возвышенная, прекрасная, как осень, в богатом своем убранстве мелькающая сквозь переплет окна, увитого виноградом, смиренная и обширная, как вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смела выразить твоих небесных откровений. Никогда не были разлиты по ней те тонкие, те таинственно-земные черты, вглядываясь в которые слышишь, как наполняет душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вот мелькают, как в облачном тумане, длинные галереи, где из старинных позолоченных рам выказываешь ты себя живую и темную от неумолимого времени, и перед тобою стоит, сложивши накрест руки, безмолвный зритель; и уже нет в его лице наслаждения, — взор его дышит наслаждением нездешним. Ты не была выражением жизни какой-нибудь нации, — нет, ты была выше: ты была выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: как вдохновенен и долог ясный взор ее! Она не схватывает одного только быстрого мгновения, какое выражает мрамор; она длит это мгновение, она продолжает жизнь за границы чувственного, она похищает явления из другого, безграничного мира, для названия которых нет слов. Все неопределенное, что не в силах выразить мрамор, рассекаемый могучим молотом скульптора, определяется вдохновенною ее кистью. Она также выражает страсти, понятные всякому, но чувственность уже не так властвует в них: духовное невольно проникает все. Страдание выражается живее и вызывает сострадание, и вся она требует сочувствия, а не наслаждения. Она берет уже не одного человека, ее границы шире: она заключает в себе весь мир; все прекрасные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония и связь человека с природою — в ней одной. Она соединяет чувственное с духовным.

Но сильнее шипи, третий покал мой! Ярче сверкай и брызгай по золотым краям его, звонкая пена, — ты сверкаешь в честь музыки. Она восторженнее, она стремительнее обеих сестер своих. Она вся — порыв; она вдруг, за одним разом, отрывает человека от земли его, оглушает его громом могущих звуков

и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет. Он уже не наслаждается, он не сострадает, — он сам превращается в страдание; душа его не созерцает непостижимого явления, но сама живет, живет своею жизнью, живет порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна; но могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля², где тысячи поверженных на колени молельщиков стремится она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни.

Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира? Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись — тихий восторг и мечтание, музыка — страсть и смятение души. Рассматривая мраморное произведение скульптуры, дух невольно погружается в упоение; рассматривая произведение живописи, он превращается в созерцание; слыша музыку — в болезненный вопль, как бы душою овладело только одно желание вырваться из тела. Она — наша! она — принадлежность нового мира! Она осталась нам, когда оставили нас и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! буди чаще наши меркантильные души! ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм,

силящийся овладеть нашим миром! Пусть при могущественном ударе смычка твоего смятенная душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести, спекулятор³ растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта. О, не оставляй нас, божество наше! Великий Зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие Своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человеку Он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми, без помощи механизма, силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному, чувственному миру послал Он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту, — и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам беспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал Он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал Он могущественную музыку — стремительно обращать нас к Нему. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?

1831

О ПРЕПОДАВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

I

Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось,

разнообразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который держал свободный дух человека кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями: вот цель всеобщей истории! Она должна собрать в одно все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое; из них составить одну величественную полную поэму. Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда. Все события мира должны быть так тесно связаны между собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырвано, то цепь разрывается. Связь эту не должно принимать в буквальном смысле. Она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывают происшествия, или система, создающаяся в голове независимо от фактов и к которой после своевольно притягивают события мира. Связь эта должна заключаться в одной общей мысли: в одной неразрывной истории человечества, перед которою и государства и события — временные формы и образы! Мир должен быть представлен в том же колоссальном величии, в каком он являлся, проникнутый теми же таинственными путями Промысла, которые так непостижимо на нем означались. Интерес необходимо должен быть доведен до высочайшей степени, так, чтобы слушателя мучило желание узнать далее; чтобы он не в состоянии был закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сделал это, то разве с тем только, чтобы начать сызнова чтение; чтобы очевидно было, как одно событие рождает другое и как без первоначального не было бы последующего. Только таким образом должна быть создана история.

II

Все, что ни является в истории: народы, события — должны быть непременно живы и как бы находиться перед глазами слушателей или читателей, чтоб каждый народ, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, чтобы народ со все-

ми своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена. Для того нужно собрать не многие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ. Для того чтобы извлечь эти черты, нужен ум, сильный схватить все незаметные для простого глаза оттенки, нужно терпение пере-рыть множество иногда самых неинтересных книг. Но что уже один узнал, то другим передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь в архивах.

III

Преподаватель должен призвать в помощь географию, но не в том жалком виде, в каком ее часто принимают, то есть для того только, чтобы показать место, где что происходило. Нет! География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это могучее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь-то они должны увидеть, как образуется правление; что его не люди совершенно устанавливают, но нечувствительно устанавливает и развивает самое положение земли; что формы его оттого священные, и изменение их неминуемо должно навлечь несчастье на народ.

IV

События и эпохи великие, всемирные, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первом пла-

не со всеми своими следствиями, изменившими мир; не так, как делают иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествие есть великое, тем и отделяются или приводят близорукие следствия в виде отрубленных ветвей, тогда как должно развить его во всем пространстве, вывести наружу все тайные причины его явления и показать, каким образом следствия от него, как широкие ветви, распространяются по грядущим векам, более и более разветвляются на едва заметные отпрыски, слабеют и наконец совершенно исчезают или глухо отдаются даже в нынешние времена, подобно сильному звуку в горном ущелье, который вдруг умирает после рождения, но долго еще отзывается в своем эхе. Эти события должно показать в таком виде, чтобы все видели ясно, что они великие маяки всеобщей истории; что на них она держится, как земля держится на первозданных гранитах, как животное на своем скелете.

V

Теперь об образе преподавания. Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет его самая ученость: его не будут слушать; тогда никакие истины не произведут на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений; тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластиче-

скими мертвыми правилами и не имеет даже умственных сил доказать их; когда юный, развертывающийся ум слушателей, начиная понимать уже выше его, приучается презирать его? Тогда даже справедливые замечания возбуждают внутренний смех и желание действовать и умствовать наперекор; тогда самые священные слова в устах его, как-то: преданность к Религии и привязанность к Отечеству и Государю, превращаются для них в мнения ничтожные. Какие из этого бывают ужасные следствия, это видим, к сожалению, нередко. И потому-то не должно упускать из внимания, что возраст слушателей есть возраст сильных впечатлений; и потому нужно иметь всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этот энтузиазм их на прекрасное и благородное; чтобы рассказ профессора дышал сам энтузиазмом. Его убеждения должны быть так сильны, так выведены из самой природы, так естественны, чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде, нежели он совершенно укажет на нее. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и понятен для всякого. Истинно высокое одето величественною простотою: где величие, там и простота. Он не должен довольствоваться тем, что его некоторые понимают; его должны понимать все. Чтобы делаться доступнее, он не должен быть скуп на сравнения. Как часто понятное еще более поясняется сравнением! и потому эти сравнения он должен всегда брать из предметов самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное и отвлеченное становится понятным. Он не должен говорить слишком много, потому что этим утомляется внимание слушателей и потому что многосложность и большое обилие предметов не дадут возможности удержать всего в мыслях. Каждая лекция профессора непременно должна иметь целость и казаться оконченною, чтоб в уме слушателей она представлялась стройною поэмою; чтобы они видели в начале, что она должна заключать в себе и что заключает: чрез это они сами в своем рассказе всегда будут соблюдать цель и целость. А это необходимее всего в истории, где ни одно событие не брошено без цели.

VI

План же для преподавания, после многих наблюдений, испытаний себя и слушателей, я полагаю лучшим следующий.

Прежде всего почитаю необходимым представить слушателям эскиз всей истории человечества, в немногих, но сильных словах и в нераздельной связи, чтобы они вдруг обняли все то, о чем будут слышать, иначе они не так скоро и не в такой ясности постигнут весь механизм истории. Все равно как нельзя узнать совершенно город, исходивши все его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное место, откуда бы он виден был весь как на ладони. Я набрасываю здесь эскиз для того, чтобы показать вместе, в каком виде и в какой связи должна быть история.

Прежде всего я должен представить, каким образом человечество началось Востоком. Я должен изобразить Восток с его древними патриархальными царствами, с религиями, облеченными в глубокую таинственность, так непонятную для простого народа, кроме религии евреев¹, между коими сохранилось чистое, первобытное ведение истинного Бога; как эти древние государства оградилась друг от друга, будто неприступною стеною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; так один только народ финикийский, первые мореплаватели древнего мира, приводил невольно своею промышленностью в сообщение эти почти неподвижные государства, и каким образом первый всемирный завоеватель, Кир, с свежим и сильным народом, персами, подверг весь Восток своей власти и насильно соединил разнохарактерные народы; но нравы, религия, формы правления остались в государствах те же, цари только обратились в сатрапов, и весь Восток видел над собою одну верховную власть царя царей, персидского повелителя; как постепенно от взаимного сообщения эти народы теряли свою особенность и национальность и вместе с своим царем царей, почти богом, невидимым для народа, поверглись в азиатскую роскошь. — Здесь я останавливаюсь и обращаюсь к другой части древнего мира, к Европе. Я должен изобразить, как возник

в ней этот цвет его, народ греческий, с живым, любопытным умом, республиканским духом, совершенно противоположными формами правления, поэтической религией, ясными, живыми идеями, так противоборствующими важной таинственности Востока; как развернулось у них просвещение, в таком необыкновенном блеске, и как, наконец, один честолюбивый грек подверг их своей монархической власти, как этот великий грек задумал гигантское дело: соединить Восток с Европою и разнести везде греческое просвещение². И вот, чтобы связать теснее три части света, строится город Александрия; герой умирает, всесветная монархия падает вместе с ним. Но подвиги его живы, плоды зреют: настает знаменитый Александрийский век, когда весь древний мир толпится у гавани александрийской, когда греческие ученые во всех городах, и национальность опять исчезает, народы опять смешиваются! А между тем в Италии, почти невидимо от всех, созревает железная сила римлян.

Я должен изобразить, как этот суровый, воинственный народ покоряет одно за другим государства, обогащается награбленными богатствами, поглощает весь Восток. Легионы его проникают в те земли Европы, где владение уже не доставляет ничего нужного для человека. Уже Цезарь заносит ногу в Британию, римские орлы на скалах Албиона... между тем неведомые степи Средней Азии извергают толпы неведомых народов, которые теснят и гонят пред собою других, вгоняют их в Европу, сами несутся по пятам их и грозно останавливаются на севере, как зловещая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые от римлян германскими лесами и непроходимыми болотами. А между тем уже ни одного не остается независимого царства. Весь мир разделен на римские провинции. Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Все мешается опять. Все делается римлянами, и ни одного настоящего римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрелищ тиранствуют над миром, — в недрах его неприметно совершается великое событие: в ветхом мире зарождается но-

вый! воплощается неузнанный миром Божественный Спаситель его; и вечное слово, не понятое властелинами, раздается в темницах и пустынях, таинственно выжидая новых народов. Наконец на весь древний мир непостижимо находит летаргический сон, та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни, когда просвещение не двигается ни вперед, ни назад, сила и характер исчезают, все обращается в мелкий, ничтожный этикет, жалкую, развратную бесхарактерность. А в Азии между тем новый толчок, как электрическая искра, пробегает по всей цепи: один народ теснит и гонит перед собою другой, который, в свою очередь, сгоняет третий, и самые крайние появляются уже на римских границах, тогда как жалкие победители мира употребляют все усилия спасти себя: сначала откупаются золотом, потом из них же составляют себе войско защитников, потом отдают им одну за другую все свои провинции, наконец, предают им Рим, и те, которые сохраняли еще слабые остатки познаний, бегут на Восток, прочие, невежественные и слабые, исчезают в сильных толпах нового народа.

Я должен изобразить, как начинается новая жизнь в Европе; как основываются и принимают крещение дикие государства в границах, назначенных природою, с феодальными правами, с вассальными владениями, и как могущественный папа, прежде только римский первосвященник, делается государем, незаметно присоединяет к своей сильной религиозной власти светскую. Между тем на Востоке остатки римлян теснятся и покоряются новым сильным народом, мгновенно, как бы фантастически, возродившимся на своем каменном Аравийском полуострове, подвинутом до иступления религией, совершенно восточной, основанной полупомешанным энтузиастом Магометом; как этот народ, с азиатской саблей в руках, распространял магометанство на место прежних остатков греческого просвещения, и как изумительно быстро этот чудесный народ из завоевателей делается просветителем, развертывается во всем блеске, с своей роскошной фантазией, глубокими мыслями и поэзией жизни, и как он вдруг меркнет и затмевается выходцами из-за моря Каспийского, которым

оставляет в наследство одно магометанство, как почти в то же время в Европе корсары северных морей, норманны, с неслышанною дерзостью, в малом числе, грабят и овладевают целыми государствами, наконец, переменяют дикую религию свою на христианство и прибавляют Европе свою силу и нравы; а между тем папа мало-помалу делается неограниченным монархом всей Европы, и самый император немецкий, которого уважали все народы, не смеет противустать ему, и как по мановению его целые народы, вассалы, короли оставляют свои земли, богатства, кладут пламенный крест на рамена и спешат с энтузиазмом в Палестину; как вся Европа, двинувшись с мест, валится в Азию, Восток сшибается с Западом, и две грозные силы, христианство — с магометанством; как это великое событие порождает рыцарство, обнявшее всю Европу; как возникли орденские общества, осудившие себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть верными одной цели, и произошел самый сильнорелигиозный христианский век; как энтузиазм к вере перешел потом границы, начертанные десницею Божественного Спасителя; и как в то же время невидимо от всей Европы совершается великий эпизод всемирной истории: создается беспримерная по величине монархия Чингисханова, поглотившая все азиатские земли, неизвестные европейцам. В Европе одни только монастыри имеют землю и оседлость; все обратилось в рыцарство, все кочует, все беспокойно: каждый вместе и воин и полководец, и вассал и повелитель, и слушается и не слушается, — век величайшего разъединения и вместе единства! Каждый управляется своей волей, и между тем все согласны в одной цели и мыслях. Бедные поселяне, вытерпев чашу бед, наконец решаются соединиться независимо от своих повелителей в города. Возникает среднее сословие граждан, города начинают богатеть, и на севере Европы, в отпор рыцарям, образуется Ганзейский союз, связывающий всю северную Европу своей торговлей. Между тем на юге возникает порождение крестовых походов — страшная торговлею Венеция, эта царица морей, эта чудная республика, с таким замысловатым и необыкновенно устроенным правлением. Все богатства Ев-

ропы и Азии невидимо перешли в ее руки, и как папа религиозною властью, так Венеция непомерным богатством повелевала Европою. Духовный деспот употреблял все силы убить ее торговлю, но все было напрасно — пока наконец генуэзский гражданин не убил ее открытием Нового Света. Наконец, я должен представить, как вдруг расширился круг действий; как пала торговля Средиземного моря. Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота; Атлантический и Восточный океаны в их власти; и в то же время папские миссии проникают в Северо-Восточную Азию и Африку — и мир открывается почти вдруг во всей своей обширности. Между тем в Европе понемногу сомневаются в справедливости папской власти, и как прежде торговлю Венеции убил бедный генуэзец, так власть папы сокрушил августинский монах Лютер. Как образовалась эта мысль в голове смиренного монаха, как сильно и упрямо защищал он свои положения! Как, при падении своем, папа становился грознее и изобретательнее: ввел ужасную инквизицию и страшный невидимую силою орден иезуитский, который вдруг рассыпался по всему свету, проник во все, прошел везде и тайно сообщался между собою на двух разных концах мира. Но чем грознее становился папа, тем сильнее против него работали типографские станки. Вся Европа разделилась на две партии, и эти партии, наконец, схватились за оружие, и война жестокая внутри и вне государств, долгая, обхватила вдруг всю Европу. Но уже не копьями и не стрелами производилась она. Нет! пушками, ядрами, громом и огнем, ужасным и благодетельным изобретением монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государя становятся сильнее. Я должен изобразить, как изменилась Европа после этих войн. Государства, народы сливаются плотнее в нераздельные массы. Нет того разъединения власти, как в Средние века. Она сосредоточивается более в одном лице. И как оттого сильные характеры становятся виднее, круг государей, министров, полководцев обширнее! Сам собою, невольно завязывается в Европе политический союз, полагающий защищать оружием неприкосновенность каждого государства.

А между тем неутомимые купцы-голландцы, вырвавшие свою землю у моря, овладевают островами Восточного океана, берут миллионы за разводимые на них плантации драгоценных растений юга и, как прежде Венеция, схватывают торговлю всего мира, пока один необыкновенный государь не подрывает ее и не покушается на неприкосновенность государств. Я должен изобразить блестящий век, произведенный этим государем (Лудовиком XIV)³, когда Франция закипела изделиями роскоши, фабриками, писателями, когда Париж сделался всемирною столицею, куда съезжались со всей Европы, и французский язык, французские нравы, французский этикет и обычаи распространились по всей Европе. Но, нарушивши неприкосновенность чужих владений, этот честолюбивый король хотя и расстроивает торговлю голландцев, но вместе разоряет свое государство и сам убивает свое величие. Как быстро пользуются этим островитяне британские, которые до того медленно, но верно близились к своей цели, наконец, очутились почти вдруг обладателями торговли всего мира: ворочают миллионами в Индии, собирают дань с Америки, и где только море, там британский флаг. Им преграждает путь исполин XIX века, Наполеон, и уже действует другим орудием: совершенно военным деспотизмом; своими быстрыми движениями оглушает Европу и налагает на нее железное свое протекторство. Напрасно гремит против него в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы⁴. Ничто не имеет духа ему противиться, пока он сам не набегает на гибель свою, вторгнувшись в Россию, где неведомые ему пространства, лютость климата и войска, образованные суворовскою тактикою, погубляют его. И Россия, сокрушившая этого исполина о неприступные твердыни свои, останавливается в грозном величии на своем огромном северо-востоке. Освобожденные государства получают прежний вид и прежние формы, утверждают снова союз и неприкосновенность владений⁵. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства; будто невидимые духи помо-

гают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее; и он, в священном трепете, видит, как Слово из Назарета обтекло наконец весь мир⁶.

Когда история мира будет удержана в таком кратком, но полном эскизе, и происшествия будут так связаны между собою, тогда ничто не улетит из головы слушателей, и в уме их невольно составитя целое. Наконец, этот эскиз, разившись в великом объеме, составит полную историю человечества.

VII

После изложения полной истории человечества я должен разобрать отдельно историю всех государств и народов, составляющих великий механизм всеобщей истории. Натурально, та же полнота, та же целость должна быть видна и здесь в обозрении каждого порознь. Я должен обнять его вдруг с начала до конца: как оно основалось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если только пало) и каким образом достигло того вида, в каком находится ныне; если же народ стерся с лица земли, то каким образом на место его образовался новый и что принял от прежнего.

VIII

Чтоб еще глубже все сказанное вошло в память, по окончании курса необходимы повторительные обзоры. Но чтобы повторение было успешнее, нужно стараться давать ему интерес и занимательность новизны. После истории всего мира и отдельно каждой земли и народа не мешает сделать обзор каждой части света и тут показать все отличие, как их, так и народов, в них находящихся, чтоб слушатели сами могли вывести результат:

Во-первых, об Азии, этой обширной колыбели младенствующего человечества — земле великих переворотов, где вдруг возрастают в страшном величии народы и вдруг стираются другими; где столько наций невозвратно пронесли одна

за другою, а между тем формы правления, дух народов одни и те же: все так же важен, так же горд азиатец, так же быстро воспламеняется и кипит страстями, так же скоро предается лени и бездейственной роскоши. И вместе с сим эта часть света есть земля разительных противоположностей и какого-то великого беспорядка: еще один народ кочует беззаботно в необозримом многолюдстве с необозримыми табунами, а между тем на другом конце, где-нибудь в пустыне, исступленный изувер, изнуря себя бесконечным постом, замышляет новую религию, которая впоследствии обхватит всю Азию, оденет народ, как непроницаемой броней, своим исступленным вдохновением и поведет его на разрушение; и тут же, может быть, недалеко от него находится народ, уже перешедший все эти явления и кризисы, уже погруженный в роскошь, утомленный азиатским пресыщением. Только здесь может находиться та странная противоположность, которой дивимся в дереве юга, где на одной ветке, в одно время, один плод цветет, между тем как другой наливается, третий зреет, четвертый переспелый валится на землю.

Потом о Европе, история которой означена совершенно противоположною характерностью, где существование народов, напротив, долго и мощно; где все, напротив, порядок и стройность: народы разом подвигаются такт в такт, как регулярные европейские войска; государства все почти в одно время растут и совершенствуются; при всех характерных отличиях наций, в них видно общее единство, и каждая из них так чудно запутана с другими, что становится совершенно понятною только в соединении со всей Европою, и вся Европа кажется одним государством. И в этой небольшой части света решилась долгая тяжба: человек стал выше природы, а природа обратилась в искусство; самая бедность и скупость ее вызвали наружу весь безграничный мир, скрывавшийся в человеке, дали ему почувствовать, во сколько он выше земного, и превратили всю страну в вечную жизнь ума. В этой одной только части света могущественно развился высокий гений христианства, и необъятная мысль, осененная небесным знаменiem креста, витает над нею, как над Отчиною.

Потом об Африке, представляющей, в противоположность Европе, смерть ума, где природа всегда деспотически властвовала над человеком; где она во всем своем царственном величии и всегда почти возвращала его в первобытное состояние, в жизнь чувственную; где ни один коренной туземный народ не прожил мощною жизнью и не отбросил от себя ярких лучей на мир; где даже переселенцы с других земель напрасно вступали в борьбу с палящею природою африканскою; чем далее погружались они в Африку, тем глубже повергались в чувственность.

Наконец, об Америке, этой всемирной колонии, вавилонском смешении наций, где столкнулись три противуречащие части света, смешались, но еще не слились в одно, и потому еще не имеющей покамест никакого единства, даже единства религии; невзирая на частную характерность, не получившей общего характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей из первоначальных стихий, разложенных начал; несмотря на независимые государства, все еще похожей на колонию.

Быстрый обзор истории каждой части света, во всей ее резкой характерности, не поверхностный, но глубокий — результат веков и событий, потому необходим, что он наводит на мысли и заставляет слушателей думать. Ум тогда быстрее развивается, когда сам предлагает себе великий и поэтический вопрос. Этот обзор каждой части тем более еще необходим, что показывает часто с новой стороны те же предметы. А для полного уразумения нужно, чтобы предмет был освещен со всех сторон. «Только тогда вы знаете хорошо историю, — говорит Шлецер⁷, — когда знаете ее и вдоль и поперек, и вкось, и во всех направлениях».

IX

И для того в виде эпилога после окончания курса хорошо рассмотреть за одним разом весь мир по столетиям. Тогда всеобщая история представит у меня великую лестницу

веков. Я должен непременно показать, чем ознаменовано начало, середина и конец каждого столетия, потом дух и отличительные черты его. Чтобы лучше определить каждый век и избегнуть монотонности числ, я назову его именем того народа или лица, который стал в нем выше других и ярче действовал на поприще мира. Эта лестница столетий есть лучшее средство к утверждению в памяти слушателей современности событий, лиц и явлений.

Х

Мне кажется, что такой образ преподавания будет действительнее и ближе к истине. По крайней мере, глубоко понимающий величие истории увидит, что он не произведение мгновенной фантазии, но плод долгих соображений и опыта; что ни один эпитет, ни одно слово не брошено здесь для красоты и мишурного блеска, но их породило долговременное чтение летописей мира; что составить эскиз общий, полный истории всего человечества, хотя даже столь краткий, как здесь, можно не иначе, как когда узнаешь и постигнешь самые тонкие и запутанные нити истории, и что одна любовь к науке, составляющей для меня наслаждение, понудила меня объявить мои мысли; что цель моя — образовать сердца юных слушателей той основательной опытностью, которую развертывает история, понимаемая в ее истинном величии; сделать их твердыми, мужественными в своих правилах, чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могло поколебать их; сделать их кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великого Государя, чтобы ни в счастье, ни в несчастье не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными Отечеству и Государю⁸.

1832

ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ*

I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! Сотни мелких государств, единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство, — эти мелкие государства так были между собою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью — сильные страсти не достигали сюда, — не постоянною политикою — следствием непреклонного ума и познания жизни это был хаос браней за временное, за минутное — браней разрушительных, потому что они малопомалу извели народный характер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманских князьях. Религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего сильного оружия, веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невидимую паутину, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь монастыри были убежищем тех людей, которые кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри, из пещер и монастырей, увещали удельных князей;

* Эскиз этот составлял введение к Истории Малороссии; но так как вся первая часть Истории Малороссии переделана вовсе, то он остался заштатным и помещается здесь как совершенно отдельная статья.

но их увещания были напрасны: князья умели только поститься и строить церкви, думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее законом и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами — нет! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их, — нет! брат брата резал за клочок земли или просто чтобы показать удалство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков. Их не подвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство — ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической железной силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почтяться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из середины ее, из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с многочисленными, никогда дотоле не виданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламенем и пожарами — прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было

ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те непрерывные брахи, — как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в южной России, которого вся жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний разрушенный Киев, безлюдье и пустыня — вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в северную Россию. Еще прежде народонаселение начало заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею; значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разнovidная природа начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю в цветах, и по всем выющим лентам рек разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмеримыми лугами — и все это согрела умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябение, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ сильный жизнью и характером ищет мощных местоположений или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ.

IV. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности, со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разделяли или, лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не переставали во глубине России: опасность со всех сторон не давала возможности заняться ими. Киев — древняя мать городов русских, сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден и едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными, городами северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и, несмотря на то, что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были ханские баскаки¹, — и потом он от них задержался как бы непроницаемою завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ — народ бедный и жизнью, и средствами для жизни, населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший прежде дань русским князьям, известный под именем литов-

цев. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Луцке, однако ж, князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу южной России, к Киеву. Убежавший луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немногочисленными дружинами навстречу грозному победителю; дружины были усилены союзниками-татарами; но все бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпети, вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик, несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, владея отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления: всё оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права, нигде даже не означил пути своего опустошения. Совершенная ничтожность окружавших его народов и прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по

языческому обычаю литовцев. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными народами.

VI. И вот южная Россия, под могущественным покровительством литовских князей, совершенно отделилась от северной. Всякая связь между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся одинаким именем — Русью, одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различные характера. Каким образом это произошло — составляет цель нашей истории. Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многое в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся на север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из степей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких лошадей, бродивших табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый — весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенадцать порогов — выросших из дна реки скал — недалеко от впадения его в море преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз — *сугаки*, с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью. Прежде воды в Днепре были выше, разливался он шире и да-

лее потоплял луга свои. Когда воды начинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми водою; но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того, на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, Псел с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно размениваться² — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ. Все реки разветвляются посередине, ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественною гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей — везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя с одной стороны естественная граница из гор или моря — и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца; луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха, и потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь — копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду азиатских завоевателей — татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные,

известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление козачества, к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок, или острог, Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, которого даже построение многие приписывают им, и где было главное сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к козакам и увеличивать их общество. Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили им укрытием для себя и для награбленных богатств.

Гнездо этих хищников было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны — те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно, с своей стороны, они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякий час ожидать этих неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его козаком.

VIII. Большая часть этого общества состояла, однако ж, из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воювать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это, однако ж, не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Все было у них общее — вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все умение пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечатались погра-

ничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый козак, после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался: выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый, в свою очередь, стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и национальность и, чем ближе к концу XV века, тем более увеличивалось приходящими вновь. Наконец целые деревни и села начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитой, с условием за то некоторых повинностей. И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смещения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составилась народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, — народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разноха-

ракетные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование.

1832

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. Судьба, как нарочно, забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью, где гладкая неизмеримость России прерывается подоблачными горами и обвеивается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, порастил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая

жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набег; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком¹ — слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особенно юности, которая все еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду*.

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарافана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но смотрит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечествен-

* Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда, наконец, выходишь из молодости и видишь эти глупости непрекращающимися. Таким образом, начали, наконец, Пушкину приписывать: «Лекарство от холеры», «Первую ночь» и тому подобные.

никам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом, — его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить. Будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русский. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: «Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были». Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: «Это вяло, это слабо, это нехорошо, это нисколько не похоже на то, что было». Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий; но горе ему, если он не умел скрыть всех

ее недостатков! Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частию был бесцветен, разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине: быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвести всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря на то что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по весьма естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта, — нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих

истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружающие соседи. Один из них, взглянув на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мере, печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступною понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние, нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже

давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности, — привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высота мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывающих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! Казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто-возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но, увы, это неотразимая

истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более избражает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и, наконец, так становится тесен, что он может перечест по пальцам всех своих истинных ценителей.

1832

АЛ-МАМУН (Историческая характеристика)

Ни один государь не принимал правления в такую блестящую эпоху своего государства, как Ал-Мамун¹. Грозный калифат величественно возвышался на классической земле древнего мира. Он обнимал на востоке всю цветущую юго-западную Азию и замыкался Индией, на западе он простирался по берегам Африки до Гибралтара. Сильный флот покрывал Средиземное море. Багдад, столица этого нового чудесного мира, видел повеления свои исполняющимися в отдаленных краях провинции; Бассора, Нигабур и Куфа зрели новообращенную Азию, стекающуюся в свои блестящие школы. Дамаск мог одеть всех сластолюбцев дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, араб уже думал, как бы осуществить на земле рай Магомета: создавал водопроводы, дворцы, целые леса пальм, где сладострастно били фонтаны и дымились благовония Востока. И к такому развитию роскоши еще не успела привиться ни одна нравственная болезнь политического общества. Все части этой великой империи, этого магометанского мира, были связаны довольно сильно, и связь эта укреплена была волею необыкновенного Гаруна², который постигнул все разнообразные способности своего народа. Он не был исключительно государь-философ, государь-политик, государь-воин или государь-литератор. Он соединял в себе все, умел ровно разлить свои действия на все и не доставить перевеса ни одной отрасли над другою. Про-

свещенное чужеземное он прививал к своей нации в такой только степени, чтобы помочь развитию ее собственного. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваний, но все еще были исполнены энтузиазма, и огненные страницы Корана перелистывались с тем же благоговением, исполнялись так же раболепно. Гарун умел ускорить весь административный государственный ход и исполнение повелений страхом своей вездесущности. Наместники и эмиры, из которых каждый обыкновенно стремится быть деспотом, опасались встретить всезрящего, переодетого калифа — и правление без законов двигалось крепко и определенно. В таком виде принял государство Ал-Мамун, государь, которого Царьград³ назвал великодушным покровителем наук, которого имя история внесла в число благодетелей человеческого рода и который замыслил государство политическое превратить в государство муз. Он был одарен всею живостию и способностью к долгому изучению. Его характер исполнен был благородства. Желание истины было его девизом. Он был влюблен в науку, и влюблен совершенно бескорыстно: он любил науку для нее же самой, не думая о ее цели и применении. Он предался ей с исключительною страстью. Тогда аравитяне только что открыли Аристотеля. Многообъемлющий и точный философ Греции не мог сойтись с их воображением, слишком стремительным, слишком колоссальным и восточным; но аравийские ученые, занимаясь долгое время кропотливою работою, уже несколько привыкнули к точности и формальности и оттого принялись за него с ученым энтузиазмом. Эти бесконечные выводы, это облечение в видимость и порядок того, что они прежде чувствовали в душе пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашних ученых. Воспитанный под их влиянием, Ал-Мамун, исполненный истинной жажды просвещения, употреблял все старания ввести в свое государство этот чуждый дотоле греческий мир. Багдад распростер дружжелюбные длани всему ученому тогдашнему свету. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежал к какому бы то ни было званию, какой бы ни был он религии, каких бы ни

был исполнен противоречащих начал. Естественно, что тогда более всего приносили свои познания в Багдад те, которые еще сохраняли в душе свой образ политеизма⁴, облеченного христианскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммония Саккаса, Плотина и других последователей новоплатонизма⁵, которые уже не находили поля для своих ученых ристаний в Царьграде, слишком занятом спорами о догмах христианства. Багдад превратился в республику разнородных отраслей познаний и мнений. Венценосный араб вслушивался внимательно в усыпительную музыку ученых толкований и тонкостей. Правители государственных мест не могли не увлечься примером государя, и тогда высшие ступени государства обняла какая-то литературная мономания. Визирь и эмиры старались окружить свой двор учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была как будто чем-то второстепенным, что правители должны были многое, относящееся к управлению, поверять усмотрению своих секретарей и любимцев, что эти любимцы были иногда вовсе невежды, часто получали пронырствами места, что все это должно было отозваться на народе и впоследствии времени обрушиться на самих правителей. Толпа теоретических философов и поэтов, занявших правительственные места, не может доставить государству твердого правления. Их сфера совершенно отдельна; они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге. Отсюда исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Они — великие жрецы. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца.

Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путеводитель к тому — науки, клонящиеся к развитию человека. Он всеми

силами заставлял своих подданных принимать вводимое им просвещение. Но просвещение, вводимое Ал-Мамуном, менее всего отвечало природным элементам и колоссальности воображения арабов. Лишенные энергии начала политеизма, обратившиеся в кучу слов, дерзко обезображенные идеи христианства, странно озарившие тогдашние науки, не слившиеся с ними, но, можно сказать, уничтожившие их своим преобладанием, представляли совершенный контраст пламенной природе араба, у которого воображение слишком потопляло тощие выводы холодного ума. Этот чудный народ не шел, а летел к своему развитию. Гений его вдруг оказывался в войне, торговле, искусствах, мануфактурах и в роскошной поэзии Востока. Его доселе небывалые в истории человечества стихии вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этот народ обещал дотоле невиданное совершенство нации. Но Ал-Мамун не понял его. Он упустил из вида великую истину, что образование черпается из самого же народа, что просвещение наносное должно быть в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий. Но для араба поле подвигов было ограждено этим бесплодным чужестранным просвещением. Самый космополитизм Ал-Мамуна, открывавшего вход в государство ученым всех партий, уже зашел несколько далеко. Выгоды, которые в государстве получали христиане, не могли не возродить в собственных его подданных ненависти, а вместе и презрения к самым даже полезным их учреждениям, — и народ уже терял любовь к своему калифу. В правлении Ал-Мамун был больше философ-теоретик, нежели философ-практик, каким бы должен быть государь. Он знал жизнь своего народа из описаний, из рассказов других, а не изведal сам, как очевидец, как изведal его великий Гарун. В азиатских образах правления, не имеющих определенных законов, вся административная часть падает на самого монарха, и потому деятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть вечно напряжено; он не может

ввериться совершенно никому, и глаз его должен иметь многосторонность Аргуса⁶: минуту засни он — и его полномочные наместники вдруг возрастают, и государство наполняется миллионами деспотов. Но Ал-Мамун в своем Багдаде жил как в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического. Христиане, которые стали наконец вмешиваться в административные должности, не могли узнать народного духа и обычаев земли. Притом самое иноверство их было невыносимо для араба, еще сохранявшего энтузиазм и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устах всех ученых тогдашнего века, когда его гостеприимство привлекало пестрые флаги к берегам сирийским, власть его внутри государства становилась между тем слабее. Жители провинций, никогда не выдавшие своего калифа, мало дорожили его именем. Военная сила ослабла. Просвещение обыкновенно стремилось из Багдада, как из центра, уменьшаясь и угасая по мере приближения к отдаленным границам. На границах арабы еще сохраняли свой первый период. На границах стояли войска, еще полные фанатизма, еще стремившиеся огнем и мечом водружать веру Магомета. Сильные эмиры их, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамун уже при жизни своей видел отторжение Персии, Индии и дальних провинций Африки. Но, может быть, все это неверное направление администрации было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамун не простер уже слишком далеко своей любви к истине. Он захотел быть религиозным реформатором своей нации. Исполненный ума чисто теоретического, будучи выше суеверий и предрассудков, будучи ближе познакомлен с некоторыми догмами христианства, нежели его предшественники, он не мог не видеть всех бесчисленных противоречий, пламенных нелепостей, которые вырывались всеместно в постановлениях иступленного творца Корана. Он решился очистить и преобразовать священную книгу магометан и — в то самое время, когда еще все низшие государственные ступени, вся чернь была уверена, что она принесена с неба, и когда

усомниться в маловажном постановлении ее уже считалось величайшим преступлением. Полугреческий образ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слепого энтузиазма его подданных. Первым шагом к образованию своего народа он почитал истребление энтузиазма, того энтузиазма, который составлял существование народа аравийского, того энтузиазма, которому он обязан был всем своим развитием и блестящею эпохою, подорвать который — значило подорвать политический состав всего государства. Ему нелепее, несообразнее всего казался Магометов рай, куда араб переносил всю чувственную земную жизнь свою, жизнь, назначенную для наслаждения и сладострастия. Но Ал-Мамун не принял в соображение того, что это постановление изверглось из огненного аравийского климата, из огненной природы араба, что этот рай для магометанина есть великий оаз среди пустыни его жизни, что надежда на этот рай одна только заставляла чувственного араба терпеливо сносить бедность, притеснение, подавлять в душе своей зависть при виде утопающего в роскоши сибарита. Мысль, что и он будет наконец находиться среди гурий, среди роскоши, превышающей роскошь земных владык, одна могла быть доступна для такой чувственности и цветистости воображения, каким природа наделила араба, и что, может быть, с дальнейшим только развитием его могла нечувствительно очиститься его вера. Но Ал-Мамун не постигал азиатской природы своих подданных.

Можно себе представить силу негодования многочисленного класса народа, когда распространились вести о преобразованиях калифовых. Как должен был принять это народ, который уже за одно покровительство христианам и привязанность к иностранцам обвинял гласно калифа в мотализме или ереси? Грубая толпа прежних точных исполнителей Корана жестоким упорством своим наконец заставила калифа взяться за оружие. И благородный, великодушный Ал-Мамун, проникнутый истинною любовью к человечеству, явился гонителем своих подданных. Гонением своим он воскресил опять в арабах дикий фанатизм, но уже не тот

фанатизм, который сдвинул прежде кочевых обитателей Аравии в одну массу, — он произвел оппозиционный фанатизм, который растерзал массу, который посеял плевелы в недрах государства, который разбудил дикие страсти араба, который дал нож и яд ненависти в руки исступленных последователей ислама, который произвел множество ослепленных сект и ужаснее всего секту карматитов⁷, долго еще свирепствовавшую под именем Сирийских Убийц⁸ во время крестовых походов. Среди волнений, оказывавшихся в разных концах государства, среди смут и партий, рассыпая одною рукою благодетельства и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорных, исступленных своих подданных, умер благородный Ал-Мамун, — умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом. Во всяком случае, он дал поучительный урок. Он показал собою государя, который при всем желании блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам был, между прочим, невольно одною из главных пружин, ускоривших падение государства.

ЖИЗНЬ

Бедному сыну пустыни снился сон:

Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы.

Стоит в углу над неподвижным морем древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.

Раскинула вольные колонии веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами; кинамон¹, виноградные лозы, смоковницы помавают облитыми медом ветвями; колонны, белые, как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любит свою прекрасною наготою; увитая гроздиями, с тирсами² и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске. Жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу³, тимпаны, мусикийские орудия⁴ мелькают, перевитые плющом. Корабли как мухи толпятся близ Родоса и Корциры⁵, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы царства предстали все на Страшный Суд перед кончиною мира.

И говорит Египет, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков: «Народы, слушайте! я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен. Низки искусстваа, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение. Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».

И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с нею ее наслаждения. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согла-

сием. Все в мире; все, чем ни владеют боги, все в нем; умеи находить его. Наслаждайся богоподобный и гордый обладатель мира; венчай дубом и лавром прекрасное чело свое! мчись на колеснице, проворно правя конями, на блистательных играх! Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницею их — красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения — умеи быть достойным наслаждения!»

И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека; оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек! В порыве нерассказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов! Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира? Все, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно: нет границ миру — нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир — ты завоюешь наконец небо».

Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

Камениста земля; презренен народ; немногочисленная весь прислонилась к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградой стоит ослица. В деревянных яслях лежит Младенец; над Ним склонилась Непорочная Мать и глядит на Него исполненными слез очами; над Ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копыя; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли⁶...

1831

ШЛЕЦЕР, МИЛЛЕР И ГЕРДЕР

Шлецер, Миллер и Гердер были великие зодчие всеобщей истории. Мысль о ней была их любимой мыслью и не оставляла их во все время разнообразного их поприща. Шлецер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы. Он хотел одним взглядом обнять весь мир, все живущее. Казалось, как будто бы он силился иметь сто аргусовых глаз, для того чтобы разом видеть сбывающееся во всех отдаленных углах мира. Его слог — молния, почти вдруг блещущая то там, то здесь и освещающая предметы на одно мгновение, но зато в ослепительной ясности. Я не знаю, исполнил ли бы он в самом деле то, что резко показывал другим, но, по крайней мере, никто так сильно не поражен был сам своим предметом, как он. Он имел достоинство в высшей степени сжимать все в малообъемный фокус и двумя, тремя яркими чертами, часто даже одним эпитетом обозначать вдруг событие и народ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодом одной счастливой минуты, одного внезапного вдохновения и так исполнены резкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на ум определившему себя на долгое, глубокое исследование, выключая только, если этот исследователь будет сам Шлецер. Он не был историк, и я думаю даже, что он не мог быть историком. Его мысли слишком отрывисты, слиш-

ком горячи, чтобы улесться в гармоническую, стройную текучесть повествования. Он анализировал мир и все отжившие и живущие народы, а не описывал их; он рассекал весь мир анатомическим ножом, резал и делил на массивные части, располагал и отделял народы таким же образом, как ботаник распределяет растения по известным ему признакам. И оттого начертание его истории, казалось бы, должно быть слишком скелетным и сухим; но, к удивлению, все у него сверкает такими резкими чертами, могущественный удар его глаза так верен, что, читая этот сжатый эскиз мира, замечаешь с изумлением, что собственное воображение горит, расширяется и дополняет все по такому же самому закону, который определил Шлецер одним всемогущим словом, иногда оно стремится еще далее, потому что ему указана смелая дорога. Будучи одним из первых, тревожимых мыслью о величии и истинной цели всеобщей истории, он долженствовал быть непременно гением оппозиционным. Это положение сообщило ему сильную энергию, жар и даже досаду на близорукость предшественников, прорывающиеся очень часто в его сочинениях. Он уничтожает их одним громовым словом, и в этом одном слове соединяется и наслаждение, и сардоническая усмешка над пораженным, и вместе несокрушимая правда; его справедливее, нежели Канта, можно назвать всесокрушающим. Всегда действующие в оппозиционном духе слишком увлекаются своим положением и в энтузиастическом порыве держатся только одного правила: противоречить всему прежнему. В этом случае нельзя упрекнуть Шлецера: германский дух его стал неколебим на своем месте. Он как строгий, всезрящий судия; его суждения резки, коротки и справедливы. Может быть, некоторым покажется странным, что я говорю о Шлечере как о великом зодчем всеобщей истории, тогда как его мысли и труды по этой части улеглись в небольшой книжке, изданной им для студентов¹, но эта маленькая книжка принадлежит к числу тех, читая которые, кажется, читаешь целые томы; ее можно сравнить с небольшим окошком, к которому приставивши глаз поближе, можно увидеть весь мир.

Он вдруг осеняет светом и показывает, как нужно понять, и тогда сам собою наконец видишь все.

Миллер представляет собою историка совершенно в другом роде. Спокойный, тихий, размышляющий, он представляет противоположность Шлецеру. Он с какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слог не блещит тем резким отличием, каким означен слог Шлецера; нет тех порывов, того меткого лаконизма, какими исполнен Шлецер. Он не схватывает вдруг за одним взглядом всего и не сжимает его мощною рукою, но он исследывает все, находящееся в мире, спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспешности, с какою выражается автор, опасаящийся, чтобы у него не перехватил кто-нибудь мысли и не предупредил его. Слово «исследование» весьма идет к его стилю; его повествование именно исследовательное. Как человек государственный, он более всего занимается изложением форм правления и законов существующих и минувших государств; но он не предпочитает эту сторону до такой степени, чтобы оставить совершенно в тени все другие, к чему способен бывает историк односторонний и чего не мог избежать и Герен², напротив того, он обращает внимание и на все сопредельное. Все, что неясно в истории, что менее разоблачено, все это более другого подвергается его исследованию. Заметно даже, что он охотнее занимается временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость. Это время изображает он с ясною подробностью, с тихим жаром, как будто позабываясь и воображая видеть себя среди своих добрых швейцарцев. Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастья, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Везде в нем видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь к свободе проникают все его творения. Мысль о единстве и нераздельной целости не служит такою целью, к которой бы

явно устремлялось его повествование; он даже никогда не говорит о нем, но единство чувствуется в целом творении, несмотря на то, что он, кажется, забывает вовсе дела всего мира, занявшись одним народом. История его не состоит из непрерывной движущейся цепи происшествий; драматического искусства в нем нет; везде виден размышляющий мудрец. Он не высказывает слишком ярко своих мыслей; они у него таятся так скромно, иногда в таком незаметном уголке, что не ищущий не найдет их никогда; но зато они так высоки и глубоки, что открывшему их открывается, по выражению Вагнера в «Фаусте», на земле небо. Этот скромный, незаметный слог его и отсутствие ослепляющей яркости производит в душе невольное сожаление: через него Миллер очень мало известен или, лучше сказать, не так известен, как должен бы быть. Одни, сильно проникнутые мыслью о истории и способные к тонкому развитию, могут только вполне понимать его, другим же он кажется легким и неглубокомысленным.

Гердер представляет совершенно отличный образ зрения. Он видит уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества. Он испытывает глубоко, вдохновенно, как брамин³ природы, — название, которое придают ему немцы. У него крупнее группируются события; его мысли все высоки, глубоки и всемирны. Они у него являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными из одного только чистого ее горнила. Оттого они у него не имеют исторической осязательности и видимости. Если событие колоссально и заключается в идее — оно у него разворачивается все, со всеми своими сокровенными явлениями; но если слишком коснулось жизни и практического, оно у него не получает определенного колорита. Если он нисходит до частных лиц и деятелей истории, они у него не так ярки, как общие группы; они принимают слишком общую физиогномию; они у него или добрые, или злые; все бесчисленные оттенки характеров, все смешение и разнообразие качеств, познание которых до-

стается в удел взирающему с недоверчивостию на других, все эти оттенки у него исчезли. Он мудрец в познании идеально-го человека и человечества, но младенец в познании человека, по весьма естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни. Как поэт, он выше Шлецера и Миллера. Как поэт, он все создает и переваривает в себе, в своем уединенном кабинете, полный высшего откровения, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырываются часто из низкой и презренной жизни или же вызываются натиском тех бесчисленных и разнохарактерных явлений, которые беспрестанно пестрят жизнь человеческую и которых познание редко дается отвлеченному от жизни мудрецу. Стилль его более, нежели у кого другого, исполнен живописи и широкого размера, потому что он поэт и этим резко отличается от Миллера, философа-законодателя, всегда спокойного и размышляющего, и Шлецера, философа-критика, всегда почти резкого и недовольного.

Мне кажется, что если бы глубокость результатов Гердера, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыскательною, расторопную мудростью Миллера, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю. Но при всем том ему бы еще много кое-чего недоставало: ему бы недоставало высокого драматического искусства, которого не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумею, однако ж, под словом «драматического искусства» не то искусство, которое состоит в умении вести разговор, но в драматическом интересе всего творения, который сообщил бы ему неодолимую увлекательность, тот интерес, который иногда дышит в исторических отрывках Шиллера, и особенно в «Тридцатилетней войне»⁴, и которым отличается почти всякое немногосложное происшествие. Я бы к этому присоединил еще в некоторой степени занимательность рассказа Вальтера Скотта и его умение замечать самые тонкие оттенки; к этому присоединил

бы шекспировское искусство развивать крупные черты характеров в тесных границах, и тогда бы, мне кажется, составилась такой историк, какого требует всеобщая история. Но до того времени Миллер, Шлецер и Гердер долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много осветили всеобщую историю, и если в нынешнее время мы имеем несколько замечательных сочинений, то этим обязаны им одним.

1832

МЫСЛИ О ГЕОГРАФИИ (Для детского возраста)

Велика и поразительна область географии: край, где кипит юг и каждое творение бьется двойною жизнью, и край, где в искаженных чертах природы прочитывается ужас и земля превращается в оледенелый труп; исполины-горы, парящие в небо, наброшенный небрежно, дышащий всею роскошью растительной силы и разнообразия вид, и раскаленные пустыни и степи, оторванный кусок земли посреди безграничного моря, люди и искусство, и предел всего живущего! Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному воображению! Какая другая наука может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию младенческой души их! И не больно ли, если показывают им вместо всего этого какой-то безжизненный, сухой скелет, холодно говоря: «Вот земля, на которой живем мы, вот тот прекрасный мир, подаренный нам непостижимым его Зодчим!» Этого мало: его совершенно скрывают от них и дают им вместо того грызть политическое тело, превышающее мир их понятий и несвязное даже для ума, обладающего высшими идеями. Невольно при этом приходит на мысль: неужели великий Гумбольдт¹ и те отважные исследователи, принесшие так много сведений в область науки, истолковавшие дивные иероглифы, коими покрыт мир наш, — должны быть доступны немногочисленному числу ученых? а возраст, более других нуждающийся

в ясности и определительности, должен видеть перед собою одни непонятные изображения?

Детский возраст есть еще одна жажда, одно безотчетное стремление к познанию. Он всего требует, все хочет узнать. Его более всего интересуют отдаленные земли: как там? что там такое? какие там люди? как живут — эти вопросы стремятся у него толпою, и все они относятся прямо к физической географии, и потому мир в его физическом состоянии — величественный, роскошный, грозный, пленительный — должен более и обширнее занять его.

Во многих заведениях наших, по невозможности воспитанников узнать в один год всей географии, читают ее в двух и даже в трех классах. Это хорошо, и география стоит, чтоб ее проходили не в одном классе; но преподаватели впадают в большую ошибку: размежевывают земной шар на две или, смотря по классам, на три части, и самому начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно в политическом отношении с подробнейшими подробностями, тогда как высшие классы блуждают по степям и пескам африканским и беседуют с дикарями. Не говоря уже о безрассудности и странной форме такого преподавания, нужно иметь необыкновенную память, чтобы удержать в ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феномен в природе, то в голове этого феномена никогда не удержится одно прекрасное целое. Это будут тщательно отделанные, разрозненные части, которыми не управляет одна мощная жизнь, бьющая ровным пульсом по всем жилам. Это народ, созданный для монархического правления и утративший его в буре политических потрясений.

Гораздо лучше, если воспитанник будет проходить географию в два разные периода своего возраста. В первом он должен узнать один только великий очерк всего мира, но очерк такой, который бы пробудил всю внимательность его,

который бы показал всю обширность и колоссальность географического мира. В этот курс должны ниспослать от себя дань и естественная история, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается к миру, чтобы мир составил одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему все концы его. Ничего в подробности; но только одни резкие черты, но только, чтобы он чувствовал, где стужа, где более растительность, где выше мануфактурность, где сильнее образованность, где глубже невежество, где ниже земля, где стремительнее горы. Во втором периоде его возраста этот мир должен быть перед ним раздвинут. Он должен рассмотреть в микроскоп те предметы, которые доселе видел простым глазом. Тогда уже он узнает все исключения и переходы, менее резкие и более исполненные тонкого отличия.

Воспитанник не должен иметь вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будет сжимать его и умерщвлять воображение: перед ним должна быть одна только карта. Ни одного географического явления не нужно объяснять, не укрепивши на месте, хотя бы это было только яркое, живописное описание. Чтобы воспитанник, внимая ему, глядел на место в своей карте и чтобы эта маленькая точка как бы раздвигалась перед ним и вместила бы в себе все те картины, которые он видит в речах преподавателя. Тогда можно быть уверенным, что они останутся в памяти его вечно: и, взглянувши на скелетный очерк земли, он его вмиг наполнит красками.

Фигура земли прежде всего должна удержаться в его памяти. Черчение карт, над которым заставляют воспитанников трудиться, мало приносит пользы. Множество мелких подробностей, множество отдельных государств может только в голове их уничтожиться одно другим. Гораздо лучше дать им прежде сильную, резкую идею о виде земли: для этого я бы советовал сделать всю воду белую и всю землю черною, чтобы

они совершенно отделились, резкостью своею невольно вторгнулись в мысли их и преследовали бы их неотступно неправильною своею фигурою. После этого будет им гораздо легче начертить вид земли, но никак не допускать до подробностей, то есть означать все мелкие мысы и искривления берегов. Пусть лучше они вначале совсем не знают их, но зато удержат общий вид земли.

Гораздо лучше проходить вначале разом весь мир, глядеть разом на все части света, чрез это очевиднее будут их взаимные противоположности. Заметивши их в общей массе, они могут тогда погрузиться глубже в каждую часть света. Но в порядке частей света я бы советовал лучше следовать за постепенным развитием человека, стало быть, вместе и за постоянным открытием земли: начать с Азии, с его колыбели, с его младенчества, перейти в Африку, в его пламенное и вместе грубое юношество, обратиться к Европе, к его быстрому разоблачению и зрелости ума, шагнуть вместе с ним в Америку, где, развитый и властительный, встретился он с первообразным и чувственным, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое разделение, мне кажется, будет гораздо естественнее. Прежде всего воспитанник должен составить себе общее характеристическое понятие о каждой из них. Во-первых, об Азии, где все так велико и обширно, где люди так важны, так холодны с вида и вдруг кипят неукротимыми страстями; при детском уме своем думают, что они умнее всех; где все гордость, и рабство; где все одевается и вооружается легко и свободно, все наездничает; где турок рад просидеть целый век, поджав ноги и куря кальян свой, и где бедуин, как вихорь, мчится по пустыне; где вера переходит в фанатизм, и вся страна — страна вероисповеданий, разлившихся отсюда по всему миру. Об Африке, где солнце жжет и океаны песчаных степей растягиваются на неизмеримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человек, мало чем разнящийся наружностью и

своими чувственными наклонностями от обезьян, кочующих по ней ордами, и так далее.

Начертив вид части света, воспитанник указывает все высочайшие и низменные места на ней, рассказывает, как разветвляются по ней горы и протягивают свои длинные, безобразные цепи. В этом смысле можно с пользой употреблять Риттереву барельефное изображение Европы², хотя оно не совсем еще удобно для детей по причине неясного отделения света от теней. Всего бы лучше на этот случай отлить из крепкой глины или из металла настоящий барельеф. Тогда воспитаннику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда в памяти все высокие и низменные места.

Так как горы сообщили форму всей земле³, то познание их должно составить, так сказать, начало всей географии. Показав разветвление их по лицу земли, должно показать вид их, форму, состав, образование и, наконец, характер и отличие каждой цепи, все это не сухо, не с подробною ученостью, но так, чтобы он знал, что такая-то цепь из темных и твердых гранитов, что внутренность другой белая, известковая или глинистая, рыхлая, желтая, темная, красная или, наконец, самых ярких цветов земель и камней. Можно даже рассказать, как в них лежат металлы и руды и в каком виде, — и можно рассказать занимательно. Что же касается до поверхности их, то само собою разумеется, что нужно показать высочайшие точки, примечательные явления на них и высоту, до которой подымался человек.

Не мешало бы коснуться слегка подземной географии. Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст высший. Тут все явления и факты дышат исполинскою колоссальностью. Здесь

встречаются целые массы. Тут на всем отпечаток величественных потрясений земли; душа сильнее чувствует великие дела Творца. Тут лежат погребенными целые цепи подземных лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор. Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность земли. Часть этих явлений, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтоб не тронула его воображения.

Процесс и расселение растительной силы по земле должно показать на карте лестницею градусов⁴: где растение юга — хозяин, куда перешло оно как гость, под каким градусом умирает, где начинается растение севера, где и оно, наконец, гибнет, прозябение прекращается, природа обмирает в объятиях студеного океана, и чудный полюс закутывается недоступными для человека льдами. Таким же образом и расселение животных. Но почва требует другого деления земли по полосам, из которых каждая должна заключать в себе особенный вид ее.

Произведения искусства вообще являются доселе у географов отрывисто. Перехода нет никакого от природы к произведениям человека. Они отрублены, как топором, от своего источника. Я уже не говорю о том, что у них не представлен вовсе этот брачный союз человека с природою, от которого рождается мануфактурность. Итак, прежде нежели воспитанник приступит к обозрению мануфактур и произведений рук человека, нужно, чтобы он был приуготовлен к тому произведениями земли, чтобы он сам собою мог вывести, какие мануфактуры должны быть в таком-то государстве; если же встретится исключение, тогда необходимо показать, отчего оно произошло, может быть, беспечный характер народа, может, сторонние обстоятельства: или излишнее богатство соседей, или невозможность дальнейших сообщений, или другие подобные им,

воспрепятствовали. Приутопивши себя мануфактурностью, он может уже переходить к торговле, которая без того будет тоже незанимательна и непонятна.

При исчислении народов преподаватель необходимо обязан показать каждого физиогномию и те отпечатки, которые принял его характер, так сказать, от географических причин. Все народы мира он должен сгруппировать в большие семейства и представить прежде общие черты каждой группы, потом уже разветвление их. И потом физическую их историю, то есть историю изменения их характера, чтоб объяснилось, отчего, например, тевтонское племя среди своей Германии означено твердостью флегматического характера и отчего оно, перейдя Альпы, напротив, принимает всю игривость характера легкого.

Весьма полезны для детей карты, изображающие расселение просвещения по земному шару. Эта польза превращается в необходимость, когда проходят они Европу. Но как у нас нет таких карт, то преподавателю небольшого труда стоит сделать оные самому. Места, где просвещение достигло высочайшей степени, означать светом и бросать легкие тени, где оно ниже. Тени сии становятся чем далее, тем крепче и, наконец, превращаются в мрак, по мере того как природа дичает и человек оканчивается бездушным эскимосом.

Величину земель, государств никогда нельзя заучивать исчислением квадратных миль. Нужно только смотреть на карту — вот одно средство узнать ее. Не мешало бы вырезать каждое государство особенно⁵, так, чтобы оно составляло отдельный кусок и, будучи сложено с другими, составило бы часть мира. Тогда будет видима и величина их и форма.

При изображении каждого города непременно должно означить резко его местоположение: подымается ли он на

горе, опрокинут ли вниз; его жизнь, его значительность, его средства — и вообще сильными и немногими чертами обозначить характер его. Преподаватель обязан исторгнуть из обширного материала все, что бросает на город отличие и отменяет его от множества других. Пусть воспитанник знает, что такое Рим, что Париж, что Петербург. Пусть не измеряет своим масштабом, составившимся в его понятиях при виде Петербурга, других городов Европы. Все общее городам должно быть исключено в определении отдельно каждого города. Во многих наших географиях и до сих пор еще в определениях губернского города рассказывается, что в нем есть гимназия, соборная церковь; уездного, что в нем есть уездное училище и т. п. К чему? воспитаннику довольно сказать сначала, что у нас гимназии во всех губернских городах, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Пале-Рояля⁶, Фальконе-това Петра⁷, Киево-Печерской лавры, Кинг-Бенча нет других в мире. Об них дитя, верно, потребует подробного сведения. Не нужно заниматься ничтожным и скучным для воспитанника вычислением числа домов, церквей, разве только в таком случае, когда оно, по своей величине или отрицательно, выходит из категории обыкновенного. Вместо этого можно занять его архитектурой города, в каком вкусе он выстроен, колоссальны ли, прекрасны ли его строения. Если он древний, то как величественна даже в самой странности своей его старинная, повитая столетиями и на чудо взлелеянная самими потрясениями архитектура и как, напротив того, легка и изящна архитектура другого города, созданного одним столетием. При мысли о каком-нибудь германском городке ученик тотчас должен представить себе тесные улицы, небольшие, узенькие и высокие домики, где все так просто, так мило, так буколически, и рядом с ними угловатые, пересекающие острием воздух шпицы церквей. При мысли о Риме, где глухо отозвался весь канувший в пучину столетий древний мир, у него должна быть неразлучна с тем мысль о зданиях-исполинах⁸, которые, свободно поднявшись от земли и опершись на стройные портики и гигантские колонны, дрыхлеют,

как бы размышляя об утекших событиях великой своей юности. Для этого не мешает чаще показывать фасады примечательнейших зданий: тогда необыкновенный вид их врежется в памяти, притом это послужит невольно и нечувствительно к образованию юного вкуса.

История изредка должна только озарять воспоминаниями географический мир их. Протекшее должно быть слишком разительно и разве уже происходить из чисто географических причин, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему необходимо показать область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей.

Слог преподавателя должен быть увлекающий, живописный; все поразительные местоположения, великие явления природы должны быть окинуты яркими красками. Что действует сильно на воображение, то не скоро выбьется из головы. Слог его должен более подходить к слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не может удержаться в голове отрока, особенно, если она распространена в мелочах. Дитя тогда только удерживает систему, когда не видит ее глазами, когда она искусно скрыта от него. Его система — интерес, нить происшествий или нить описаний. Все, что истинно нужно, что более относится к нашей жизни, что более можем мы впоследствии приспособить к себе, все это уже интересно. Да впрочем, что неинтересно в географии? Она такое глубокое море, так раздвигает наши самые действия и, несмотря на то что показывает границы каждой земли, так скрывает свои собственные, что даже для взрослого представляет философически-увлекательный предмет. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно более с миром, со всем бесчисленным разнообразием его, но чтобы это никак не обременило памяти, а представлялось бы светло

нарисованною картиною. Богатый для сего запас заключается в описаниях путешественников, которых множество и из которых, кажется, доныне в этом отношении мало умели извлекать пользы.

Леность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагога и суть только вывески его собственного нерадения; он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей; он заставил их с отвращением принимать горькие свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти. Мне часто случалось быть свидетелем, как ребенок, признанный за не способного ни к чему, обиженного природою, — слушал с неразвлекаемым вниманием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, неживляемом до того никаким чувством участия, попеременно прорывались черты беспокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого внимания в пользу науки?

1829

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ (Картина Брюллова)

Картина Брюллова — одно из ярких явлений XIX века. Это — светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии. Не стану говорить о причине этого необыкновенного застоя, хотя она представляет занимательный предмет для исследования; замечу только, что если конец XVIII столетия и начало XIX века ничего не произвели полного и колоссального в живописи, то зато они много разработали ее части. Она распалась на бесчисленные атомы и части. Каждый из этих атомов развит и постигнут несравненно глубже, нежели в прежние времена. Заметили такие тайные явления, каких прежде никто не подо-

зревал. Вся та природа, которую чаще видит человек, которая его окружает и живет с ним, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великие художники, достигли изумительной истины и совершенства. Все наперерыв старались заметить тот живой колорит, которым дышит природа. Все тайное в ее лоне, весь этот немой язык пейзажа подмечены, или, лучше сказать, украдены, вырваны из самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя все произведения этого века похожи более на опыты, или, лучше сказать, записки, материалы, свежие мысли, которые наскоро вносит путешественник в свою книгу с тем, чтобы не позабыть их и чтобы составить из них после нечто целое. Живопись раздробилась на низшие ограниченные ступени: гравировка, литография и многие мелкие явления были с жадностью разрабатываемы в частях. Этим обязаны мы XIX веку. Колорит, употребляемый XIX веком, показывает великий шаг в знании природы. Взгляните на эти беспрестанно появляющиеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые решительно в XIX веке определили слияние человека с окружающею природою: как в них делится и выходит окинутая мраком и освещенная светом перспектива строений! как сквозит освещенная вода, как дышит она в сумраке ветвей! как ярко и знойно уходит прекрасное небо и оставляет предметы перед самыми глазами зрителя! какое смелое, какое дерзкое употребление теней там, где прежде все их не подозревали! и вместе, при всей этой резкости, какая роскошная нежность, какая подмечена тайная музыка в предметах обыкновенных, бесчувственных! Но что сильнее всего постигнуто в наше время, так это освещение. Освещение придает такую силу и, можно сказать, единство всем нашим творениям, что они, не имея слишком глубокого достоинства, показывающего гений, необыкновенно приятны для глаз. Они общим выражением своим не могут не поразить, хотя, внимательно рассматривая, иногда увидишь в творце их необширное познание искусства.

Возьмите все беспрестанно являющиеся гравюры, эти отпрыски яркого таланта, в которых дышит и веет природа так,

что они кажутся как будто оцвечены колоритом. В них заря так тонко светлеет на небе, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблеск вечера; деревья, облитые сиянием солнца, как будто покрыты тонкою пылью; в них яркая белизна сладострастно сверкает в самом глубоком мраке тени. Рассматривая их, кажется, боишься дохнуть на них. Весь этот эффект, который разлит в природе, который происходит от сражения света с тенью, весь этот эффект сделался целью и стремлением всех наших артистов. Можно сказать, что XIX век есть век эффектов. Всякий, от первого до последнего, торопится произвести эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, XIX век, по странной причуде своей, наконец обратится ко всему безэффектному. Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи и вообще во всем том, что видим нашими глазами. Там, если они будут ложны и неуместны, то их ложность и неуместность тотчас видна всякому. Но в произведениях, подверженных духовному оку, совершенно другое дело. Там они если ложны, то вредны тем, что распространяют ложь, потому что простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее. В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполина; но когда они в руках поддельного таланта, то для истинного понимателя они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия. Но все это, однако ж, не относится к нынешнему делу. Должно признаться, что в общей массе стремление к эффектам более полезно, нежели вредно: оно более двигает вперед, нежели назад, и даже в последнее время подвинуло все к усовершенствованию. Желая произвести эффект, многие более стали рассматривать предмет свой, сильнее напрягать умственные способности. И если верный эффект оказывался большею частью только в мелком, то этому виною безлюдие крупных гениев, а не огромное раздробление жизни и познаний, которым обыкновенно приписывают. Притом стремление к эффектам обделало многие мелкие части чрезвычайно удовлетворительно и

резкою своею очевидностию сделало их доступными для всех. Не помню, кто-то сказал, что в XIX веке невозможно появление гения всемирного, обнявшего бы в себе всю жизнь XIX века. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием. Напротив, никогда полет гения не будет так яростен, как в нынешние времена; никогда не были для него так хорошо приготовлены материалы, как в XIX веке. И его шаги уже, верно, будут исполински и видимы всеми от мала до велика.

Картина Брюллова может назваться полным, всемирным созданием. В ней все заключилось. По крайней мере, она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою. Всякому известны прекрасные создания, к которым принадлежат «Видение Валтазара», «Разрушение Ниневии»¹ и несколько других, где в страшном величии представлены великие катастрофы, которые составляют совершенство освещения, где молния в грозном величии озаряет ужасный мрак и скользит по верхушкам голов молящегося народа. Общее выражение этих картин поразительно и исполнено необыкновенного единства; но в них вообще только одна идея этой мысли. Они похожи на отдаленные виды; в них только общее выражение. Мы чувствуем только страшное положение всей толпы, но не видим человека, в лице которого был бы весь ужас им самим зримого разрушения. Ту мысль, которая виделась нам в такой отдаленной перспективе, Брюллов вдруг поставил перед самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и как будто нас самих захватила в свой мир. Создание и обстановку своей мысли произвел он необыкновенным и дерзким образом: он схватил молнию и бросил ее целым потоком на свою картину. Молния у него залила и потопила все, как будто бы с тем, чтобы все выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителя. Оттого на всем у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры он ки-

нул сильно такую рукою, какую мечет только могущественный гений: эта вся группа, остановившаяся в минуту удара и выразившая тысячи разных чувств; этот гордый атлет, издавший крик ужаса, силы, гордости и бессилия, закрывшийся плащом от летящего вихря камней; эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся в такой красоте руку, этот ребенок, вонзивший в зрителя взор свой; этот несомый детьми старик, в страшном теле которого дышит уже могила, оглушенный ударом, которого рука окаменела в воздухе с распростертыми пальцами; мать, уже не желающая бежать и непреклонная на моления сына, которого просьбы, кажется, слышит зритель; толпа, с ужасом отступающая от строений и со страхом, с диким забвением страха взирающая на страшное явление, наконец знаменующее конец мира; жрец в белом саване, с безнадежною яростью мечущий взгляд свой на весь мир, — все это у него так мощно, так смело, так гармонически сведено в одно, как только могло это возникнуть в голове гения всеобщего.

Я не стану изъяснять содержание картины и приводить толкования и пояснения на изображенные события. Для этого у всякого есть глаз и мерило чувства; притом же это слишком очевидно, слишком касается жизни человека и той природы, которую он видит и понимает, потому-то они доступны всем от мала до велика; я замечу только те достоинства, те резкие отличия, которые имеет в себе стиль Брюллова, тем более что эти замечания, вероятно, сделали немногие. Брюллов первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства. Его фигуры, несмотря на ужас всеобщего события и своего положения, не вмещают в себе того дикого ужаса, наводящего содрогание, каким дышат суровые создания Микеля-Анжела. У него нет также того высокого преобладания небесно-непостижимых и тонких чувств, которыми весь исполнен Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своею красотою. У него не так, как у Микеля-Анжела, у которого тело только служило для того, чтобы показать одну силу души, ее страдания, ее вопль,

ее грозные явления; у которого пластика погибала, контура человека приобретала исполинский размер, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у которого являлся не человек, но только его страсти. Напротив того, у Брюллова является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, верные, огненные, выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения. Когда я глядел в третий, в четвертый раз, мне казалось, что скульптура — та скульптура, которая была постигнута в таком пластическом совершенстве древними, — что скульптура эта перешла наконец в живопись и сверх того проникнулась какой-то тайной музыкой. Его человек исполнен прекрасно-гордых движений; женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами, — она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянка во всей красе полудня, мощная, крепкая, пылающая всею роскошью страсти, всем могуществом красоты, — прекрасная, как женщина. Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотой, где бы человек не был прекрасен. Все общие движения групп его дышат мощным размером и в своем общем движении уже составляют красоту. В создании их он так же крепко и сильно правит своим воображением, как житель пустыни арабским бегуном своим. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще во всей картине выказывается отсутствие идеальности, то есть идеальности отвлеченной, и в этом-то состоит ее первое достоинство. Явись идеальность, явись перевес мысли, и она бы имела совершенно другое выражение, она бы не произвела того впечатления; чувство жалости и страстного трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и верной истины, утратилась бы вовсе. Нам не разрушение, не смерть страшны — напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая чувственность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей силе эту мысль. Он представил человека как можно прекраснее; его женщина

дышит всем, что есть лучшего в мире. Ее глаза, светлые, как звезды, ее дышащая негою и силою грудь обещают роскошь блаженства. И эта прекрасная, этот венец творения, идеал земли, должна погибнуть в общей гибели, наряду с последним презренным творением, которое недостойно было и ползать у ног ее. Слезы, испуг, рыдание — все в ней прекрасно.

Видимое отличие или манера Брюллова уже представляет тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шаг. В его картинах целое море блеска. Это его характер. Тени его резки, сильны; но в общей массе тонут и исчезают в свете. Они у него, так же как в природе, незаметны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекрасного тела у него как будто просвечивает и кажется фарфоровою; свет, обливая его сиянием, вместе проникает его. Свет у него так нежен, что кажется фосфорическим. Самая тень кажется у него как будто прозрачною и, при всей крепости, дышит какою-то чистою, тонкою нежностью и поэзией.

Его кисть остается навеки в памяти. Я прежде видел одну только его картину — семейство Витгенштейна². Она с первого раза, вдруг, врезалась в мое воображение и осталась в нем вечно в своем ярком блеске. Когда я шел смотреть картину «Разрушение Помпеи», у меня прежняя вовсе вышла из головы. Я приближался вместе с толпою к той комнате, где она стояла, и на минуту, как всегда бывает в подобных случаях, я позабыл вовсе о том, что иду смотреть картину Брюллова; я даже позабыл о том, есть ли на свете Брюллов. Но когда я взглянул на нее, когда она блеснула передо мною, в мыслях моих, как молния, пролетело слово: «Брюллов!» Я узнал его. Кисть его вмещает в себе ту поэзию, которую только чувствуешь и можешь узнать всегда: чувства наши всегда знают и видят даже отличительные признаки, но слова их никогда не расскажут. Колорит его так ярок, каким никогда почти не являлся прежде, его краски горят и мечутся в глаза. Они были бы нестерпимы, если бы явились у художника градусом ниже Брюллова, но у него они облечены в ту гармонию и дышат тою внутреннею музыкаю, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признак, и что выше всего в Брюллове, — так это необыкновенная многосторонность и обширность гения. Он ничем не пренебрегает: все у него, начиная от общей мысли и главных фигур, до последнего камня на мостовой, живо и свежо. Он силится обхватить все предметы и на всех разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художник прежних времен всегда почти избирал себе какую-нибудь одну сторону и в нее погружал весь талант свой, развивавшийся оттого в необыкновенном и каком-то отвлеченном величии. Рафаэль обыкновенно писал одни только лица, одно развитие на них небесных страстей и помышлений; все прочее, даже одежду, бросал он доделывать ученикам своим. Все другие великие художники, настроенные высокостью религиозною или высокостью страстей, небрегли об окружающем и второстепенном в их картинах. У них небо является всегда бурое; облака похожи более на копны сена или на гранитные массы; дерево или детски однообразно своею правильностью или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюллова, напротив, все предметы, от великих до малых, для него драгоценны. Он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника. Может быть, в этом ему помогла много раздробленная разработка в частях, которую приготовил для него XIX век. Может быть, Брюллов, явившись прежде, не получил бы такого разностороннего и вместе полного и колоссального стремления. Оттого-то его произведения, может быть, первые, которые живостью, чистым зеркалом природы доступны всякому. Его произведения первые, которые может понимать (хотя неодинаково) и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество. Они первые, которым сужден завидный удел пользоваться всемирною славой, и высшею степенью их есть до сих пор — «Последний день Помпеи», которую, по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного, можно сравнить разве с оперою, если только опера есть действительно соединение тройственного мира искусств: живописи, поэзии и музыки.

ТАРАС БУЛЬБА

I

— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И этак все ходят в академии?¹ — Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Стойте, стойте! дайте мне разглядеть вас хорошенько, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас свитки!² экие свитки! таких свиток еще и на свете не было. А побегу который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы.

— Не смейся, не смейся, батько! — сказал наконец старший из них.

— Смотри ты, какой пышный!³ а отчего ж бы не смеяться?

— Да так; хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то, ей-Богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! как, батьку? — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

— Да хоть и батьку. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться, разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Тарас Бульба, засучив рукава, — посмотрю я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумачи и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. — Дети приехали домой, больше года их не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться!

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись, — ей-Богу, хорошо! — продолжал он, немного оправляясь, — так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном стали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил: никому не спускай! а все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас⁴, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему, — что ж ты, собачий сын, не поколотишь меня?

— Вот еще что выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего, — и придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень⁵ ростом)... ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

— Э, да ты мазунчик⁶, как я вижу! — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю — вот ваша мать! Это все дрянь, чем набивают головы ваши: и академии, и все те книжки, буквари, и философия, и все это *ка зна що*⁷, — я плевать на все это! — Здесь Бульба пригнал в строку такое слово,

которое даже не употребляется в печати. — А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье⁸. Вот где наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худошавая старуха-мать. — И погулять им, бедным, не удастся, не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков⁹; тащи нам всего барана, козу давай, меда сорокалетние! да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками¹⁰, а чистой пенной горелки, чтоб играла и шипела, как бешеная.

Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибивавшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, — о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющих больше на Украине боролатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры¹¹, в виду обступившего народа, — во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию¹². Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон

и дверей были красные отводы¹³. На полках по углам стояли кувшины, бутылки и флажки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской¹⁴, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи¹⁵ вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в переднем углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников¹⁶ и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул¹⁷ Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря:

«Вот, смотрите, какие молодцы! на Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

— Ну ж, паны-братаы, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! — так говорил Бульба. — Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий¹⁸! Дай же Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! чтоб бусурманов били, и турков бы били, и татаров били бы, когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били¹⁹. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латини горелка? То-то, сынку, дурни были латинцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю:

Гораций²⁰, что ли?

«Вишь, какой батька! — подумал про себя старший сын, Остап. — Все, старая собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит²¹ не давал вам и понюхать горелки, — продолжал Тарас. — А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у казака? А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли; чай, не только по субботам²², а доставалось и в среду и в четверг?

— Нечего, батько, вспоминать, что было, — отвечал Остап, — что было, то прошло!

— Пусть теперь попробует! — сказал Андрий, — пускай теперь кто-нибудь только зацепит; вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь казацкая сабля!

— Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-Богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать? чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади они: я казак, не хочу! Так что же, что нет войны? я так поеду с вами на Запорожье, погулять; ей-Богу, поеду! — И старый Бульба малопомалу горячился, горячился, наконец, рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! зачем откладывать? какого врага мы можем здесь высиживать? на что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? — Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобыт-

ная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось казачество — широкая, разгульная замашка русской природы, и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то казак» (где маленький пригорок, там уж и казак). Это было точно необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы²³, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями этих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды такой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили этому расположению. Под их отдаленною властью гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки²⁴ и правильные округа. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья, в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход — воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современ-

ные иноземцы справедливо дивились²⁵ тогда необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, снарядить телегу, намолоť пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, — гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных²⁶: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники²⁷, полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцеводы, баболубы, полно вам за плугом ходить да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! пора доставать казацкой славы!» И слова эти были как искры, падающие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровары и пивовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ремесленник и торгош посылали к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме — и все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, крепкую наружность.

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямоотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже сказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником Православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма²⁸. Сам с своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом,

что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважали в чем старшин²⁹ и стояли перед ними в шапках, когда глумились над Православием и не чтили обычая предков и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслию, как он явится с двумя сыновьями своими в Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почиталось тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних; но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего; даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель! нам не нужна постель: мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала; она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала греб-

нем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью; она возрастила, взлелеяла их—и только на один миг видит их перед собою! «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших прекрасное когда-то лицо ее. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела ласки, оказываемые только из милости; она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у нее в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, со слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее; берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица, а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось-лико Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сиде-

ла в головах сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до света, вовсе не утомилась и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил; он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! пора, пора! Напойте коней! А где стара? (так он обыкновенно называл жену свою). Живее, стара, готовь нам есть: путь лежит великий!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились; на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные³⁰ красные с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячею складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром³¹; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом³²; чеканные турецкие пистолеты были засунуты за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба. — Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почти-тельно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба, — моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую*, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает!

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... Божья Матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе... — далее она не могла говорить.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипла к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, несообразно летам, выбежала она за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностью; ее опять увели.

Молодые казаки ехали смутно³³ и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика, да вершины деревьев, по сучьям которых они лазили, как белки; еще стлался перед ними тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда валялись

* Рыцарскую.

по росистой траве его, до лет, когда поджидали на нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую через него с помощью своих свежих, быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла... Прощайте и детство, и игры, и все, и все!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже обыкновенно они несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый еще год бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет³⁴ и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который

брал всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались ко времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Учившиеся им ни к чему не могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бursы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, — все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами³⁵, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговли. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже³⁶. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессормонахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы³⁷ по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим наконец сильно надоедали такие беспрестан-

ные припарки, и они убегали на Запорожье, если умели найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, никак не избавлялся неумолимых розог. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей; никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с помощью изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет; женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философские диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокою, нежную; пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных

членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать казаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и где дома были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, на него почти наехала колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадам, они рванули — и Андрий, к счастью успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою, в богатом убранстве, стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы³⁸. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез через частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома; с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы,

которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова; но когда заметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка; но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами³⁹, вышитыми золотом. Она убираала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в большее еще смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать и, как только беспокойство прошло, кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить мимо дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому; он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только черные казачьи шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости, — как будто какие-нибудь чернецы⁴⁰! Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки⁴¹, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И казаки, пригнавшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию⁴², до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений; одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытапывали их. Ничего в природе не могло быть лучше: вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок⁴³ выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячею разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался Бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха; вон она пропала

в вышине и только мелькает одною черною точкою! вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем!.. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда, причем ехавший с ними отряд, состоявший из десяти казаков, слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи⁴⁴, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера.

Вечером вся степь совершенно переменялась: все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем и она становилась темно-зеленою; испарения подымались гуще; каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголубатемному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выпалзывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш⁴⁵; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву: весь их треск, свист, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь

из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянную блестящими искрами светящихся червей⁴⁶. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья: все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что казаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина! и не пробуйте; вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть свой след, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали путь. Чрез три дня после этого они были уже недалеко от места, бывшего предметом их поездки. В воздухе вдруг заглохло: они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосой отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и наконец обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих, взошли на паром и через три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы⁴⁷, где была тогда Сечь, так часто переменившая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу с перевозчиками. Казаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, — и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи.

При въезде их оглушили пятьдесят кузнечных молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари под ятками сидели с кучами кремней⁴⁸, огнивами и порохом; армянин развесил дорогие платки; татарин ворочал на рожнах бараньи катки⁴⁹ с тестом; жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге; закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли; шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместье Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они миновали предместье и увидели несколько разбросанных куреней⁵⁰, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем⁵¹, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев,

лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада⁵². На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал ее в руках и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши шапку чертом и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых вырабатывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округность, и в воздухе далече отдавались гопак и тропак⁵³, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру⁵⁴, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний козух⁵⁵ был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. «Да сними хоть козух! — сказал наконец Тарас, — видишь, как парит!» — «Не можно!» — кричал запорожец. «Отчего?» — «Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью». А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка: все пошло куда следует. Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирило танец самый вольный, самый бешеный, какой только

видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван казачком.

— Эх, если бы не конь! — вскрикнул Тарас, — пустился бы, право, пустился бы сам в танец!

А между тем в народе стали попадаться и уважаемые по заслугам всю Сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? что Бородавка? что Колопер? что Пидсыток?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом⁵⁶, что Пидсыткова голова послена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были казаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военной школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти непрерывны. Казаки почитали скучным занимать промежутки изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление: это было какое-то непрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали, но большая часть гуляла

с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей⁵⁷. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, — резкая черта, которою отличается доньине от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабаk, где мрачно-искажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз

и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон⁵⁸ и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках⁵⁹; тут было множество образовавшихся опытных партизанов⁶⁰, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Это странная республика была именно потребностью того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов⁶¹ во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина. Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь бездна народу, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут? Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, откуда только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому⁶², который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в Троицу Святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу.

— А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жида, армяне и та-

тары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка: они походили на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что, как только у запорожцев неставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень похожи были на отдельные, независимые республики, а еще более на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и ничего не держал у себя; все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название «батьки». У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата⁶³, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями: в таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, покамест одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостью юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи, и многосложная управа, и законы, которые казались им даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если казак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему казачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его до смерти. Неплатившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить, заплативши за него долг. Но более всего произвела впечатление на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вы-

рыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом.

Скоро оба молодые казака стали на хорошем счету у казаков. Часто вместе с другими товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать невода, сети и тащить богатые тони⁶⁴ на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуетесь казак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали Днепр против течения — дело, за которое новичок принимался торжественно в казацкие круги.

Но старый Тарас готовил им другую деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь — настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю; наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо:

— Что, кошевой? пора бы погулять запорожцам.

— Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону.

— Как негде? можно пойти на турещину или на татарву⁶⁵.

— Не можно ни в турещину, ни на татарву, — отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку.

— Как не можно?

— Так; мы обещали султану мир.

— Да ведь он бусурман: и Бог и Святое Писание велит бить бусурманов.

— Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно.

— Как не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь — не имеем права; а ты говоришь — не нужно идти запорожцам.

— Ну, уж не следует так.

— Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром казачья сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого черта мы живем? растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй мне, на что мы живем?

Кошевой не дал ответа на этот вопрос. Это был упрямый казак. Он немного помолчал и потом сказал:

— А войне все-таки не бывать.

— Так не бывать войне? — спросил опять Тарас.

— Нет.

— Так уж и думать об этом нечего?

— И думать об этом нечего.

«Постой же ты, чертов кулак! — сказал Бульба про себя, — ты у меня будешь знать!» И положил тут же отомстить кошевому.

Сговорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные казаки в числе нескольких человек повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду; не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша⁶⁶, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, однако ж, несмотря на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велют! — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, — и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в

кружок, и после третьего боя показались наконец старшины: кошевой с палицей⁶⁷ в руке, знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом⁶⁸. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны казакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока.

— Что значит это собрание, чего хотите, панове? — сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

— Клади палицу! клади, чертов сын, сей же час палицу! не хотим тебя больше! — кричали из толпы казаки.

Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими.

Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе.

— Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства? — сказали судья, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл.

— Нет, вы оставайтесь, — закричали из толпы, — нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые.

— Кого же выберете теперь в кошевые? — сказали старшины.

— Кукубенка выбрать! — кричала часть.

— Не хотим Кукубенка! — кричала другая, — рано ему: еще молоко на губах не обсохло.

— Шило пусть будет атаманом! — кричали одни. — Шила посадить в кошевые!

— В спину тебе шило! — кричала с бранью толпа, — что он за казак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шила!

— Бородатого, Бородатого посадим в кошевые!

— Не хотим Бородатого! к нечистой матери Бородатого!

— Кричите Кирдягу! — шепнул Тарас Бульба некоторым.

— Кирдягу! Кирдягу! — кричала толпа. — Бородатого, Бородатого! Кирдягу, Кирдягу! Шила! к черту с Шилом! Кирдягу!

Все кандидаты, услышав произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании.

— Кирдягу! Кирдягу! — раздавалось сильнее прочих. — Бородатого!

Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал.

— Ступайте за Кирдягою! — закричали.

Человек десяток казаков отделилось тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах — до такой степени успели нагрузиться, и отправились прямо к Кирдяге, объявить ему о его избрании.

Кирдяга, хотя престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курене и как бы не ведал ни о чем происходившем.

— Что, панове, что вам нужно? — спросил он.

— Иди, тебя выбрали в кошевые!

— Помилосердствуйте, панове! — сказал Кирдяга, — где мне быть достойну такой чести! где мне быть кошевым! Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске?

— Ступай же, говорят тебе! — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он ни упирался ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньем сзади кулаками, пинками и увещаниями: — Не пяться же, чертов сын! принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!

Таким образом введен был Кирдяга в казачий круг.

— Что, панове, — провозгласили во весь народ приведшие его, — согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кошевым?

— Все согласны! — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле.

Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз; Кирдяга отказался и в другой раз и потом уже, за третьим разом, взял палицу. Одобрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от казацкого крику все поле. Тогда выступило из середины народа четверо самых старых, седоусых и седо-чупрынных казаков (слишком старых не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла с его головы, потекла по усам и по щекам и все лицо замарала ему грязью. Но Кирдяга стоял, не двигаясь с места, и благодарил казаков за оказанную честь.

Таким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба: этим он отомстил прежнему кошевому; к тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избрание, и поднялась гуляня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги, — и вззошедший месяц долго еще видел толпу музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами⁶⁹, круглыми бала-лайками, и церковных песельников, которых держали на Сечи для пенья в церкви и для восхваления запорожских дел. Наконец хмель и утомление стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю казак; как товарищ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улеглась целая куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, повалился и тот, — и заснула вся Сечь.

IV

А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый казак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: «Не можно клятвы преступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил:

«Ничего, можно; клятвы мы не преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы со старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем».

Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные казаки. Миллион казацких шапок высыпал на площадь. Поднялся говор: «что? зачем? из какого дела пробили сбор?» Никто не отвечал. Наконец в том и другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром казацкая сила: нет войны! Вот старшины забайбачились⁷⁰ наповал, заплыли жиром очи! Нет, видно, правды на свете!» Другие казаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал:

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Держи!

— Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство⁷¹, да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжали в шинки жидам и своим братьям столько, что они один черт теперь и веры неймет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмана?

«Он хорошо говорит», — подумал Бульба.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир; сохрани Бог! я только так это говорю. Притом же у нас храм Божий, грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости Божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства; хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать; они только то и получили, что отказали в духовной⁷² иные казаки; да и даяние было бедное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Так я веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами: мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

«Что ж он путает такое?» — сказал про себя Бульба.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать: рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых; пусть немного пошарпают берега Натолии⁷³. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру готовы положить головы.

Кошевой испугался; он ничуть не хотел подымать всего Запорожья: разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым.

— Позвольте, панове, еще одну речь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы, — лучше не скажешь!

— Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по Писанью известно, что глас народа — глас Божий⁷⁴. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что: вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть: они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят за пятки, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и по-

роху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться; пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета.

В тот же час отправилось несколько человек на противуположный берег Днепра, в войсковую скарбницу⁷⁵, где, в неприступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явилось с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюженогоие запорожцы, с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колена в воде и стягивали челны крепким канатом с берега. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн; там, переверотивши его вверх дном, конопатили и смолили; там привязывали к бокам других челнов, по казацкому обычаю, связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскою волною; там, дальше по всему побережью, разложили костры и кипятили в медных казанах⁷⁶ смолу на заливанье судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берег.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей еще издали махала руками. Это были казаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд (у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах) показывал, что они или избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый казак лет пятидесяти. Он кричал и махал рукою сильнее всех; но за стуком и криком рабочих не было слышно его слов.

— А с чем приехали? — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу.

Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании.

— С бедою! — кричал с парома приземистый казак.

— С какою?

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Говори!

— Или хотите, может быть, собрать раду?

— Говори, мы все тут.

Народ весь стеснился в одну кучу.

— А вы разве ничего не слыхали о том, что делается в гетманщине⁷⁷?

— А что? — спросил один из куренных атаманов.

— Э! что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом⁷⁸ уши, что вы ничего не слыхали.

— Говори же, что там делается?

— А то делается, что и родились и крестились, еще не видали такого.

— Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение.

— Такая пора теперь завелась, что уж церкви святые теперь не наши.

— Как не наши?

— Теперь у жидов они на аренде⁷⁹. Если жида вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править.

— Что ты толкуешь?

— И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя.

— Врет он, паны-браты, не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой пасхе.

— Слушайте! еще не то расскажу: и ксендзы ездят теперь по всей Украине в таратайках⁸⁰. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а православных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Вот какие дела водятся на Украине, панове! А вы тут сидите на Запорожье да гуляете, да, видно, татарин такого задал вам страху, что у

вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете.

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, потупив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. — Стой! и я скажу слово: а что ж вы, так бы и этак поколотил черт вашего батьку, что ж вы делали сами? разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы пустили такому беззаконию?

— Э, как пустили такому беззаконию? а попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да и, нечего греха таить, были тоже собаки и между нашими — уж приняли их веру.

— А гетман ваш, а полковники что делали?

— Наделали полковники таких дел, что не приведи Бог никому.

— Как?

— А так, что уж теперь гетман, зажаренный в медном быке⁸¹, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам напоказ всему народу. Вот что наделали полковники!

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепой бурей, а потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег:

— Как! чтобы жида держали на аренде христианские церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как! чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков⁸²! чтобы вот так поступали с полковниками и гетманом! Да не будет же сего, не будет!

Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались всё характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар.

— Переवेशать всю жидову! — раздалось из толпы, — пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам!

пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!

Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже запалзывали под юбки своих жиждовок; но казаки везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один, высокий и длинный как палка, жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом, — ясновельможные паны! слово только дайте нам сказать, одно слово; мы такое объявим вам, что еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид, — таких панов еще никогда не видывано, ей-Богу, никогда! таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете! — Голос его замирал и дрожал от страха. — Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине! ей-Богу, не наши! то совсем не жижды, то черт знает что; то такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема⁸³, или ты, Шмуль⁸⁴?

— Ей-Богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль в изодранных ермолках⁸⁵, оба бледные, как глина.

— Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелями, а католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! мы с запорожцами как братья родные...

— Как? чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жижды! В Днепр их, панове, всех потопить, поганцев!

Эти слова были сигналом. Жиждов расхватили по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех

сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жи-довские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, в одном пегом, узком камзоле, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан! я знал и брата вашего, покойного Дороша! был воин на украшение всему рыцарству. Я ему восемьсот цехинов⁸⁶ дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-Богу, знал! великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель⁸⁷.

— Хорошо, — сказал Тарас и потом, подумав, обратился к казакам и говорил так: — Повесить жида будет всегда время, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне. — Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли казаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не шевелись; а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда да казацкие чайки⁸⁸, а понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые, все, с совета старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили идти прямо на Польшу, отметить все зло и посрамление веры и казацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа: это был неограниченный повелитель, это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеления: раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый,

глубоко опытный в деле казак, приводивший не в первый раз в исполнение разумно задуманные предприятия.

— Осмотритесь, все осмотритесь хорошенько, — так говорил он. — Исправьте возы и мазницы⁸⁹, испробуйте оружие. Не забирайте много с собой одежды: по сорочке и по двое шаровар на казака да по горшку саламаты и толченого проса — больше чтоб и не было ни у кого! Про запас будет в возах все, что нужно. По паре коней чтоб было у каждого казака! Да пар двести взять волов, потому что на переправах и топких местах нужны будут волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что, чуть Бог пошлет какую корысть, — пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты⁹⁰ себе на онучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякие юбки, берите одно только оружие, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю: если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда: как собаку, за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу⁹¹, кто бы он ни был, хоть бы наидоблестнейший казак из всего войска; как собака, будет он застрелен на месте и кинут без всякого погребенья на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребенья. Молодые, слушайте во всем старых! Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому делу: размешайте заряд пороху в чарке сивухи⁹², духом выпейте, и все пройдет — не будет и лихорадки; а на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Нуте же, за дело, за дело, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело!

Так говорил кошевой, и, как только окончил он речь свою, все казаки принялись тот же час за дело. Вся Сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между казаками. Те исправляли ободья колес и переменили оси в телегах; те сносили на возы мешки с провиантом, на другие валили оружие; те пригоняли

коней и волов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье сабель, мычанье быков, скрип поворачиваемых возов, говор и яркий крик и понуканье — и скоро далеко-далеко вытянулся казачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы и до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою; все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из Сечи, все запорожцы обратили головы назад:

— Прощай, наша мать! — сказали они почти в одно слово, — пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья!

Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его, Янкель, уже разбил какую-то ятку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Каков чертов жид!» — подумал про себя Тарас и, подъехав к нему на коне, сказал:

— Дурень, что ты здесь сидишь? разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал:

— Пусть пан только молчит и никому не говорит, между казацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал; ей-Богу, так, ей-Богу, так.

Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись жидовской натуре, и отъехал к табору.

V

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы! показались запорожцы!» Все, что могло спастись, спасалось, все подымалось и разбегалось по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало ста-

новил на время соломенное жилище свое человек. Он думал: «Не тратить же на избу работу и деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом!» Все всполошилось: кто менял волов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки; кто прятался, угоняя скот и унося что только можно было унести. Попадались иногда по дороге и такие, которые вооруженною рукою встречали гостей; но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем запорожского войска, которое в наружном своевольном неустройстве своем заключало устройство обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, пешие шли трезво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать: где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг, — и все тогда прощалось с жизнью: пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу, — словом, крупною монетою отплачивали казаки прежние долги. Прелат одного монастыря⁹³, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует, что между запорожцами и правительством стоит согласие, что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право.

— Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся: это казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки.

И скоро величественное аббатство обхватило сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие

толпы монахов, жидов, женщин вдруг многолюдии те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение⁹⁴. Высылаемая по временам правительством запоздавшая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или же робела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые казаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, померяться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, с летавшими по ветру откидными рукавами епанчи⁹⁵. Потешна была наука; много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами; черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знание вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерять всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва.

— О, да этот будет со временем добрый полковник! — говорил старый Тарас, — ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батьку за пояс заткнет!

Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заране свои и чужие силы. Бешеную негу

и упоенье он видел в битве: что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил:

— И это добрый (враг бы не взял его) вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка!

Войско решилось идти прямо на город Дубно⁹⁶, где, носились слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решились защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в дома. Высокий земляной вал окружал город; где вал был ниже, там высывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или наконец дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко полезли было на вал, но были встречены сильною картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление; женщины тоже решились участвовать, и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями; вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал:

— Ничего, паны-братья, мы отступим, но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города! пусть их, собаки, все передохнут с голоду!

Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая окружные де-

ревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как нарочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели из города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры; кашевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах; у горевших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрий заметно скучал.

— Неразумная голова, — говорил ему Тарас, — терпи, казак, атаман будешь! Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, все вытерпит, и хоть ты ему что хошь, а он все-таки поставит на своем.

Но не сойтись пылкому юноше с старцем: другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело.

А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачем; с ним было еще два есаула, писарь и другие полковые чины; всех казаков набралось больше четырех тысяч. Было между ними немало и охочекомонных, которые сами поднялись, своею волею, без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Есаулы привезли сыновьям Тараса благословенье от старухи матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского киевского монастыря⁹⁷. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословенье? Благословенье ли на победу над врагом и потом веселый возврат

в отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам, или же?.. Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот: безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает от своей гибели...

Остап уже занялся своим делом и давно отошел к курениям; Андрий же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю; вечер давно потухнул, июльская чудная ночь обняла воздух; но он не отходил к курениям, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую перед ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем возами с висячими мазницами, облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подальше от телег, везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы — все они спали в картинных положениях: кто подмостив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивши просто бок своего товарища. Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучно при каждом казаке. Тяжелые волы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подниматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаниями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это было зарево вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу, в другом, встретив что-то горячее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх, под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами; там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах⁹⁸, стоял грозно, выказывая при каждом

отблеске мрачное свое величие; там горел монастырский сад; казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые грозды слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жиды или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул; шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожаров. Андрий обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь казацкий аппетит. Он подивился такой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец и сам подошел он к одному из возов, взлез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки; но не мог заснуть и долго глядел на небо: оно все было открыто перед ним; чисто и прозрачно было в воздухе; густота звезд, составлявшая Млечный Путь и поясом переходившая по небу, вся была залита светом. Временами Андрий как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг перед ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно.

В это время, показалось ему, мелькнул перед ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сей же час рассеется, он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему, точно, наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала; и странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставляли скорее думать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль⁹⁹ и произнес почти судорожно:

— Кто ты? коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не в пору завел шутку, — убью с одного прицела!

В ответ на это привидение приложило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди узнал он женщину. Но она была не здешняя уроженка: все лицо ее было смугло, изнурено недугом; широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками; узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху. Чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил:

— Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь?

— Два года назад тому, в Киеве.

— Два года назад, в Киеве! — повторил Андрий, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос:

— Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки!..

— Чшш! — произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андрием.

— Скажи, скажи, отчего, как ты здесь? — говорил Андрий, почти задыхаясь, шепотом, прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения, — где панночка, жива ли еще она?

— Она теперь в городе.

— В городе? — произнес он, опять едва не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу, — отчего ж она в городе?

— Оттого, что сам старый пан в городе: он уже полтора года как сидит воеводой в Дубне.

— Что ж она, замужем? Да говори же, какая ты странная, что она теперь?..

— Она другой день ничего не ела.

— Как?

— Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба, все давно едят одну землю.

Андрий остолбенел.

— Панночка видела тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Ступай, скажи рыцарю: если он помнит меня, чтобы пришел ко мне; а не помнит, чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня; проси и хватай его за колена и ноги: у него также есть старая мать, чтоб ради ее дал хлеба!»

Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди казака.

— Но как же ты здесь? как ты пришла?

— Подземным ходом.

— Разве есть подземный ход?

— Есть.

— Где?

— Ты не выдашь, рыцарь?

— Клянусь Крестом Святым!

— Спустися в яр¹⁰⁰ и перейдя проток, там, где тростник.

— И выходит в самый город?

— Прямо к городскому монастырю.

— Пойдем, пойдем сейчас!

— Но, ради Христа и Святой Марии, кусок хлеба!

— Хорошо, будет. Стой здесь, возле воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидит, все спят; я сейчас ворочусь.

И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранною жизнью, — все всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее. Опять вынырнула перед ним, как бы из темной морской пучины, гордая женщина; вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся

по грудям, и все упругие, в согласном сочетанье созданные члены девического стана. Нет, они не погасали, не исчезали из груди его, они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям; но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины.

Он шел, а биение сердца становилось сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые его колена. Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел: поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул и весь исполнился испуга: ему вдруг пришло на мысль, что она умирает с голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов под руку; но тут же подумал: не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению? Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кашеваров за то, что сварили в один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиверных казанов, под которыми еще тлелась зола. Заглянувши в них, он изумился, увидя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть, тем более что в их курене считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней — нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы как дети: коли мало — съедят, коли много — тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется на возу отцовского полка, мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу его не было: Остап взял его себе под головы и, растянувшись на земле, храпел на все поле. Андрий схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил впросонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал что было мочи:

— Держите, держите чертова ляха! да ловите коня, коня ловите!

— Замолчи, я тебя убью! — закричал в испуге Андрий, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрий робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он наконец отправился с своею ношею; татарка лежала, едва дыша.

— Вставай, идем! все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?

Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлебы, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.

— Андрий? — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его.

Сердце его замерло; он остановился и, весь дрожа, тихо произнес:

— А что?

— С тобою баба! ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не доведут тебя бабы до добра! — Сказавши это, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку.

Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духу взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что старый Бульба уже спал, положив голову на ладонь.

Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла перед ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного

зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул ее за рукав, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и наконец опустились отлогостью в низменную ложину — почти яр, называемый в некоторых местах балками, — по дну которой лениво пресмыкался проток, поросший осокою и усеянный кочками. Опустясь в эту ложину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере когда Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной, более чем в рост человека, вознеслась покатошь; на вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась в небе луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика: ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади и выступавший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости; по крайней мере земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой ложине между им и протоком рос высокий тростник, почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший огород; перед ним широкие листы лопуха, из-за которого торчала лебеда, дикий колючий бодяк¹⁰¹ и подсолнечник, подымавший выше всех свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики¹⁰² и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником¹⁰³. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода — отверстие, мало чем большее отверстия в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая; вслед за нею Андрий, нагнувшись сколько мож-

но ниже, чтобы можно было пробраться с своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.

VI

Андрий едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркою и таща на себе мешки хлеба.

— Скоро нам будет светло, — сказала проводница, — мы подходим к месту, где поставила я светильник.

И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня, по крайней мере к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке, с висевшими вокруг нее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла огнем от лампы. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Герардо della notte¹⁰⁴. Свежее, кипящее здоровьем и юностию, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрию можно было пораспрявиться. Он с любопытством рассматривал эти земляные стены. Так же как и в пещерах Киевских¹⁰⁵, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна; под ногами их иногда была совершенная вода. Андрий должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, про-

извел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она оставалась часто без движения по несколько минут на одном месте. Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь.

— Ну, слава Богу, мы пришли, — сказала слабым голосом татарка, приподняла было руку, чтобы постучаться, и не имела сил.

Андрей ударил вместо ее сильно в дверь; раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Минуты через две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась; их впустил монах, стоявший на узенькой лестнице, с ключом и свечой в руках. Андрей невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в казаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского казака; но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клирошанина в лиловых мантиях, с белыми кружевными шемизетками¹⁰⁶ и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастья. Несколько женщин, похожих на привидения, стояло на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн, на которых возлежали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии;

кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь; он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые раскаты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке.

В это время, почувствовал он, что кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора», — сказала татарка. Они перешли через церковь, не замеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе; все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще, может быть, только неделю назад рынок съестных припасов. Улица, которых тогда не мостили, была просто засохшая гряда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные, в один этаж, дома с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями, как вообще строили дома тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно, городской магистрат¹⁰⁷ или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер¹⁰⁸, где стоял часовой; большой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою; но Андрию почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой ее стороне группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого движения на

земле. Он вперил глаза внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были, или умершие, и в это время наткнулся на что-то, лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому жидовки. Казалось, она была еще молодая, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок; жемчуга или бусы в два ряда украшали ее наушники; две-три длинные, все в завитках, кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока. Он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или по крайней мере еще только готовился испустить последнее дыхание. Они поворотили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрия драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича: «Хлеба!» Но сил не было у него, равных бешенству; Андрий оттолкнул его: он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же, на улице, в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу: не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы. У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла, или просто позабылась; по крайней мере она уже не слышала и не видела ничего и, опустив голову на грудь, сидела недвижима на одном и том же месте. С крыши другого дома висело вниз на веревочной петле вытянувшееся и иссохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой.

При виде таких поражающих свидетельств голода Андрий не вытерпел не спросить татарку:

— Неужели они, однако ж, совсем не нашли, чем проба-
вить¹⁰⁹ жизнь? если человеку приходит последняя крайность,
тогда, делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоле брез-
гал: он может питаться теми тварями, которые запрещены за-
коном, все может тогда пойти в снедь.

— Все переели, — сказала татарка, — всю скотину: ни
коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У
нас в городе никогда не водилось никаких запасов: все при-
возилось из деревень.

— Но как же вы, умирая такую лютою смертью, все еще
думаете оборонить город?

— Может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром полков-
ник, который в Бужанах¹¹⁰, пустил в город ястреба с запиской,
чтобы не отдавали города: что он идет на выручку с полком, да
ожидает только другого полковника, чтоб идти обоим вместе.
И теперь всякую минуту ждут их... но вот мы пришли к дому.

Андрей уже издали видел дом, непохожий на другие и,
как казалось, строенный каким-нибудь архитектором ита-
льянским: он был сложен из красивых тонких кирпичей в два
этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко вы-
давшиеся гранитные карнизы; верхний этаж состоял весь из
небольших арок, образовавших галерею; между ними были
видны решетки с гербами; на углах дома тоже были гербы. На-
ружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила
на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часо-
вому, которые картинно и симметрически держались одной
рукой за стоявшие подле них алебарды¹¹¹, а другою подпирали
наклоненные свои головы и, казалось, таким образом, более
походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и
не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они
не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. На
верху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до
головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник.
Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала
ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы
своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, до-

вольно просторную, служившую приемною или просто переднею; она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимою для показания сана польского вельможи. Слышен был чад погаснувшей свечи; две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человека, подсвечниках, стоявших посредине, несмотря на то, что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрий уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что: малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрию остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинною роскошною косою, упавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он вошел. Он не помнил, как вошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи, лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения колен во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным перед нею. Не такую воображал он ее видеть: это была не она, не та, которую он знал прежде; ничего не было в ней похожего на ту; но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде; тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное; теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. То была прелестная, ветреная девушка; эта была красавица, женщина во всей развившейся красе своей. Полное

чувство выражалось в ее поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающею влагою, проходившею в душу; грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упала на грудь: казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он отыскать в них хоть одну из тех, которые носились в его памяти, — ни одной. Как ни велика была ее бледность, но она не помрачала чудесной красоты ее, напротив, как будто придавала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрий в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом казака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и, как шелк, лоснился молодой черный ус.

— Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. — Один Бог может вознаградить тебя, не мне, слабой женщине...

Она потупила свои очи; прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, охраненные длинными, как стрелы, ресницами; наклонилось все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Не знал, что сказать на это Андрий; он хотел бы выговорить все, что ни есть на душе, выговорить его так же горячо, как оно было на душе, — и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста; звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою казацкую натуру.

В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия, — и много было в очах тех. Этот умиленный взор, выказавший изнеможенье и бессилье выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движения и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле, и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, обратясь к татарке, беспокойно спросила:

— А мать? ты отнесла ей?

— Она спит.

— А отцу?

— Отнесла; он сказал, что придет сам благодарить рыцаря.

Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрий, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела; и вдруг вспомнил о бесновавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивши кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал:

— Довольно, не ешь больше! ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит.

И она опустила тут же свою руку; положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, ниже того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы.

— Царица! — вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков, — что тебе нужно, чего ты хочешь? — прикажи мне! задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнить ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я исполню, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь Святым Крестом, мне так сладко... но нет, нель-

зя сказать того! У меня три хутора, половина табунов отцовских — мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, — все мое! Нет ни у кого теперь из казаков наших такого оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет все это сюда, что не мне, проводшему жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все, что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою другие боярские жены и дочери-девы.

С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую, сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа, и каждое простое слово этой речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, облечено было в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами; потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначеньем ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом... и глаза ее вдруг наполнились слезами; она схватила платок, шитый шелками, набросила его себе на лицо, и он в минуту стал весь влажен; и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада, и не снимая с лица платка, чтобы *он* не видел ее сокрушительной грусти.

— Скажи мне одно слово! — сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от этого прикосновенья, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна.

— Отчего же ты так печальна? скажи мне, отчего ты так печальна?

Бросила прочь она от себя платок, отдернула падающие на очи длинные волосы свои и вся разлилась в жалостных речах, выговаривая их тихим голосом, подобно тому, как ветер, поднявшись в прекрасный вечер, пробежит вдруг по густой чаще привольного тростника, — зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного стука где-то проезжающей телеги.

— Не достойна ли я вечных сожалений? не несчастна ли мать, родившая меня на свет? не горькая ли доля пришлась на часть мне? не лютый ли ты палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела к ногам моим: лучших дворян из всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов и все, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за великое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породой, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, ко врагу нашему. За что же ты, Пречистая Божья Матерь, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? к тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве. И мало того, что осуждена я на такую страшную участь, мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых двадцать раз готова была бы отдать жизнь свою, мало всего этого; нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидеть

и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя, прости мое прегрешение, Святая Божья Матерь!

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, все, казалось, говорило: «Нет счастья на лице этом!»

— Не слыхано на свете, не можно, не быть тому, — говорил Андрий, — чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь, не тебе умирать, клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же будет уже так и ничем, ни силой, ни молитвой, ни мужеством, нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе, и прежде умру я, умру перед тобой, у твоих прекрасных колен, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою.

— Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, — говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, — знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня, знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, — а мы враги тебе.

— А что мне отец, товарищи, отчизна? — сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осока¹¹², стан свой. — Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! — повторил он тем же голосом и с тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый казак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. — Кто сказал, что моя отчизна Украина? кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну эту в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и

посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда! и все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровождаемые трубным и литавренным звуком; но он не слышал их; он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыхания, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и все спустившиеся с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блестящим шелком.

В это время вбежала к ним с радостным криком татарка.

— Спасены, спасены! — кричала она, не помня себя, — наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев.

Но не слышал никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный чувств, вкушаемых не на земле, Андрий поцеловал в благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в этом обоюдном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку.

И погиб казак! пропал для всего казацкого рыцарства! не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божией. Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клоч волос из своей чупрыны и проклянет и день и час, в который породил на позор себе такого сына.

VII

Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что

войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и, снявши шапки, затихли, он сказал:

— Так вот что, панове-братове, случилось в эту ночь; вот до чего довел хмель! вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начхает, так вы того не услышите.

Казаки все стояли понутив головы, зная вину; один незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался.

— Постой, батько! — сказал он, — хоть оно и не в законе, чтобы сказать такое возражение, когда говорит кошевой пред лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул. Казаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжелой работе; но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было; как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой.

Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понутившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре сказал Кукубенко!» А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал:

— А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказал! что ты скажешь на это?

— А что скажу? скажу: блажен и отец, родивший такого сына: еще небольшая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде.

«Добре сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово!» — повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули головою и, моргнувши седым усом, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

— Теперь слушайте же, панове! — продолжал кошевой, — брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, — пусть ей враг прикинется! — и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним немного; народ в городе голодный, стало быть, все съест духом, да и коням тоже сена... уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой... только про это еще Бог знает; а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькинский и Корсунский курень на засаду; полковник Тарас с полком на засаду; Тытаревский и Тymoшевский курень на запас с правого боку обоза, Щербиновский и Стебликинский верхний, с левого боку! Да выбирайтесь из ряду молодцы, которые позубастей на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура, брани не вытерпит, и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, всякий перегляди курень свой: у кого недочет, пополни его остатками Переяславского. Перегляди все снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на казака! Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, поначадились все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь-

жид, продаст казаку хоть один кухоль¹¹³ сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы, за работу!

Так распоряжался кошевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились к своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши¹¹⁴, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда бы девался Андрий; полонили ли его вместе с другими и связали сонного; только нет, не таков Андрий, чтобы отдался живым в плен. Между убитыми казаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени.

— Кому нужно меня? — сказал он, наконец очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель.

— Пан полковник, пан полковник! — говорил жид быстрым и прерывистым голосом, как будто бы хотел объяснить дело не совсем пустое, — я был в городе, пан полковник!

Тарас посмотрел на жида и удивился тому, что он уже успел побывать в городе.

— Какой же враг тебя занес туда?

— Я тотчас расскажу, — сказал Янкель, — как только услышал я на заре шум и казаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом, дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорей узнать, отчего шум, отчего казаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу, впереди отряда пан хорунжий¹¹⁵ Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных; я за ним, будто бы затем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ним в город.

— Как же ты вошел в город, да еще и долг хотел выправить! — сказал Бульба, — и не велел он тебя тут же повесить, как собаку?

— А ей-Богу, хотел повесить, — отвечал жид, — уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего, я все скажу пану, нет ни одного червонного в кармане, хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова¹¹⁶, а грошей у него так, как у казака, ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жида, не в чем было бы ему на войну выехать. Он и на сейме оттого не был...

— Что ж ты делал в городе? видел наших?

— Как же, наших там много: Ицка¹¹⁷, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор...

— Пропади они, собаки! — вскрикнул, рассердившись, Тарас, — что ты мне тычешь свое жидовское племя! я тебя спрашиваю про наших запорожцев.

— Наших запорожцев не видал, а видал одного пана Андрия.

— Андрия видел? — вскрикнул Бульба, — что ж он? где видел его? в подвале? в яме? обесчещен? связан?

— Кто же бы смел связать пана Андрия? теперь он такой важный рыцарь... далибуг¹¹⁸, я не узнал. И наплечники в золоте, и на поясе золото, и везде золото, и все золото; так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и всякая травка пахнет, так и он весь сияет в золоте, и коня ему дал воевода самого лучшего под верх: два ста червонных стоит один конь.

Бульба остолбенел.

— Зачем же он надел чужое одеянье?

— Потому что лучше, потому и надел. И сам разъезжает, и другие разъезжают, и он учит, и его учат: как наибогатеиший польский пан!

— Кто ж его принудил?

— Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним?

— Кто перешел?

— А пан Андрей.

— Куда перешел?

— Перешел на их сторону; он уже теперь совсем ихний.

— Врешь, свиное ухо!

— Как же можно, чтобы я врал? дурак я разве, чтобы врал? на свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жиды повесят, как собаку, коли он соврет перед паном.

— Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?

— Я же не говорю этого, чтобы он продал что, я сказал только, что он перешел к ним.

— Врешь, чертов жид! такого дела не было на христианской земле! ты путаешь, собака!

— Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекра, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним.

— Отчего?

— У воеводы есть дочка-красавица, святой Боже! какая красавица! — Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищулив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отдававши.

— Ну, так что же из того?

— Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни — она и согнется.

Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия, и стоял он долго как вкопанный на одном и том же месте.

— Слушай, пан, я все расскажу пану, — говорил жид, — а как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказал я себе, то им хоть и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только хорунжего слуги пусти-

ли меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг. Расспросил все у служанки-татарки: «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещался прогнать запорожцев».

— И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? — вскрикнул Бульба.

— За что же убить? он перешел по доброй воле. Чем человек виноват: там ему лучше, туда и перешел.

— И ты видел его в самое лицо?

— Ей-Богу, в самое лицо! такой славный вояка! всех взрачней. Дай ему Бог здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал...

— Что ж он сказал?

— Он сказал, прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: «Янкель!» А я: «Пан Андрий!» — говорю. «Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми, со всеми буду биться!»

— Врешь, чертов иуда! — закричал, вышед из себя, Тарас, — врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый Богом человек! Я тебя убью, сатана! утекай отсюда, не то тут же тебе и смерть! — И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю.

Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между казацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся.

Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу.

Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще казаками. А запо-

рожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургизив, Тытаревский, Тymoшевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули¹¹⁹ казаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанным во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман Хлеб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стане.

В городе услышали казацкое движенье. Все высыпали на вал, и предстала пред казаков живая картина: польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набекрень верхами. Кафтаны с откидными рукавами, шитые золотом и просто выложенные шнурами. У тех сабля и ружья в дорогих оправках, за которые дорого приплачивались паны, и много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан насилу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо выросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка в краске на лице: любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты¹²⁰, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских замках. Немало было и всяких сенаторских¹²¹ нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день са-

дились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядилось.

Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было из них ни на ком золота; только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях и ружейных оправах. Не любили казаки богато наряжаться на битвах: простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели черные, червоноверхие бараньи их шапки.

Два казака выехали вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже неплохие казаки: Охрим Наш и Мыкыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый казак, уже давно маячивший на Сече, бывший под Адрианополем¹²² и много потерпевший на веку своем: горел в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею головою и сгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец¹²³, вырастил усы, густые и черные как смоль, и крепок был на едкое слово Попович.

— А, красные жупаны¹²⁴ на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска?

— Вот я вас! — кричал сверху дюжий полковник. — Всех перевяжу! отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев!

И вывели на вал скрученных веревками запорожцев; впереди их был куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, так как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же казаками и того, что попал в плен, как собака, сонный. В одну ночь поседела крепкая голова его.

— Не печалься, Хлиб! выручим! — кричали ему снизу казаки.

— Не печалься, друзьяка! — отозвался куренной атаман Бородатый, — в том нет вины твоей, что схватили тебя нагого: беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что выставляли тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей.

— Вы, видно, на сонных людей храброе войско! — говорил, поглядывая на вал, Голокопытенко.

— Вот погодите, обрежем мы вам чубы! — кричали им сверху.

— А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне, и потом, поглядевши на своих, сказал: — А что ж? может быть, ляхи и правду говорят; коли выведет их вон тот, пузатый, им всем будет добрая защита.

— Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? — сказали казаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь отпустить.

— А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!

Все засмеялись казаки; и долго многие из них еще покачивали головою, говоря: «Ну уж Попович! уж коли кому закрутит слово, так только ну...» — Да уж и не сказали казаки, что такое «ну».

— Отступайте, отступайте скорей от стен! — закричал кошевой, ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.

Едва только посторонились казаки, как грянули с вала картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем гусары, за ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи вmeshаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий, за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник, а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник.

— Не давать им! не давать им строиться и становиться в ряды! — кричал кошевой, — разом напирайте на них все курени! Оставляйте же прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! На-

пирайте на тыл, Кукубенко и Палывода! Мешайте, мешайте и розните их!

И ударили со всех сторон казаки, сбили и смешали ляхов, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвестъ; пошло дело на мечи да на копыя. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые кони! таких коней я давно хотел достать». И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим казакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинуд аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, сняв с него саблю с дороною рукоятью и отвязав от пояса целый черенок с червонцами¹²⁵. Кобита, добрый казак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашный, одолел было уже казак и, сломивши, ударил острым турецким ножом в грудь. Но не уберегся сам: тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского рода рыцарь. Как стройный тополь, носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали: двух запорожцев разрубил надвое, Федора Коржа, доброго казака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню, а казака достал из-за коня копьем; многим отнял головы и руки, повалил казака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок.

— Вот с кем бы я хотел попробовать силы! — закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не послушался конь; испуганный страшным криком, метнулся на сторону, и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые поbled-

невшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю; так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу.

— Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство! — сказал уманский куренной Бородатый, отъезжая от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. — Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком.

И польстился корыстью Бородатый, нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных камней, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть: отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп, далеко оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая казацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель.

Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распланный среди воздуха на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела, — так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинуд ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела, и пуля даром полетела в поле. Остап тут же,

у его же седла, отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и по ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех казаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману.

Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибирать его тело, и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали:

— Да на что совещаться? лучше не можно поставить в куренные, как Бульбенка Остапа: он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека.

Остап, сняв шапку, всех поблагодарил казаков-товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь; а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно у самых ворот четыре свежие сотни, и грянули оттуда картечью в казацкие кучи; но мало кого достали: пули хватали по быкам казацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на казацкие таборы, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас, в это время вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился напереймы¹²⁶. Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало.

— О, спасибо вам, волы! — кричали запорожцы, — служили всё походную службу, а теперь и военную сослужили! — И ударили с новыми силами на неприятеля.

Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Метельца, Шило, оба Писаренки, Вовтузенко, и немало было всяких. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули хоругвь¹²⁷ и закричали отворять городские ворота. Со скрипом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся,

как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши:

— Подальше, подальше, паны-братья, от стен! не годится близко подходить к ним. — И правду сказал, потому что со стен грянуло и посыпали всем чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши:

— Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый! — Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке.

— Вишь ты какой! — сказал он, глядя на него, и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну.

Казаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылись красивые медные шапки.

— Что, перевязали? — кричали им снизу запорожцы.

— Вот я вас! — кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и все, бывшие позадорнее, перекинулись с обеих сторон бойкими словами.

Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, утомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами, копьями копали могилы, шапками, полами выносили землю; сложили честно казацкие тела и засыпали их свежеею землею, чтобы не досталось воронам и хищным орлам выклевывать им очи. А ляшские тела, привязавши как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороз-

дам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы.

Потом сели кругами все курени вечерять¹²⁸ и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они; а долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посоветился ли иуда выйти противу своих, или обманул жид и попался он просто в неволю. Но тут же вспомнил он, что не в меру было склончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклился сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех казачков. Избили бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, что покрывают горные вершины. Разнес бы по частям он ее пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит Бог человеку завтра, и стал позабываться сном, и наконец заснул.

А казаки все еще говорили промеж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

VIII

Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки казаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали казаки под землей, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу¹²⁹. Один только казак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу¹³⁰, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дня и две ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел на другого,

загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы, по казацкому обычаю, и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб, — этого ничего не сказал он. Сильно истомился казак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.

В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне¹³¹, на Критском острове, и Бог знает в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как равные между собою.

— Давай совет прежде старшие! — закричали в толпе.

— Давай совет, кошевой! — говорили другие.

И кошевой, сняв шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех казаков за честь и сказал:

— Много между нами есть старших и советом умнейших; но коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татаринომ; ибо вы сами знаете, что за человек татарин: он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое казаки; за веру, сколько было по силам, отметили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет: идти.

— Идти! — раздалось громко в запорожских куренях. Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурные, исчерна-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.

— Нет, не прав совет твой, кошевой! — сказал он, — ты не так говоришь: ты позабыл, видно, что в плену остаются

наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтобы мы не уважили первого, святого закона товарищества, оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части казацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как уже сделали они с гетманом и лучшими русскими витязями на Украине. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас: что ж за казак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит казацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекать себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь.

Поколебались все стоявшие запорожцы.

— А разве ты позабыл, brave полковник, — сказал тогда кошевой, — что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти; позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?

Задумались все казаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бовдюг. В чести был он у всех казаков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый казак, но уже давно состарелся и не бывал ни в каких походах, не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вечно лежать на боку у казацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и казацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи, и не знали казаки, спал ли он, или все еще слушал. Все походы оставался он дома; на сей раз разобрало старого. Махнул рукою показавки и сказал:

— А, не куды пошла! пойду и я, может, в чем-нибудь буду пригоден казачеству!

Все казаки притихли, когда выступил он теперь перед собрание ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг.

— Пришла очередь мне сказать слово, паны-братья, — так он начал, — послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой, и, как голова казацкого войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что! Это пусть будет первая моя речь; а теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь: большую правду сказал и Тарас-полковник, дай Бог ему побольше веку и чтоб таких полковников было побольше на Украине! Первый долг и первая честь казака есть соблюдать товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны-братья, чтобы казак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те и другие нам товарищи — меньше их или больше, — все равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот такая моя речь: те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами и которым не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдет с одною половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана¹³². А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести.

Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все казаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали:

— Спасибо тебе, батько! молчал, молчал, долго молчал, да вот наконец и сказал; недаром говорил, когда собирался в поход, что будет пригоден казачеству: так и сделалось.

— Что, согласны вы на то? — спросил кошевой.

— Все согласны! — закричали казаки.

— Стало быть, раде конец?

— Конец раде! — кричали казаки.

— Слушайте ж теперь войскового приказа, дети, — сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорож-

цы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, потупив очи в землю, как бывало всегда между казаками, когда собирался что говорить старший.

— Теперь отделяйтесь, паны-братья! кто хочет идти, ступай на правую сторону, кто остается, отходи на левую; куда большая часть куреня переходит, туда и атаман; коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням.

И вот стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня большая часть переходила, туда и куренной атаман переходил, которого малая часть, та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайковский курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, большая половина Стебликивского куреня, большая половина Тymoшевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый казак Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завязаного нрава казак, — не мог долго высидеть на месте: с ляхами попробовал он уже дела, захотелось попробовать еще с татарами. Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невылычкий, и много еще других славных и храбрых казаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татаринoм. Немало было также сильно и сильно добрых казаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демьтрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих казаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метельця, Иван Закрутыгуба, Мосий¹³³ Шило, Дёгтяренко, Сыдоренко, Писаренко, потом другой Писаренко, потом еще Писаренко, и много было других добрых казаков. Все были хожалые, езжалые; ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и днепровским островам¹³⁴, бывали

в молдавской, волошской¹³⁵, в турецкой земле; изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли; перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли порошу на своем веку; не раз драли на онучи дорогие паволоки¹³⁶ и оксамиты; не раз черешши¹³⁷ у штанных очкуров набивали все чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшему бы другому на всю жизнь, того и счета не было. Все спустили по-казацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра: кружек, серебряных ковшей и запястьев, под камышами на днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было бы татарину найти, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были казаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый казак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши: «Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами; а тут есть место, где опочить доброю казацкою смертью. Давно уже просил я Бога, чтобы если придется кончить жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого казака».

Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда курениями, кошевой прошел промеж рядов и сказал:

— А что, панове-братове, довольны одна сторона другою?

— Все довольны, батько! — отвечали казаки.

— Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит казацкая честь.

И все казаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом, взяв за руки и крепко держа руки, хотел один другого спросить:

«Что, пане-брате, увидимся или не увидимся?» — да и не спросили, замолчали, и загадались¹³⁸ обе седые головы. А казаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим, но не повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дожидаться темной ночной поры, чтоб не дать неприятелю увидеть убыль в казацком войске. Потом все отправились по куреням обедать.

После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкушать на такой свободе. Спали до самого солнечного захода, а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись¹³⁹ еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами, конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотала вслед за пешими, и вскоре стало их не видно в темноте. Глухо отдавался только конский топот да скрип иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще оставшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветившихся ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против воли, потупив в землю гульливые свои головы.

Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды и как уныние, неприличное храбрым, стало тихо обнимать казацкие головы; но молчал: он хотел дать время всему, чтобы свыклись они и с уныньем, наведенным прощаньем с товарищами; а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большею силою, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бес сильным рекам. Коли же безветренно и тихо, яснее всех рек

расстиляет оно свою неоглядную стеклянную поверхность, вечную негу очей.

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в казацком стане; двойною крепкою шиною были обтянуты белые колеса¹⁴⁰ его, грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возе были все баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребях. Взял он его про запас на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому казаку, до единого, досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое чувство овладело бы человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьих кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки.

— А берите все, — сказал Бульба, — все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш или черпак, которым поит коня, рукавицу или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти.

И казаки все, сколько ни было, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знака, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа.

— Я угощаю вас, паны-братья, — так сказал Бульба, — не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дело великого поту,

великой казацкой доблести! Итак, выпьем, товарищи, разом, выпьем наперед всего за святую православную веру, чтобы пришло наконец такое время, чтоб по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане-братове, за веру.

— За веру! — загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами.

— За веру! — подхватили дальние — и все, что ни было, и старое и молодое, выпило за веру.

— За Сечь! — сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.

— За Сечь! — отдалось густо в передних рядах.

— За Сечь! — сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, вострепнувшись, как молодые соколы, повторили молодые: — За Сечь!

И слышало далече поле, как поминали казаки свою Сечь.

— Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!

И все казаки, до последнего, выпили последний глоток за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми курениями:

— За всех христиан, какие ни есть на свете!

Уже пусто было в ковшах, а все еще стояли казаки, поднявши руки; хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно задумались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкесских коней; но задумались они, как орлы, севшие на вершинах каменистых гор, обрывистых, высоких гор, с которых

далеко видно расстилающееся беспредельное море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами¹⁴¹ и дорогами покрыто их белыми торчащими костями, щедро обмывшись казацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями; далече раскинутся чубатые головы с перекрученными книзу усами; будут орлы, налетев, выдирать и выдергивать из них казацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет, как малая порошок с ружейного дула, казацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бороною, а может быть, полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них; ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую мастер много повергнул дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.

IX

В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть возов за лес; но подумали, что казаки готовились сделать засаду; то же думал и французский инженер; а между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах: по обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита казаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жида, однако же, воспользовались

вылазкою и пронюхали все: куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать, — словом, чрез несколько уже минут в городе все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, оставил в три табора курени, обнесши их возами в виде крепостей¹⁴², — род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду; убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае загнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речь казакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их, — знал, что и без того крепки они духом, — а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце.

— Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, сырые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство; вот на чем стоит наше товарищество! нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать; но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя! но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! также Божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет! умные люди, да не те; такие же люди, да не те! нет, братцы; так любить, как русская душа, любить не то чтобы умом или чем другим,

а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а!.. — сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребях запечатанные меды их; перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства; но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства; и проснется он когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками; схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество. Уже если на то пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведется так умирать! никому, никому! не хватит у них на то мышинной натуры их!

Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившуюся в казацких делах головою; всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца; самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза тихо накатывалась в старых очах; медленно отирали они ее рукавом, и потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывальыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалиею и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам-родителям, родившим их.

А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны,

окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они быстро на казацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели казаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищаля¹⁴³, и, не прерывая, все палили из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в непрерывный гул; дымом затянуло все поле; а запорожцы все палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли казаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыму и оглядеться, то многих недосчитались в рядах своих; а у казаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И все продолжали палить казаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: «Вот brave молодцы-запорожцы! вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но целившие взяли слишком высоко, раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу; страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями непрерывно казаки.

Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликизскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорей из-за возов, и садись всякий на коня!» Но

не успели бы сделать то и другое казаки, если бы Остап не ударил в самую середину: выбил фитили у шести пушкарей; у четырех только не мог выбить: отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотолѣ. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырекратно потрясши глухо-ответную землю, — много нанесли они горя! Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси; не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове¹⁴⁴ и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между них одного, милейшего всех: но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех.

Так, как будто и не бывало половины Незамайковского куреня! как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красуется всякий колос, так их выбило и положило.

Как же вскинулись казаки! как схватились все! как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Вбился он с остальными своими незамайковцами в самую средину, в гнѣве иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коня, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку; а уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман и Степан Гуска уже отбил главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу: там, где прошли незамайковцы, — так там и улица! где поворотили — так уж там и переулоч! Так и видно, как редели ряды и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дѣгтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дѣгтяренко, да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепоч был лях, пышной сбруей

украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал:

— Нет из вас, собак-казаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!

— А вот есть же! — сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он казак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Все вынесли и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой закон, скверною чалмой обвинил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники; ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой: так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жесткие веревки; всех перебил по шеем, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы наместо того сабли да рубили турков. Много тогда набрали казаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной казак. Иной раз повершал такое дело, какого и мудрейшему не придумать, а в другой просто дурь одолевала казака. Пропил и прогулял все, всем задолжал на Сече и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю казацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару; но не нашлось такого из всех за-

порожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был казак Мосий Шило.

«Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» — сказал он, кинувшись на него. И уже там-то рубились они! и наплечники и зеркала¹⁴⁵ погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвием самого тела: зачERVонила казацкая рубашка; но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях; а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, казак, врага, а лучше поворотись назад! Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уже достал бы смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов¹⁴⁶. Пошатнулся Шило и почувал, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, оборотившись к товарищам: «Прощайте, паны-братья, товарищи! пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожный с своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балабан.

— А что, паны, — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными, — есть еще порох в пороховницах? не ослабела ли казацкая сила? не гнутся ли казаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах; не ослабела еще казацкая сила; еще не гнутся казаки!

И наперли сильно казаки: совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам; но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворачив коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с боко-

вого куреня, Степан Гуска пустился за ним в погоню, с арканом в руке, пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накиннул аркан ему на шею: весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее; но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но не сдобровать и Гуске! Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копы. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» И там же испустил дух свой.

Оглянулись казаки, а уж там, сбоку, казак Метельца угощает ляхов, шеломя¹⁴⁷ того и другого; а уж там, с другого, напирает с своими атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьет Закрутыгуба; а у дальних возов третий Писаренко отогнал уже целую ватагу; а уж там, у других возов, схватились и бьются на самых возах.

— Что, паны! — перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех, — есть ли еще порох в пороховницах? крепка ли еще казацкая сила? не гнутся ли уже казаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка казацкая сила; еще не гнутся казаки!

А уж упал с воза Бовдюг; прямо под самое сердце пришлась ему пуля; но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом! дай Бог и всякому такой кончины! пусть же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру.

Балабан, куренной атаман, скоро после того грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему от копы, от пули и от тяжелого палаша; а был один из доблестнейших казаков, много совершил он под своим атаманством морских походов; но славнее всех был поход к анатолийским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы, киндяков¹⁴⁸ и всяких убранных. Но мыкнули горе на обратном пути: попались, сердечные, под турецкие ядра.

Как хватило их с корабля — половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши не одного в воде; но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и чрез то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, чиня пробитые места; из казацких штанов нарезали парусов, понесли и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того, что прибыли безбедно на Сечь, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря и на Покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра¹⁴⁹. И славили долго потом бандуристы удачливость казаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны-браты, умираю хорошою смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол, истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!» И отлетела его душа.

Казаки, казаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось из всего Незамайковского куреня, уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели казаки: уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхвативших его казаков, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в стеклянном сосуде из погребца неосторожные слуги и, поскользнувшись тут же у входа, разбили дорогую сулею; разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай жизни, чтобы если приведет Бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек. Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! пусть же после нас живут лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И выле-

тела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам; хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную Меня!¹⁵⁰ — скажет ему Христос. — Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал Мою Церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже редели сильно казацкие ряды; многих храбрых недосчитывались; но стояли и держались еще казаки.

— А что, паны! — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями, — есть ли еще порох в пороховницах? не иступились ли сабли? не утомилась ли казацкая сила? не погнулись ли казаки?

— Достанет еще, батько, пороху; годятся еще сабли; не утомилась казацкая сила; не погнулись еще казаки!

И рванулись снова казаки так, как бы и потерь никаких не понесли. Уже три только куренных атамана осталось в живых; червонели уже всюду красные реки; высоко гатились¹⁵¹ мосты из казацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то поживать! А уж там подняли на копье Метельщю; уже голова другого Писаренка, завертевшись, захлопала очами; уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. «Ну!» — сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали сильного напора ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были вбиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь чрез их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последние за возами, увидели, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились казаки.

— Вот и наша победа! — раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи.

— Ну, нет, еще не совсем победа! — сказал Тарас, глядя на городские ворота, и сказал он правду.

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все

как один бурые аргмаки¹⁵²; впереди других понесся витязь всех бойче, всех красивее; так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пёс, красивейший, быстрее и младший всех в стае. Атукнул¹⁵³ на него опытный охотник — и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как? своих? своих? чертов сын, своих бьешь?» Но Андрий не различал, кто перед ним был, свои или другие какие: ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев.

«Эй хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрее казаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало казацкой мочи. Как вскинулся Андрий! как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что позади только всего двадцать человек поспевало за ним; а казаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: перед ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен, как школьник, неосторожно задравший своего товарища и получивший за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как

огонь, бешеный вскакивает с лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и падает бессильная ярость. Подобно тому, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

Но ничего не мог на то сказать Андрий и стоял, потупивши в землю очи.

— Что, сынку! помогли тебе твои ляхи?

Андрий был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.

Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не казак? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал! пропал бесславно, как подлая собака!

— Батько, что ты сделал? это ты убил его? — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою.

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:

— Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не наругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы.

— Погребут его и без нас! — сказал Тарас, — будут у него плакальщики и утешницы!

И минуты две думал он: кинуть ли его на расхищение волкам-сыромахам¹⁵⁴, или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, — скачет к нему на коне Голокопытенко.

— Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!

Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко.

— Беда, атаман, новая валит еще сила!

Не успел сказать Вовтузенко, Писаренко бежит бегом, уже без коня.

— Где ты, батько, ищут тебя казаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожный убит, Черевиченко убит; но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи, хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом!

— На коня, Остап! — сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы наглядеться еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана.

Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и между деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап, Остап! не поддавайся!» — кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьём в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля, — вздыбил бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку! добре, Остап! — кричал Тарас, — вот я следом за тобою!» А сам все отбивался от на-

ступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап, Остап! не поддавайся!» Но уже одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап! — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. — Эх, Остап, Остап!..» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту: все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули перед ним головы, копы, дым, блески огня, сучья с древесными листьями. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи.

Х

— Долго же я спал! — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружающие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались перед ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию.

«Да, — подумал про себя Товкач, — заснул бы ты, может быть, и навеки!» Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать.

— Да скажи же мне, где я теперь? — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.

— Молчи ж! — прикрикнул сурово на него товарищ. — Чего тебе еще хочется знать? разве ты не видишь, что весь изрублен. Уж две недели как мы с тобою скачем не переводя духу и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул спокойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам себе беды.

Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее.

— Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы?

— Молчи ж, говорят тебе, чертова детина! — вскричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неугомонному повесе-ребенку. — Что пользы знать тебе, как выбрался? довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, — ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать вместе! Ты думаешь, что пошел за простого казака? нет, твою голову оценили в две тысячи червонных.

— А Остап? — вскричал вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках.

И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих; бросил их далеко прочь; хотел громко что-то сказать — и вместо того понес чепуху: жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи.

А между тем верный товарищ стоял пред ним, бранясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу.

— Хотя неживого, да довезу тебя! не поущу, чтобы ляхи поглумились над твоей казацкою породой, на куски рвали бы твое тело да бросали бы в воду. Пусть же хотя и будет орел выклевывать из твоего лба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть не живого, а довезу тебя до Украйны!

Так говорил верный товарищ; скакал без отдыха дни и ночи и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваниями; нашел какую-то знающую жиловку, которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарство ли, или своя железная сила взяла верх, только он через полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый казак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше

никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя: все новое на Сече, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все сгибли; кто положил в самом бою честную голову; кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков; кто в плену пропал, не вынеся позора; и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей, и уже поросла травой когда-то кипевшая казачья сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир; вся перебита вдребезги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды, — и смутный стоит хозяин дома, думая: «Лучше б и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, седые бандуристы, проходя по два и по три, раславляли его казацкие подвиги — сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горечь, и тихо, понутив голову, говорил он: «Сын мой, Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами.

Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотой; но заряд его оставался невыстреленным; и, положив ружье, полный тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понунив голову и все говоря: «Остап мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду разведать, что он? жив ли он? в могиле? или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы ни стало!»

И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишку, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями; куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки, в чепце с потемневшими жемчугами.

— Муж дома? — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей.

— Дома, — сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой¹⁵⁵ пива для рыцаря.

— Где же твой жид?

— Он в другой светлице, молится, — проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу.

— Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним одним. У меня до него дело.

Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружающих панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стороне. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все

пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели, — я спас твою жизнь, — тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы — теперь твоя очередь, теперь сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву.

— В Варшаву? как в Варшаву? — сказал Янкель; брови и плеча его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Кому сказать слово?

— Ему, Остапу, сыну моему.

— Разве пан не слышал, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас (Бульба высыпал из кожаного гамана¹⁵⁶ две тысячи червонных), а остальные — как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Ай, славная монета! ай, добрая монета! — говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. — Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев?

— Я бы не просил тебя; я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи; ибо я не горазд на выдумки. А вы, жида, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете; вы знаете все штуки: вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и: — эй, ну пошел, сивка! — Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, везти пана?

— Ну, так прячь, прячь, как знаешь; в порожнюю бочку, что ли?

— Ай, ай! а пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?

— Ну, так и пусть думает, что горелка.

— Как? пусть думает, что горелка? — сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики¹⁵⁷ и потом поднял кверху обе руки.

— Ну, что ж ты так оторопел?

— А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? там все лакомки, ласуны¹⁵⁸: шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку, верно, тут есть что-нибудь! Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид!

— Ну, так положи меня в воз с рыбою!

— Не можно, пан, ей-Богу, не можно! по всей Польше люди голодны теперь, как собаки: и рыбу раскрадут, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Слушай, слушай, пан! — сказал жид, посунувши¹⁵⁹ обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками, — вот что мы сделаем: теперь строят везде крепости

и замки; из Немецчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под жидовского яломка¹⁶⁰ по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.

XI

В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особенно если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жида почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные дома, со множеством протянутых из окон жердей, увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусок стены, об-

хваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна; тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел вместе с тремя жидами в комнату.

Жида начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния; старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жида! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное, — вы все на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червон-

ных, — я прибавляю еще двенадцать; все, какие у меня есть дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам!

— О, не можно, любезный пан, не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. — Может быть, Бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать; он слышал только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель, — нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете; у-у! то такой мудрый, как Соломон, и когда он ничего не сделает, то уже никто на свете не сделает. Сиди тут! вот ключ! и не впускай никого!

Жида вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно; к ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жида беспрестанно посматривали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтання. «А, Мардохай! Мардохай!» — закричали все жида в один голос. Тоший жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жида наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтання, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал пре-

скверные свои панталоны. Наконец все жида подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был давать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнив, что жида не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жида вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы захотим сделать, то уже будет так, как нужно».

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище; толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удалство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец уже ввечеру поздно показались Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жида собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не по-

нял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О любезный пан, — сказал Янкель, — теперь совсем не можно! ей-Богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет; Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете; но Бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь¹⁶¹ обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья, ой, вей мир!¹⁶² что это за корыстный народ! и между нами таких нет: пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтаны и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду!

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку, — и никто бы из самых близких

к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное¹⁶³ существо еще не показывалось в городе с коробкою с руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей: тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы, слышите, паны, это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверх.

— Кто идет? — закричало несколько голосов, и Тарас увидел порядочное количество воинов в полном вооружении. — Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель, — ей-Богу, мы, ясные паны!

Но никто не хотел слушать. К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы; вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте! Да саблей чтобы никто не скидал и не со-

бачился на полу... Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно; только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид, — это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас.

Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук¹⁶⁴ с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему:

— Ваша ясновельможность! ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан.

— Гм... а я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-Богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай... — При этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-Богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид, — ой, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... так от них блестит, как от солнца; а цурки¹⁶⁵, где только увидят военных... ай, ай!

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид. — Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков. Он еще сроду не видел, что это за народ казаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были увлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя:

— Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба, — сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают! Это вашу еретическую веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук, — а я знаю, приятель, ты кто: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность; но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастью, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был казак? А если бы он был казак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?

— Рассказывай себе! — И гайдук уже раскрыл было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради Бога! — закричал Янкель, — молчите! мы уже вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем; я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половиною бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук

закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много? — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать.

— Пан, пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, — деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите скорее ноги, говорю я вам!

— Пан! пан! пойдем, ей-Богу, пойдем. Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно! — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастье посылает Бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О Боже мой! Боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу; она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. — Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших клас-

сов. Множество старух самых набожных, множество молодых девушек и женщин самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерической лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однако же простаивали иногда довольно времени. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою¹⁶⁶ своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством.

Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи с усами и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами¹⁶⁷, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалуныя с черными глазами, схвативши светлую ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурами, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал так же внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! ведут! казаки!»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна изнашивались и болтались на них ветхими лоскутьями, они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце! Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому пришлось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, Боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не слышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и... не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение казацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто пред беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили сейм в сатиру на правление.

Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стоны не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его; не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: Боже! все неведомые, все чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и выкликнул в душевной немощи:

— Батько! где ты? слышишь ли ты все это?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных

всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и, когда всадники немного отделились от него, он со страхом оборотился назад, чтобы взглянуть на Тараса, но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

XII

Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч казацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет; поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отомстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле — за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, но сильный духом гетман Острица¹⁶⁸ предводил всею несметной казацкой силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и советник, Гуня¹⁶⁹. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный¹⁷⁰ ехали вслед за гетманом. Генеральный хорунжий¹⁷¹ предводил главное знамя; много других хоругвей и знамен развевалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых, обозных, войсковых товарищей¹⁷², полковых писарей и с ними пеших и конных отрядов; почти столько же, сколько было рейстровых казаков, набралось охочекомонных и вольных. Отовсюду поднялись казаки: от Чигирина, от Переяслава, от Батурина¹⁷³, от Глухова, от низовой стороны днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег потянулись по полям. И между теми-то казаками, между теми восьмью полками отборнее всех был один полк; и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими: и преклонные лета, и опытность, и

уменьше двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим казакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением.

Нечего описывать всех битв, где показали себя казаки, ни всего постепенного хода кампании: все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в Русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного, сплошного камня. Отовсюду видна она и глядит прямо в очи мимобегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что ни есть на нем, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух.

В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов; как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды; как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий¹⁷⁴ с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы; как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска; как облегли его в небольшом местечке Полонном¹⁷⁵ грозные казацкие полки и как, приведенный в крайность, польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были казаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пастыр-

ской митре¹⁷⁶, преклонили казаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля; но против своей Церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды казацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клоч волос из головы своей и вскрикнул:

— Эй, гетман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут, псяюхи!¹⁷⁷

Когда же полковой писарь подал условие и гетман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул далеко в разные стороны оба конца, сказав:

— Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете! Помяните же прощальное мое слово (при сем слове голос его вырос, поднялся выше, принял неведомую силу, — и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир, думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетман, кожу! набьют ее гречаную¹⁷⁸ половою, и долго будут видеть ее по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! пропадете в сырых погребках, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах!

— А вы, хлопцы! — продолжал он, оборотившись к своим. — Кто из вас хочет умирать своею смертью? Не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной казацкой смертью, всем на одной постели, как жених с невестою! или, может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксендзов?

— За тобою, пане полковнику! за тобою! — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку, и к ним прибежало немало других.

— А коли за мною, так за мною же! — сказал Тарас, надвинув глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех оставшихся, оправился на коне своим и крикнул своим: — Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!

И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними много было казацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся, — и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил.

Смутны стояли гетман и полковники; задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвещием. Недаром провещал Тарас. Так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом¹⁷⁹, вздернута была голова гетмана на кол вместе со многими из первейших сановников.

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова¹⁸⁰. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас. Не уважили казаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц: у самых алтарей не могли спастись они; зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огненного пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых бы подвинулась самая сырая земля и степная трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие казаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» —

приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения: неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, прилежащих к полю, обступил его коронный гетман Потоцкий. Четыре дня бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и камнями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьи́м ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Чуть не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона! — кричали ляхи. — Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с гетманского разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло голое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному ство-

лу, гвоздем прибивши ему руки и приподняв его повыше, чтобы отсюда был виден казак, и принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались казаки: ему с высоты все было видно как на ладони.

— Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, — кричал он, — горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот пропадут, пропадут ни за что! — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал:

— К берегу! к берегу, хлопцы! спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони.

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переверотил все в глазах его.

Пустились казаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: путается и погибается дорожка и много дает в сторону извивов. «А, товарищи! не куда пошло!» — сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули — и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не попали в реку, грянулись с вышины об камень и пропали там навеки с конями, даже не успевши издать крику. А казаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному казацкому делу и думая: прыгать ли им, или нет? Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за казаками. Перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изо-

рвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

— Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху. — Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорила ему!..

А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни и муки и сила такая, которая бы пересилила русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубоководных мест, блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем¹⁸¹ лебедей, и гордый гоголь¹⁸² быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов¹⁸³ и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки быстро плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я был тяжело болен¹; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и, приготавлиаясь к отдаленному путешествию² к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключением всего, что могло иметь значение только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти,

если бы она застигла меня на пути моем³, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на умение свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочесть ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие превысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможность совершить его одними собственными средствами, с другой стороны – в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей.

Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорчение многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается

в них умышленно оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощенья во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенья у моих братьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебрежение или неуважение к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомним, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, — как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черстой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.

1846, июль

I ЗАВЕЩАНИЕ

Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечет-ся каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имеющих насущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей непоколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходиллся поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других – пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, – то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всем нужные, то это знак гнева небесного, отъемлющего сим орудия и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели, нас зовущей. Не унынью должны мы предаваться при всякой незапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение под названием «Прощальная повесть»¹. Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя – не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, что, и не бывши писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в «Прощальной повести», ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предельшании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою², и сердце их услышит хотя отчасти строгую

тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий – во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою «Прощальную повесть». Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем*.

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах: все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто прекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлечения, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя

* «Прощальная повесть» не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни³.

часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного.

VI⁴.*

VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет⁵. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с предложениями, и только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне Бог совершить этот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме⁶ над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, – труда убийственного, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из граверов. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за все; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданиями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники

* Статья содержит распоряженья по делам семейственным.

увидать и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтении сих строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: «Гравировал Иорданов». Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп «Преображенья Господня»⁷, который, по признанию даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую.

Завещанье мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу.

1845

II ЖЕНЩИНА В СВЕТЕ (Письмо кой)

Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой – какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, – на множе-

ство всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен¹, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены – хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоит поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду, или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом – всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том, всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог не даром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общепольною трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого,

предстоят вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, – и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познания людей, ни познания жизни, словом – ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых – неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих – власть, которой сами в себе не подозреваете, – власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, – даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа.

Знаете ли, что мне признавались наизвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращение на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное. В прибавление ко всему вы имеете уже Самим Богом водворенное вам в душу стремление, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, наместо того, чтобы сокрыться во глубину вашего домашнего счастья, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремления вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровождение чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то не-

бесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самым бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытывавшая с своей гордой самонадеянностью: ее наиумнейшие убеждения, с которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое

простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет.

1846

III
ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ
(Из письма к гр. А. П. Тму)

...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух¹. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь – ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд

мой, на котором основана вся моя значительность², и та польза, которую так желает принести душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников³... Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.

1846

IV О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, —

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журна-

лист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет явление поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалявать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит суждение о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П.....н¹ имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснует в

свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства²», – и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного не расположения к кому бы то ни было, словом – в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П...н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом – выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей³, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просвещения и образования русского... И ни один человек не

сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, выяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших!¹⁴ Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще – слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои⁵, – говорит Иисус Сирах, – растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

1844

V

ЧТЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ ПЕРЕД ПУБЛИКОЮ
(Письмо к Л **)

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы: там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему *сочувствовать*. Передать, поделиться ощущением у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильнее по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясниться словом (признак природы эстетической). К образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтения со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор

почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигли только того, что сбили и спутали понятия публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоятся, и никто не может представить себе определенно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все что ни попало. Прочесть как следует произведение лирическое – вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его – и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтение наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль – обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употреблению их произведений!

1843

VI
О ПОМОЩИ БЕДНЫМ
(Из письма к А.О. С.....ой)

...Обращаюсь к нападениям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами, – вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини¹, сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначения его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частию случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть немаловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастье внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, вымо-

ривший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом – всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержание. А потому наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении; он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что ни захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастья, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.

VII
ОБ ОДИССЕЕ, ПЕРЕВОДИМОЙ ЖУКОВСКИМ
(Письмо к Н. М. Я...ву)

Появление «Одиссеи» произведет эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; «Илиада» перед нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремеслами, знаниями, верованиями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; все это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта. Участь «Одиссеи» странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, — уху его послушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще

страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот прозирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабская передача, но послышалось бы в нем *слово живо*¹, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановление, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обставились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, — охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереважившихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появленье произведения стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой.

«Одиссея» произведет у нас влияние, как *вообще на всех*, так и *отдельно на каждого*.

Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести *вообще на всех*. «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно, если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение² и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши единство и единосилие на множество образов и сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пророки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было. Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в Его истинном виде, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд³ и всей вереницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом,

многобожие отставит он в сторону, а извлечет из «Одиссеи» то, что ему следует из нее извлечь, – то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть, что человеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться, – для того и жизнь дана человеку, – что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то *общее*, тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление «Одиссея» прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни ваянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель и своего и грядущих поколений; словом – прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в «Одиссее» сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И все потому, что слишком осязательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность его, что ни в одном творении не проступает она так сильно наружу, проникая все и преобладая над всем, особенно, когда рассмотрим еще, как ярки все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное.

Отчего же так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную красоту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях,

как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благодать и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом – все, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановлениями не были определены отношения людей, когда люди еще много не ведали и даже не предчувствовали и когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиннотой поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. Можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку,

если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер – миф⁴, а все творения его – народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» *отдельно на каждого*. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустroенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напoмнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда позабываем, а именно: по тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. Еще более чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники.

Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» может появиться много истинно дельных критик, тем более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на «Одиссею». Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет. Читатели будут от этого не в убытке:

критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечитать, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхогляд не найдется даже, что и сказать об «Одиссее».

В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точнее его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетающая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возратить его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате⁵, где все сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как готовится он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировою критерой⁶, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, – все перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпее⁷.

Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» производит впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственной волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавою патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной младенческою ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильней того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством своей религии, позволяющей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновенью природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, — одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, — со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Благоухающими устами поэзии навеивается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

VIII
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ
ЦЕРКВИ И ДУХОВЕНСТВЕ
(Из письма к гр. А. П. Т.....му)

Напрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что Церковь наша безжизненна. — Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?»

Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!

Нет, храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь! Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть *жизнь*; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народ, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвинулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!»

IX
О ТОМ ЖЕ
(Из письма к гр. А. П. Т.....му)

Замечание, будто власть Церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращения в обществе, есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела, — это было бы нехорошо. Духовному предстоит много искушений, гораздо более даже, нежели нам: как раз завелись бы те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими. У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресенье, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие Самого Бога, внимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от Его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некото-

ром отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от осьмнадцатого века рококо¹ и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил Сам Спаситель. Нужно, чтобы и в самой одежде своей они носили себе вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожных нужд света, ибо с них тысящу крат более взыщется, чем с каждого из нас; чтобы слышали беспрестанно, что они – как бы другие и высшие люди. Нет, покамест священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и над самим собою. Он должен с Спасителя брать пример, Который долгое время провел в пустыне и не прежде, как после сорокадневного предуготовительного поста, вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.

Х
О ЛИРИЗМЕ НАШИХ ПОЭТОВ
(Письмо к В. А. Ж.....му)

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, то есть о статье под названием: «О лиризме наших поэтов». Прежде всего благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в «Современник»¹ мои сказания о русских поэтах²; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда помыслию, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно – что-то близкое к библейскому, – то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости³. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю Церкви⁴, «Пророк» и, наконец, этот таинственный побег из города⁵, напеча-

танный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякий раз становится как-то неизмеримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием «Гений»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламеня,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея⁶.
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И Бога слышала она.
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет.
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес,
И миру новые светила –
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновенье с верховным источником лиризма – Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них – *Россия*. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облачается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы притор-

ным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем, довольно чисто-сердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России – слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову выражаться так широко и торжественно всякий раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий⁷:

...Повелительный Стефан⁸
В один могущественный стан
Уже сбирал толпы густые –
Да ниспровергнет псковитян,
Да уничтожится Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась. Кровь за кровь –
И он не праздновал победы!

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному Промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокроуенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духовидец, который уже может в *зерне* прозревать его *плод*. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая

того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг⁹: из них один только бывал избранник Божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. За чем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? – Затем, что сильнее других слышит Божию руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного Царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть – *любви к царю*. От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни – об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желание получить что-нибудь, и такое соображение оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очерчивает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномочная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки,

вспомнит он вновь его и умилился сам перед святостью звания своего. Только холодные сердцем попрекнул Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиления тех замечательных строф, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

Что пел я россов ту царицу¹⁰,
Какой другой нам не найти
Ни здесь, ни впредь в пространном мире:
Хвались, хвались моя тем лира!

Не прочтет он также без непритворного душевного волнения сих уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глаз отъемлет¹¹:
Екатерины муза дремлет.
...Петь
Уж не могу. Другим певцам греметь
Мои оставлю ветхи струны.
Да черплют вновь из них перуны
Тех чистых пламенных огней,
Как пел я грех царей.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? – вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени – это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремление воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой

власти. Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех¹² и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жестокое и небратское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас¹³. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин! Это внутреннее существо¹⁴ – силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрание его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***»¹⁵. Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил.

Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принесся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрыжали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаясь лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрыжали.
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Сходить под тень долины малой,
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой.

Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему Боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшную ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет,

может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, – тот может быть уподоблен древнему Боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам – и забвенье долга нашего, и самый ропот наш, – все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостью своих мнений, и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа:
Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты¹⁶; но, положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как челове-

ка, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость звания своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего звания.

Поэты наши прозревали¹⁷ значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна *любовь*, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выражению. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях вышнюю, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся наконец до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже поставлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновение будет не жестоко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Ев-

ропе не приходило никому в ум определять высшее значение монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значение монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве¹⁸, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых¹⁹. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государ-

стве²⁰ принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда – государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Бога – избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому не известного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец князя, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предьявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить, и оспаривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле²¹, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала». И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот такие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, – как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такую суровую трезвостью их звуки; для того потребно полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов,

чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них возшли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключением из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему — Богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно все, что ни есть на земле, если только он не видит на нем впечатления Божьего. В ком хотя одна крупинка этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выражение признательности со стороны людской. Собственный лучший подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к государю²² и тайны двух его лучших сочинений²³. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопратно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, — Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк,

кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу²⁴, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и все в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себя черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкреплением. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен²⁵,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что престелью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упавшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умиленное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя – кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не

желанье оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя в Москву во время ужасов холеры, – черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

Небесами

Клянусь: кто жизнь свою своей²⁶
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор, –
Клянусь, тот будет Небу другом,
Какой бы ни был приговор
Земли слепой.

Он сумел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве»²⁷, в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающегося кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пиროвания: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на все это отвечает:

Нет, он с подданным мирится,
Виноватому вину
Забывая, веселится,
Чарку пенит с ним одну.
Оттого-то пир веселый,
Речь гостей хмельна, шумна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно Божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику²⁸, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной, — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной: «А еще и писатель!»

1846

XI СПОРЫ (Из письма к Л***)

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому немудрено, что с обеих сторон

наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть, – все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и все, что ни есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим – одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступить немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого отступить, потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры еще ничего, если бы только они оставались в гостиных да в журналах. Но дурно то, что два противоположные мнения, находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается (особенно в тех местах, где должность и власть разделена в руках двух)

таким образом, что в одно и то же время один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвизаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противоположные тем, которые замышляет собрат его. И оттого, как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда: они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на всю свою резкость, окончательно всем не определились, то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны. Вообще споры суть вещи такого рода, к которым люди умные и пожилые покамест не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ее дело. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что исполнишь это дело лучше всякого литератора. Но об одном тебя прошу: производи его в минуты, сколько возможно, хладнокровные и спокойные. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадою; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе: «Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи

старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возражение, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня.

1844

ХІІ
ХРИСТИАНИН ИДЕТ ВПЕРЕД
(Письмо к Ц.....ву)

Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития и что характер и дума твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалиясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе¹ и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепили в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего же это? Оттого, что у

них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги – угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желание быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двинется вперед, покуда не двинутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаньями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретает не иначе, как победой над страстями. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность; имя ей – мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из

нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубиноного незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласия во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлекает он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся Вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни².

1846

XIII
КАРАМЗИН
(Из письма к Н. М. Я....ву)

Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным¹. Это лучшее из сочинений Погодина в отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо-неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Все здесь, напротив того, стройно, обдуманно и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина прибраны так умно,

что Карамзин как бы весь очертывается самим собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять². Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве. Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды³ и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколется теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды.

1846

XIV
О ТЕАТРЕ, ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ВЗГЛЯДЕ НА
ТЕАТР И ВООБЩЕ ОБ ОДНОСТОРОННОСТИ
(Письмо к гр. А. П. Т.....му)

Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасенье вашем и, не найдя еще той именно дороги, которою вам предназначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасенью. Монах не строже вас. Так и ваши нападения на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы неправы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст¹. Но времена изменились. Мир весь перечистился сызнова поколениями свежих народов Европы, которых образование началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд святых отцов Церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах². Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поме-

ститься вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги – ногами, а голова – головой. В некоторых местах Европы это поняли: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительств; но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием, и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр³ и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уважения к высоким предметам; к ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуваженье к святыне⁴. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованьем правого, и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей; напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено внимание на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижных, заставит нечувствительно характеры более устояться в самих себе, тогда как

все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, становится легким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству⁵, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отделившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя непрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куда поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественно, чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря-чиновника; пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично, перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другою все вто-

ростепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику видеть двадцать раз сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин⁶ станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли! Потом же, когда первоклассный актер, разыгравши все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд, еще полнейший, как на собственную свою роль, так и на всю пьесу; а пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, – вещью, доселе неслыханной! Нет выше того потрясения, которые производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем наилюбимейшая музыкальная опера⁷. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего, по части репертуарной, возляжет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый трагический актер, а комедией – первый комический актер, когда одни они будут *исключительные* хороводы такого дела. Говорю *исключительные*, потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется, Бог весть: точно как из воды выйдет; докажет тут же свою необходимость ясно, как дважды два; заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во все, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно

какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношения подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта, и все сделались не тем оттого, что всяк, как бы наперерыв, старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже честный и умный человек, старался хотя на один вершок быть полномочней и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным. Где же он поставлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать: корчит перед этим подчиненным роль его начальника, заведет у себя переднюю, заставит ждать себя по целым часам, — словом, вместо того чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И все это иногда делается не с другим каким умыслом, как только затем, чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем недурных и неглупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Хлестаков был в эту минуту ничто перед ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к себе самому того же самого уважения, которым они были обязаны только одному начальнику, а за неисполнение того мстившего им оговорами, внушениями о них дурного

мнения, словом – всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобного правит или комитет, или один непосредственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику: там он употреблен только записывать определения других или вести хозяйственную часть; но иногда случается и там, от лености членов или чего другого, что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек, будучи всегда умным человеком, мог выпустить преглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват: бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог, по пословице: «Писал писачка, а имя ему собачка».

Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть употреблен только для одних хозяйственных расчетов да для письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой. Один только первоклассный актер-художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку; один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые считовки и полные предуготовительные повторения пьесы. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы все выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так, чтобы всяк, окруженный тут же обставляющими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновения с ними слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ро-

лей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и естественности как в речах, так и в телодвижениях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек: его ничем не переломашь; ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера; для него станет глухо все окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль, так же как и вся пьеса станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов. Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта делается видной и живой для всех актеров; один он может слышать законную меру репетиций – как их производить, когда прекратить и сколько их достаточно для того, дабы возмгла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело как за свое собственное, родное дело, докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от него, – и он это сделает, он это исполнит, потому что любит свое искусство. Он сделает даже больше, позаботясь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполнение всего целого как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о приращении сборной денежной кассы, – потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вверенных ему актеров, какие делаются людьми чиновными: его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он ни напакости, о том никто не узнает, потому что и сам он – неза-

метная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое Щепкин или Каратыгин, о том заговорит вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец, живя весь в своем искусстве, которое стало уже его высшею жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер не попустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загроздившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, чтобы хотел говорить собственно о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему. Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: «Рассердясь на вши, да шубу в печь», то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу. Односторонние люди и притом фанатики – язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомнения в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. Друг мой! смотрите за собой покрепче. Вы теперь именно находитесь в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности и вам не вверено никакого управления; иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к отправлению самых трудных и сложных должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем самый неспособный из неспособнейших. Берегитесь и в самих суждениях своих обо всем! Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское. Их удел – впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель Церкви при-

нимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно, в виду всех, возводить на Пушкина такое обвинение, что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону⁸, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Этак я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному Богу, зная, что ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так, может быть, свята. Христианин перед тем, чтобы обвинить кого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнание Бога в том виде, в каком повелел признавать Его Сам Божий Сын, сходявший на землю, задумается, потому что дело это страшное⁹. Он скажет и то: в поэзии многое есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна; трудно и над

простым человеком произнести суд свой; произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт, — как и во всяком даже простом мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, наместо того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю Церкви¹⁰, где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестью света, его поражал даже один вид служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой
Мгновенно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез неожиданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла прах земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин! Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильнее укрепит самое дело, показавши, как даже и тот человек, который заключал в себе все разнородные верования и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту христианскую. Но какой теперь смысл критики? — спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши в них сомнение и подозрение в Пушкине? Безделица — выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства!¹¹ Человека, на которого умственное поколение смотрит, как на вождя и на передового, сравнительно перед другими людьми! Хорошо еще, что критик был бесталантлив и не мог пустить в ход подобную ложь и что сам Пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах; но будь иначе — что другое, кроме безверья наместо веры, мог бы распространить он? Вот что можно сделать, будучи односторонним! Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде. Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противоположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта. Театр и театр — две разные вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух родов: иное дело восторг оттого, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное дело восторг оттого, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное

дело – слезы оттого, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, – слезы, которые, как я слышу, проливают теперь в Петербурге и немусыканты; и опять иное дело – слезы оттого, когда живым представленьем высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой, видя подвиг геройский в таковом его исполнении. Друг мой! мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно Самому Богу, все направлять к добру, – даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу Ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась.

1845

XV
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛИРИЧЕСКОГО
ПОЭТА В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ
(Два письма к Н. М. Я....у)

1

Твое стихотворенье «Землетрясенье» меня восхитило¹. Жуковский также был от него в восторге. Это, по его мнению, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений. Взять событие из минувшего и обратить его к настоящему – какая умная и богатая мысль! А применение к поэту, завершающее оду, таково, что его следует всякому из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в эту тяжелую годину всемирного землетрясения, когда все помутилось от страха за будущее. Друг! перед тобой разверзается живоносный источник. В словах твоих поэту:

И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины! –

заключаются слова тебе самому. Тайна твоей музыки тебе открывается. Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянutoй глазом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век. Нет, отыщи в минувшем событии подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божиим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живеи через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный Суд Божий, что вострепечется настоящее. У тебя есть на то орудья и средства: в стихе твоём есть сила и упрекающая и подъёмлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смутились от страхов и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья. Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара², от которых все пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть самый их смысл. А если хочешь быть еще понятней всем, то, набравшись духа библейского, опустишься с ним, как со светочем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего времени и углуби в то же время глубже в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. Стих твой не будет вял, не бойся; старина даст тебе краски и уже одной собой вдохновит тебя! Она так живьем и шевелится в наших летописях. На днях попалась мне книга: «Царские выходы»³. Казалось, что бы могло быть ее скучней, но и тут уже одни слова и названия царских убранств, дорожных тканей и каменьев – сущие сокровища для поэта; всякое

слово так и ложится в стих. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой – целиком унесешь читателя в минувшее. Мне, после прочтения трех страниц из этой книги, так и виделся везде царь старинных, прежних времен, благоговейно идущий к вечерне в старинном царском своем убранстве.

1844

2

Пишу к тебе под влиянием того ж стихотворенья твоего: «Землетрясение». Ради Бога, не оставляй начатого дела! Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени. Много, много предстоит тебе предметов, и грех тебе их не видеть. Жуковский недаром доселе называл твою поэзию восторгом, никуда не обращенным. Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, тогда как она дана тебе на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокруг: все теперь – предметы для лирического поэта; всяк человек требует лирического воззвания к нему; куды ни поворишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освежить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей. Проймешь их, если покажешь им дело в настоящем виде, то есть, что человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях, каковы бы ни были причины уныния, потому что унынье проклято Богом. Истинно русского человека поведешь на брань даже и против уныния, поднимешь его превыше страха и колебаний земли, как поднял поэта в своем «Землетрясении».

Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже он далеко от берега, уже несет и несет его ничтожная верхуш-

ка света, несут обеды, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьянение; нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души. Завопи воплем и выставь ему ведьму-старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердие, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно. О, если бы ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мертвых душ»⁴!

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало все бегом и без оглядки.

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников, которые не берут даже и тогда, как все берет вокруг их. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, чем допустить своего мужа сделать несправедливость и подлость. Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех на глазах и каждому из них захотелось бы самому быть бедным.

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из Русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плюнувши в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки, становится первым ратником добра. Покажи, как совершается это богатырское дело в истинно русской душе; но покажи так, чтобы невольно затрепетала в каждой русской природа и чтобы все, даже в грубом и низшем сословии, вскрикнуло: «Эх, молодец!» – почувствовавши, что и для него самого возможно такое дело.

Много, много предметов для лирического поэта – в книге не вместишь, не только в письме. Всякое истинное русское чувство гложет, и некому его вызвать! Дремлет наша удаль,

дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, — дремлет ум наш среди вялой и бабьей светской жизни, которую привили к нам, под именем просвещения, пустые и мелкие нововведения. Страхни же сон с очей своих и порази сон других. На колени перед Богом, и проси у Него Гнева и Любви! Гнева — противу того, что губит человека, любви — к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков, если только, подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом, если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданием вымолишь себе у Бога на то силу и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа.

1844

XVI
СОВЕТЫ
(Письмо к ИЦ.....ву)

Уча других, также учишься¹. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжелые страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой никогда у меня не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне поч-

ти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим, я ничуть не умней никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованней меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог, нас умудряющий! и чем же умудрящий? — тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупницы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупниц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими братьям нашим: Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда: всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может быть общего, обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдоострым! Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм — тоже не дурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основание эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.

1846

XVII
ПРОСВЕЩЕНИЕ
(Письмо к В. А. Ж.....му)

Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце!¹ В Москву ты приедешь, как в родную свою семью². Она предстанет тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Ни пустой шум суеты, ни гром экипажа не смутит тебя: объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и придет тебя навестить, старый ли друг твой или же дотоле незнакомый человек, он станет вперед просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, как почтить того, кто сделал целиком свое дело. Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на внимание благоговейное. Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя юноши старческие слова твои. Твоя «Одиссея» принесет много общего добра, это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того, что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к простоте. Но не меньше добра, если еще не больше, принесут те труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом³. В них окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед! Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, — наша

Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направление, всему законная и верная дорога. По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божью, попустившую временному разделению Церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой – волноваться вместе с людьми; одной – не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами Церкви, другой – меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные даже порочными несвятыми епископами; одной – на время как бы умереть для мира, другой – на время как бы овладеть всем миром; одной – подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у ног Самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применять и передавать их людям, другой же – подобно заботливой хозяйке Марфе⁴, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им еще не взвешенные всем разумом слова Господни. Благоую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам Господа, вынося упреки недалевидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее *мертвым* трупом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Нелегко применить Слово Христово к людям, и следовало ей прежде сильно проникнуться им самой. Зато в нашей Церкви сохранилось все,

что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышлением, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противуречий, которых не силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была еще достаточно для прежнего несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введением в себя множества постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее Восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн верховному Существованию. Друг, не смущайся ничем! Если бы седмерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства – все примирит и распутает наша Церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже наши светские люди, толкающиеся среди нас, начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье, – которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем осветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас⁵. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во

всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей⁶, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходявшее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!»⁷ Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвещения!» – и ничего к ним не прибавляется больше.

1846

XVIII ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХ ДУШ»

1

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупницу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого¹ есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопытном виде ей никак нельзя было являться

в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлось очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако же, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни, со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота, задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов²; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выберит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мной описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованиями. Мог бы то же сделать и купец и помещик – словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу Русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек, с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образование, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читателей

другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что – нечего таить греха – все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой Святого Духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, – без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званьем писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель – сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит Бог, говорю не даром!

1843

2

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так не попадут складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой

науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбрать меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбрать за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразием предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли Русской от моря до моря, обращается в лирическом воззвании к самой России, спрашивая у нее самой объяснения непонятого чувства, его объявшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто все, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выражение истинного чувства. Мне и доньше кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти выются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в зау-

ных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому – именно ему самому, – тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтора столетия протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустыни, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало без устали. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движении многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в применении, в умении приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороною, какой нужно и какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое сред-

ство загроздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку! Словом – везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть, наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвование; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия все бросил, и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту – пусть его грабит людей. Словом – у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон – служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастья других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбья своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желание добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Кто исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочинение, которое теперь вышло и которому название «Мертвые души», – произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей, простых, неголо-

воломных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требуют богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство, – вот отчего у меня исторгнулось то восклицанье, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность!

1843

3

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно, – именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души. А чтобы лучше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека³, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильнее от соединения с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои

вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтении всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душевного погребца на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращение от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим*. Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь Божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его бесконечного милосердия, — я бы повесился. По мере того как они стали откры-

ваться, чудным высшим внушением усиливалось во мне желание избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я видел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчевашь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в раз-

жалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошлое и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся *пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, – вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть долженствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появление может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи⁴ относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того дельные замечания на мою книгу, как свои, так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотеке вашем и во всей губернии, в подтверждение или в опровержение всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, – тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и

как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет: мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог весть из чего, мечаемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключение, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с

ними, и буду воевать, и изгоню их⁵, и мне в этом поможет Бог. И вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверяю себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтенье моего письма остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней взглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошмаров – я также не выдумал, кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

1843

4

Затем сожжен второй том «Мертвых душ»⁶, что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», – говорит апостол⁷. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Нелегко было

сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человеку. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; быва-

ет время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни*. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без Бога и не перенес бы. К изнуренью сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движенье, а делать движенье — нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, Кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, Кто выработал большую половину его в голове моей, Тот даст силу совершить и остальную — положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

1846

ХІХ
НУЖНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ
(Из письма к гр. А. П. Т.....му)

Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, которого никто не видал? Какими молитвами и усилиями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям¹ получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.

Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки – не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается

в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники² пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупницу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбите вы своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.

1844

XX
НУЖНО ПРОЕЗДИТЬСЯ ПО РОССИИ
(Из письма к гр. А. П. Т.....му)

Нет выше звания, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. «Раздай все имущество свое нищим и потом уже ступай в монастырь», —

так говорится всем туда идущим. У вас есть богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим, — стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны к вашему богатству и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело; но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто, — где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или выбросивши за окошко ненужную вещь — значит сделать добро своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой! или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвет¹, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять поприща мирного гражданина, и где же? — в самом сердце России. Не отговаривайтесь вашей неспособностью, — у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно. Бывши губернатором в двух совершенно противоположных губерниях², исполнивши это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, лучше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих, и узнали в истинном виде Россию. Но не это главное, и я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведенья ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мнению, значительнее всех прочих, — свойство, не хлопотав ничего, не работая самому, почти лентяя, уметь заставить всех других рабо-

тать. У вас все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих: «Отчего это? – вы отвечали: «Все от чиновников, попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать самому»; и когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая все им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об умении выбрать самих чиновников. Немудрено, что у вас чиновники рвались из всех сил, и один записался до того, что нажил чахотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела. Чего не сделает русский человек, если станет таким образом поступать с ним начальник! Это ваше свойство слишком теперь нужно, именно теперь, в это время себялюбья, когда всяк начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать все одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России... и грех вам, что вы даже не слышите этого! Грех был бы и мне, если б я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его от вас просят неимущие, а вы, как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас, – слава Богу, честолюбия вы не имеете и в ваших глазах никакая служба не низка, – но потому, что ваши способности, развившись, требуют уже для собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж? разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотрите хорошенько, и вы его отыщете. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет: это теперь недостаточно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь, за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожие ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного

разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мнение о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России. Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты. Сделайте ваше путешествие вот каким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мнения о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую дотоле вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь – так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам в многих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюдения над нынешними вещами. Разговорясь с человеком передовым из каждого сословия (с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы от него

узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Рас-торопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятие о мещанстве. От чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей, однако ж, не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не забывайте того, что теперь все между собою в ссоре, и всяк друг на друга лжет и клеветает беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро; от них узнаете остальное. И если вы таким образом проездите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить. А куда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятны в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний и свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно, как это теперь нужно России и какой в этом высокий подвиг! Спаситель оценил его едва ли не выше всех других: Он прямо называет миротворцев сынами Божиими³. А миротворцу у нас поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силою на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд⁴, истое произведение земли нашей, успевавший доселе бо-

лее всех других судов. В природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощения. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца. А примиренье, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не меньше важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их должностными быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененье. Это несправедливо. Грешит нынешний человек, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от призыва своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще неясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этому еще не услышал хорошо и сам проповедник; оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать: «Не крадьте, не роскошничайте,

не берите взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим» – теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того, что всякий скажет: «Да ведь это уже известно», – но еще оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет: «Красть я не краду: положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь – я ее не трону; я даже прогнал за воровство своего собственного человека; живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников⁵, мне не для кого копить, роскошью я доставляю даже пользу, хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам; взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье; молиться я молюсь, вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны; помогать – помогаю; ни один нищий не уходит от меня без медного гроша, ни от одного пожертвованья на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался». Словом, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью.

Но если поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит *косвенно*, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей; да вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимется у него волос и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуда появляться в одних и тех же платьях и, не нашивая ничего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклоном моды, – показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из-за этого взятку с своего же брата

чиновника (положим, этот чиновник был богат; но, чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее богатого, а тот, с своей стороны, насел на какого-нибудь заседателя или станowego пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих), да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье; увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом даже и деньги, выброшенная нищему, даже и те человеколюбивые заведения, которые заводят они в городах на счет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело, как есть. Он теперь подвигнется еще более чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его – от неведения, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподыми проповедник завесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает, у него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей; не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она затем, чтобы доставлять хлеб мастерам. Он и сам тогда смекнет, что разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу⁶, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своею неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и подлецами одною только своей неосмотрительностью, словом – если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди не будут глухи к словам его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках

нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но не одним священникам, вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведенья.

Жизнь нужно показать человеку, — жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних, — жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнание России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благотельный обмен сведений, как расторопный купец, забравши сведения в одном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!

1845

XXI
ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНАТОРША
(Письмо к А. О. С.....ой)

Я рад, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но в сторону наши здоровья; мы должны позабыть о них, так же, как и о себе. Итак, вы возвращаетесь вновь в ваш губернский город. Вы должны с новыми силами возлюбить его, — он вверен

вам, он должен быть вашим родным. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали – вот и все. Деятельность губернаторше предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает. Вы сами уже знаете, что дело не в суетах и в опрометчивых бросаниях на все. Перед вами два живые примера, которых вы сами называли. Предшественница ваша Ж***¹ завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе – и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьму в К***; княгиня же О***², бывшая до нее губернаторшей в том же вашем городе К***, не завела никаких заведений, ни приютов, не прошумела нигде дальше своего города, не имела даже никакого влияния на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственное и официальное, а между тем донныне никто в городе не может о ней вспомнить без слез, и всяк, начиная от купца до последнего бобыля, до сих пор еще повторяет: «Нет, не будет другой никогда княгини О***!» А кто это повторяет? Тот же самый город, для которого, вы полагаете, ничего невозможно сделать, – то же самое общество, которое вы считаете испорченным навеки. Итак, будто бы уж ничего нельзя сделать? Вы устали – вот и все! Устали оттого, что принялись слишком сгоряча, слишком понадеялись на собственные силы, женская прыть вас увлекла... Повторяю вам вновь то же самое, что прежде: ваше влияние сильно. Вы первое лицо в городе, с вас будут перенимать все до последней безделушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всем. Если вы только собственные ваши дела станете обделывать хорошо, то и сим уже сделаете влияние, потому что заставите других заняться получше собственными делами. Гоните роскошь (покамест нет других дел), уже и это благородное дело, оно же притом не требует ни суеты, ни издержек. Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем,

чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если вам только одно это удастся сделать, то вы уже более принесете существенной пользы, чем сама княгиня О***. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает. Друг мой, вы устали. Из ваших же прежних писем я вижу, что для начала вы уже успели сделать много хорошего (если бы не слишком торопились, вышло бы еще больше), о вас уже распространились слухи вне К***; кое-что из них дошло и до меня. Но вы еще очень поспешны, вы еще слишком увлекаетесь, вас еще слишком шевелит и сражает всякая неприятность и гадость. Друг мой, вспомните вновь мои слова, в справедливости которых, говорите, что сами убедились: глядеть на весь город, как лекарь глядит на лазарет. Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте самую себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему люди, тогда все пред вами изменится: вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы? Это вы сами себе сказали, потому что не нашли в руках у себя средства. Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? Разве я даром просил вас сообщить все, что ни есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе? Зачем же вы этого не сделали, тем более что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы; тем более что сами же приписываете мне некоторое не всем общее познание людей; тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог в вашем душевном деле более, чем кто-либо другой? Неужели вы думаете, что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вра-

зумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен Им.

До сих пор в ваших письмах вы мне давали только общие понятия о вашем городе, в чертах общих, которые могут принадлежать всякому губернскому городу; но и *общие* ваши не полны. Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то и это со времени моего отъезда уже изменилось. В самом составе управления губерний произошли значительные перемены: многие места и чиновники отошли от зависимости губернатора и поступили в ведомство и управление других министерств; завелись новые чиновники и места, словом – губерния и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде, а я просил вас ввести меня *совершенно* в ваше положение, не какое-либо *идеальное*, но *существенное*, чтобы я видел от мала до велика все, что вас окружает.

Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К*** узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь³. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете даже, с которого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке (NB причина неудач). Я вам помогу их привести в порядок, но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно, – не так, как привыкла исполнять ваш брат – страстная женщина, которая из десяти слов восемь пропустит и ответит только на два, затем что они пришлись ей как-нибудь по сердцу, но так, как наш брат – холодный, бесстрастный мужчина, или, лучше, как деловой, толковый чиновник, который, ничего не принимая особенно к своему сердцу, отвечает ровно на все пункты.

Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отечествам и фамилиям, всех чиновников до единого. Мне это нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им всем без исключения. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно

должность каждого. Все это вы должны узнать лично от них самих, а не кого-либо другого. Разговорившись со всяким, вы должны спросить его, в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все ее *предметы* и означил ее *пределы*. Это будет первый вопрос. Потом попросите его, чтобы он изъяснил вам, чем именно и сколько в этой должности, под условием нынешних обстоятельств, можно сделать добра. Это будет второй вопрос. Потом, что именно и сколько в этой же самой должности можно наделать зла. Это будет третий вопрос. Узнавши, отправляйтесь к себе в комнату и тот же час все это на бумагу для меня. Вы уже сим два дела сделаете разом: кроме того, что дадите мне средство впоследствии вам пригодиться, вы узнаете сами из собственных ответов чиновника, как понимает он свою должность, чего ему недостает, словом – своим ответом он обрисует самого себя. Он вас может даже навести на кое-что сделать теперь же... Но не в этом дело: до времени лучше не торопитесь; не делайте ничего даже и тогда, если бы вам показалось, что можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальной всмотреться; довольствуйтесь покамест тем, чтобы передать мне. Потом на той же страничке, насупротив того же места или на другом лоскутке бумаги – ваши собственные замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие, словом – все, что можно прибавить о нем со стороны.

Потом такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города. Вы же были так умны, что сделали им всем визиты и почти их всех узнали. Впрочем, узнали несовершенно, – я в этом уверен. Относительно женщин вы руководствуетесь первыми впечатлениями: которая вам не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранных и лучших. Друг мой! за это я вам сделаю упрек. Вы должны всех любить, особенно тех, в которых побольше дрянца, – по крайней мере, побольше узнать их, потому что от этого зависит многое и они могут иметь большое влияние на мужей. Не торопитесь, не спешите их наставлять, но просто только расспрашивайте; вы же имеете дар выспрашивать. Узнайте не только дела и за-

нения каждой, но даже образ мыслей, вкусы, что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно. По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет. Всякий совет, какой ему ни дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной, будет не легок, неудобноисполним. Словом, женщин – всех насквозь! чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе.

Сверх характеров и лиц обоего пола запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии, запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком его передали вам верные люди. Запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записыванье сделалось постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в дне. Представляйте себе в мыслях, систематически и во всей полноте, весь объем города, чтобы видеть вдруг, не пропустили ли вы мне чего-либо записать, чтобы я получил наконец полное понятие о вашем городе.

И если вы меня таким образом познакомите со всеми лицами, с их должностями, и как они ими понимаются, и, наконец, даже с характером самих событий, у вас случающихся, тогда я вам кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тех же пор ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось говорить такие слова, которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, – такой дать совет, чтобы вы в ту же минуту сказали: «Он легок, его можно привести в исполнение».

Вот, однако же, кое-что вперед, и то не для вас, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить внимание на то, чтобы советники губернского правления были честные люди. Это главное. Как только будут честны советники, тот же час будут честны капитан-исправники, заседатели, словом –

все станет честно. Надобно вам знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользает от всяких преследований, есть та, которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз; это идет иногда бесконечной лестницей. Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что с них берут и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место. Эта купля и продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас Бог и преследовать. Старайтесь только, чтобы сверху было все честно, снизу будет все честно само собою. До времени, пока не выросло зло, не преследуйте никого; лучше действуйте тем временем нравственно. Мысль ваша, что губернатор всегда имеет возможность сделать много зла и мало добра и что на поприще добра он обрезан в действиях, не совсем справедлива. Губернатор может всегда иметь влияние *нравственное*, даже очень большое, подобно как и вы можете иметь большое *нравственное* влияние, хотя и не имеете власти, установленной законом. Поверьте, что не сделай он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить, станут расспрашивать, за что и почему – и этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом власти и закона. Ваш поступок, то есть ваш и вашего супруга, с уездным судьей М***⁴ уезда, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность, – поверьте, сделал уже свое действие. Мне нравится при этом случае то, что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его, как вы говорите, не приняли бы в переднюю петербургских гостиниц. Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время – не вооружаться жестоко и жарко противу взяточников и дурных людей и не преследовать их, но стараться вместо того выставлять на вид всяческую честную черту, дружески, в виду всех, пожимать

руку прямого, честного человека. Поверьте, что как только будет узнано во всей губернии, что губернатор поступает действительно так, – все дворянство уже будет на его стороне. В дворянстве нашем есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, это – чувство благородства, – не того благородства, которым заражено дворянство других земель, то есть не благородства рождения или происхождения и не европейского *point d'honneur*⁵, но настоящего, нравственного благородства. Даже в таких губерниях и таких местах, где, если разобрать порознь иного дворянина, выйдет просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь действительно благородный подвиг – все вдруг поднимется точно каким-то электричеством, и люди, которые делают пакости, сделают вдруг благороднейшее дело. И потому всякий благородный поступок губернатора прежде всего найдет отклик в дворянстве. А это важно. Губернатор должен непременно иметь нравственное влияние на дворян, только сим одним он может подвигнуть их на поднятие невидных должностей и неприманчивых мест. А это нужно, потому что если дворянин из той же губернии возьмет какое-нибудь место с тем, чтобы показать, как надобно служить, то, каков бы он ни был сам, хотя и лентяй и многим нехорош, но исполнит так свое дело, как никогда не исполнит присланный чиновник, хотя бы он исхатался век в канцеляриях. Словом, ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, – все, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причине совершенных гадостей, предать иного чиновника суду, то в таком случае нужно, чтобы он предан был *с отрешением от дел*. Это очень важно. Ибо если он будет предан суду *без отрешения от дел*, то все служащее будет еще долго держать его сторону, он еще долго станет юлить и найдет средства так все запутать, что никогда не добратся до истины. Но как только он будет предан суду *с отрешением от дел*, он повесит вдруг нос, сделается никому не страшен, на него пойдут со всех сторон улики, все выйдет на чистую воду и вдруг узнается все дело. Но, друг, ради Хри-

ста, не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был: он несчастен. Он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки; он ваш. Не объясняйтесь с ним сами и не принимайте его, но следуйте за ним издали. Вы хорошо сделали, что выгнали надзирательницу при доме умалишенных за то, что она вздумала продавать булки, назначенные этим несчастным, – преступление вдвойне гадкое, принимая в соображение то, что сумасшедшие не могут даже и пожаловаться! а потому изгнание ее нужно было сделать публично и гласно. Но не бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрешенным; иногда с горя, с отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления⁶. Действуйте или через вашего духовника, или вообще через какого-нибудь умного священника, который бы навещал его и давал бы вам отчет о нем беспрестанно, а главное, старайтесь, чтобы он не оставался без какого-нибудь труда и дела. Не подобьтесь в этом случае *мертвому* закону, но *живому* Богу, Который всеми бичами несчастий поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни. Каков бы ни был преступник, но если земля его еще носит и гром Божий не поразил его – это значит, что он держится на свете для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помог ему и спас его. Если же вас, во время ли описаний, которые вы станете делать для меня, или же во время ваших собственных исследований всяких недугов, будут слишком поражать наши печальные стороны и возмутится ваше сердце, – в таком случае советую вам беседовать об этом почаще с архиереем⁷; он же, как видно из слов ваших, умный человек и добрый пастырь. Покажите ему весь лазарет ваш и обнаружьте пред ним все болезни больных ваших. Хотя бы даже он был не большой знаток в науке лечить, то и тогда вы должны ввести его непременно во все припадки, признаки и явления болезней. Старайтесь ему очертить все до последнего так живо, чтобы оно так и носилось у него перед глазами, чтобы город ваш, как живой, пребывал бы беспрестанно в мыслях его, как он должен беспрестанно пребывать в ваших мыслях, чтобы чрез то самое его мысли стремились сами собой на бес-

престанную о нем молитву. Поверьте, что от этого самая проповедь его с каждым воскресеньем будет направляться более и более к сердцам слушателей, и он сумеет потом выставить многое начистоту и, не указывая лично ни на кого, сумеет поставить каждого лицом к лицу к его собственной мерзости, так что сам хозяин плюнет на свое же добро. Обратите также внимание на городских священников, узнайте их всех непременно; от них зависит все, и дело улучшения нашего в их руках, а не в руках кого-либо другого. Не пренебрегайте никем из них, несмотря на простоту и невежество многих. Их скорей можно возвратить к своему долгу, чем кого-либо из нас. У нас, светских, есть гордость, честолюбие, самолюбие, самоуверенность в своем совершенстве, вследствие которых никто у нас не послушается слов и увещаний своего брата, как бы они справедливы ни были, наконец, самые развлечения... Духовный же, каков бы он ни был, он все-таки более или менее чувствует, что ему должно быть всех смиреннее и всех ниже; притом уже в самом ежедневно отправляемом им служении он слышит себе напоминание, словом — он ближе всех нас к возврату на путь свой, а возвратясь на него сам, может возвратить и всех нас. И потому, хотя бы вы встретили из них вовсе неспособного, не пренебрегайте, но поговорите с ним хорошенько. Расспросите у каждого, что такое его приход, чтобы он дал вам полное понятие, каковы у него в приходе люди и как он сам понимает и знает их. Не позабудьте, что я до сих пор не знаю, что такое в вашем городе мещанство и купечество; что они также начинают модничать и курить сигарки, это дело повсюдное; мне нужно взять из среды их *живьем* которого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы во всех подробностях. Итак, узнайте об них обо всех в подробности. Одну сторону этого дела вы узнаете от священников, другую от полицмейстера⁸, если потрудитесь с ним хорошенько разговаривать об этом предмете, третью сторону узнаете от них самих, если не побрезгуете разговаривать с которым-нибудь из них, хотя при выходе из церкви в воскресный день. Все забранные сведения послужат к тому, что очертят перед вами *примерный образ* мещанина и купца,

чем он должен быть на самом деле; в уроте вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод. Если ж вы это почувствуете, тогда призывайте священников и толкуйте с ними: вы им скажете именно то, что им нужно: самое существо всякого звания, то есть чем должно быть оно у нас, и карикатуру на это звание, то есть чем оно стало вследствие злоупотребления нашего. Больше не прибавляйте ничего. Он будет сам наведен на ум, если только станет исправлять свою собственную жизнь. Священникам нашим особенно нужна беседа с такими уже готовыми людьми, которые умели бы в немногих, но ярких и метких чертах очертить им пределы и обязанности всякого звания и должности. Часто, единственно из-за этого, иной из них не знает, как ему быть с прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету. Войдите также в его собственное положение, помогите его жене и детям, если приход у него беден. Кто поглубей и позадористей, погрозите тому *архиерею*; но вообще старайтесь лучше действовать нравственно. Напоминайте им, что обязанность их слишком страшна, что ответ они дадут больше, чем кто-нибудь из людей всякого другого звания, что теперь и Синод, и сам государь обращают особенное внимание на жизнь священника, что всем готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже все до единого в государстве частные люди начинают замечать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности... Объявляйте им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа. Словом, не пренебрегайте никак городскими священниками. С помощью их губернаторша может произвести много нравственного влияния на купечество, мещанство и всякое простое сословие, обитающее в городе, так много влияния, как даже вы представить теперь себе не можете. Я назову вам только немного из того, что она может сделать, и укажу на средства, как она может это сделать: во-первых... но я вспомнил, что я совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество: слова мои могут при-

тись не совсем кстати, лучше не произносить их вовсе; скажу вам только то, что вы изумитесь потом, когда увидите, сколько на этом поприще предстоит вам таких подвигов, от которых в несколько раз больше пользы, чем от приютов и всяких благотворительных заведений, которые не только не сопряжены ни с какими пожертвованиями и трудами, но обратятся в удовольствие, в отдохновение и развлечение духа.

Старайтесь всех избранных и лучших в городе подвигнуть также на деятельность общественную: всякий из них может сделать много почти подобного вам. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как их можно подстрекнуть; есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает, по которым можно так ударить, что он весь встрепенется. Вы мне уже назвали некоторых в вашем городе как людей умных и благородных; я уверен, что их отыщется даже и более. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на неприятные замашки, грубость, черствость, неловкость обращения, ни даже на фанфаронство, шелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности. Мы все в последнее время обзавелись чем-то заносчиво-неприятным в обращении, но при всем том в глубине душ наших пребывает более чем когда-либо добрых чувств, несмотря на то, что мы загромодили их всяким хламом и даже просто заплевали их сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить с ними языком самой души, если только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, – ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самую на все чистое,

подвигнет своего мужа на исполнение честное долга и, швырнувши далеко в сторону свои тряпки, всех поворотит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича. Вас поллюбят, и поллюбят сильно, да нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу; но до того времени вы всех их любите до единого, никак невзирая на то, если бы кто-нибудь вас и не любил...

Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящиеся кстати ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болен. А у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям, и никогда не назову я никакую болезнь неизлечимой по тех пор, пока не ощупаю ее моей собственной рукою. Итак, рассмотрите же вновь, ради меня, весь город. Опишите все и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов: в чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла. Поступите как прилежная ученица: сделайте для этого тетрадку и не забывайте быть в ваших объяснениях со мной как можно обстоятельней, не позабывайте, что я глуп, решительно глуп, по тех пор, пока не введут меня в самое подробнейшее познание. Лучше воображайте, что перед вами стоит ребенок или такой невежда, которому до последней безделушки нужно все истолковывать; тогда только письмо ваше будет так, как следует. Я не знаю, отчего вы меня почитаете каким-то всезнайкой. Что мне случилось вам кой-что предсказать и предсказанное сбылось, — это произошло единственно оттого, что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность эдак угадать! Стоит только попристальнее взглянуться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего. Он или соврет, или

скажет загадку. Я вас, между прочим, еще побраню за следующие ваши строки, которые здесь выставляю вам перед глазами: *«Грустно и даже горестно видеть вблизи⁹ состояние России, но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждой и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердного Бога»*. В руках милосердного Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. Оттого Бог и ума нам не дает; оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому светлomu будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем. Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость! Для меня мерзости не в дикуинку: я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом; передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблаговел еще более перед Провиденьем. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобил Он меня, хотя отчасти, узнать мерзости как мои собственные, так и бедных моих братьев. И если есть во мне какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так и то оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если мне удалось оказать помощь душевную некоторым близким моему сердцу,

а в том числе и вам, так это оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если я приобрел наконец любовь к людям не мечтательную, но существенную, так это все же наконец от того же самого, что всматривался я побольше во всякие мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей и особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из *чистеньких* горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремленьями куда-то, считая себя чрез это лучшими других. Помните же все это и, помолясь, примитесь снова за свои дела бодрей и свежей, чем когда-либо прежде. Перечтите раз пять, шесть мое письмо, именно из-за того, что в нем все разбросано и нет строгого логического порядка, чему, впрочем, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все в вас, вопросы мои сделались бы вашими вопросами и желанье мое вашим желаньем, чтобы всякое слово и буква преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким именно образом, как я хочу.

1846

XXII
РУССКОЙ ПОМЕЩИК
(Письмо к Б. Н. Б.....му)

Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком; прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки. Что они исчезнули, это правда; что виноваты тому сами помещики, это также правда; но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, — плюнь ты на этикие слова: сказать их может только тот, кто далее своего носа ничего не видит. Русского ли человека, который так уме-

ет быть благодарным за всякое добро, какому его ни научишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности все то, что теперь тебе скажу, то к концу же года увидишь, что я прав. Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе так хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога¹. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб², и прочти им тут же это в Святом Писании, чтобы они это видели. Скажи им всю правду: что с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим, ибо знаешь, да и они знают, что, заленившись, мужик на все способен – сделается и вор и пьяница, погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им ни скажешь, подкрепи тут же словами Святого Писания; покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божьей, а не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет, ему не

нужно много слов. Объяви им всю правду: что душа человека дороже всего на свете и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать уличенному в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Бога, а не перед своим лицом; покажи ему, чем он грешит против Бога, а не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей. Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божьим; попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат, среди их же, зажил собакой и губит ни про что свою душу; докажи им, что дадут за то все ответ Богу. Устрой так, чтобы на всех легла ответственность и чтобы все, что ни окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Собери силу влияния, а с нею и ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не затем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию, что пьяница не может учить пьяницу и что это их долг. Негодяям же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое же уважение, как бы старосте, приказчику, попу или даже самому тебе; чтобы, еще завидевши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и все бы ему давало дорогу; а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех; скажи ему: «Ах ты невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум; не наведет на разум – собакой пропадешь». А примерных мужиков призвавши к себе и, если они старики, то посадивши их перед собою, потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добру других, исполняя таким образом именно то, что повелел нам Бог. Так поступи только в течение одного года, и увидишь сам, как все пойдет на лад; даже и хозяйство от этого делается лучше. О главном только позаботься, прочее все приползет само собою.

Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится»³. В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек – синонимы. И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро⁴.

Но вот, однако же, тебе совет и в хозяйстве. Только раскуси его хорошенько, и не будешь в накладе. Два человека уже благодарят меня; один из них тебе знакомый К**. Собственно о том, какими отраслями хозяйства следует заниматься и как заниматься, я тебе не скажу. Это знаешь ты лучше меня; при том и деревня твоя мне не известна так, как моя собственная ладонь. А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшение. Но я тебе дам совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и работах, что покамест нужнее всего прочего. Припомни отношения прежних помещиков-хозяинов к своим мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покосов и уборки хлеба – был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоём дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удалца и укоряя тут же ленивца. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы, воспрямлюй таким же образом и еще большим пиршеством окончание работ, в сопровождение торжественного и благодарственного молебна. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенько словом; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в

запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словом – назови всем, чем только не хочет быть русский человек. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И, где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Поддай и от себя силы словами: «Прихватим-ка разом, ребята, все вместе!» Возьми сам в руки топор или косу; это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов⁵, медицинских муционов и вялых прогулок.

Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет как убитый, богатырским сном. Ты и сам будешь делать то же, когда станешь почаще наведываться на работы. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки. Если в ком истинно уже зародится охота к грамоте, и притом вовсе не затем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но затем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий закон человеку, – тогда другое дело. Воспитай его как сына и на него одного употреби все, что употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему, ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых.

Кстати о священнике. Ты напрасно хлопочешь о его перемене и затеваешь просить архиерея, чтобы он дал тебе более знающего и опытного. Такого священника он тебе не даст, потому что такой священник повсюду нужен. Выбрось даже из

головы, чтобы мог отыскаться священник, вполне отвечающий твоему идеалу. Никакая семинария и никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания, образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником, ты же понял так хорошо обязанности сельского священника. Если священник дурен, то этому почти всегда виноваты сами помещики. Они наместо того, чтобы пригреть его у себя в доме как родного, поселить в нем желание беседы лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросят его среди мужиков, молодого и неопытного, когда он еще и не знает, что такое мужик, поставят его в такое положение, что он еще должен потворствовать и угождать им, наместо того, чтобы уже с самого начала иметь над ними некоторую власть, и после этого вопиют, что у них священники дурные, что они приобрели мужицкие ухватки и ничем не отличаются от простых мужиков. Да я спрашиваю: кто не огрубеет даже из приготовленных и воспитанных? А ты сделай вот как. Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякий день. Читай с ним вместе духовные книги: тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего. А самое главное, — бери с собой священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. Тут он увидит ясно, что такое помещик, что такое мужик и каковы должны быть их отношения между собою. А между тем и к нему будет больше уваженья со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобой об руку. Сделай так, чтобы он не нуждался в доме своем, чтобы был обеспечен относительно собственного своего хозяйства и через то имел бы возможность быть с тобой беспрестанно. Поверь, что он так наконец привыкнет к тебе, что ему будет скучно без тебя. А привыкнувши к тебе, он от тебя нечувствительно наберется познания вещей, и познания человека, и много всякого добра, потому что в тебе, слава Богу, всего этого довольно, и ты умеешь так ясно и хорошо выражаться, что всяк невольно усвоит себе не только твои мысли, но даже и образ их выраженья, и самые слова твои.

Что же до проповеди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебе скажу вот что: я скорей того мнения, что священнику, не вполне наставленному в своем деле и не ознакомленному с людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповеди. Подумал ли ты о том, какое трудное дело сказать умную проповедь и особенно мужикам? Нет, лучше немного потерпи, по крайней мере до тех пор, пока и священник побольше осмотрится, да и ты также. А до того времени посоветую тебе то, что одному уже посоветовал и что, кажется, ему пошло уже впрок. Возьми святых отцов и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоуст, имея дело с народом-невежею, принявшим только наружное христианство, но в сердцах оставшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к нашему мужику, и он поймет. Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником, и притом с карандашом в руке, чтобы отмечать тут же все такие места, а таких мест у Златоуста десятками во всей проповеди. И эти самые места пусть он скажет народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чем меньше, тем лучше. Но нужно, чтобы перед тем, как произносить их народу, священник прочитал их несколько раз с тобою вместе, затем, чтобы уметь их произнести ему не только с одушевлением, но таким убедительным голосом, как бы он хлопотал о какой-нибудь собственной выгоде своей, от которой зависит благополучие его жизни. Увидишь, что это будет действительнее, нежели его собственная проповедь. Народу нужно мало говорить, но метко, — не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать знаменитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У К** священник не говорит никакой проповеди, но, зная насквозь всех мужиков, поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет из них всякого, что он как из бани выходит из церкви. З** послал к нему нарочно исповедовать 30 человек рабочих с

своей фабрики, пьяниц и мошенников первейшего разбора, а сам стал на паперти церковной, чтобы посмотреть им в лица в то время как они будут выходить из церкви: все вышли красивые, как раки. А кажется, немного и держал их на исповеди; по четыре, по пяти человек исповедовал вдруг. И после того, по сказанию самого З**, в продолжение двух месяцев не показывался ни один из них в кабаке, так что окружные целовальники не могли приложить ума, отчего это случилось.

Но довольно. Поработай усердно только год, а там дело уже само собой пойдет работаться так, что не нужно будет тебе и рук прилагать. Разбогатеешь ты как Крез⁶, в противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков. Ты им докажешь делом, а не словом, что они врут и что если только помещик взглянул глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезнули навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями – связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее. И ты, не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в званье помещика, какой не сослужит иной великочиновный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, – это дело не бездельное и служба истинно законная и великая.

1846

XXIII
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ ИВАНОВ
(Письмо к гр. Матв. Ю. В.....му)

Пишу к вам об Иванове. Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает, – явление

небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник, – говорю *буквально* – не умер с голоду, – и до сих пор ни слуху ни духу из Петербурга. Ради Христа, разберите, что это все значит. Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и все профессора нашей Академии художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтоб ему не даны были средства на окончание. Это ложь, я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они бы с ним поделились братски своими собственными деньгами, а не то чтобы внушать другим такое жестокое дело. Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы. Он молит о нищенском содержании, о том содержании, которое дается только начинающему работать ученику, а не о том, которое следует ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, которого не затевал доселе никто. И этого нищенского содержания, о котором все стараются и хлопочут, не может он допроситься, несмотря на хлопоты всех. Воля ваша, я вижу во всем этом волю Провиденья, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать.

Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все: «Как! восемь лет сидел над картиной, и до сих пор картина нет конца!» Но теперь этот упрек затихнул, когда увидели, что и капля времени у художника не пропала даром, что одних этюдов, приготовленных им для картины своей, наберется на целый зал и может составить отдельную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картин Брюллова и Бруни¹), требо-

вала слишком много времени для работы, особенно при тех малых денежных средствах, которые не давали ему возможности иметь несколько моделей вдруг, и притом таких, каких бы он хотел. Словом – теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы. Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую сокровенную причину медленности. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, – явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этою картиной совершилось воспитанье собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначенью. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников² даже прежних богомольно-художественных веков, а именно – первое появление Христа народу. Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои различные телесные движенья, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства: на одних – уже полная вера; на других – еще сомненье; третьи уже колеблются; четвертые понурили главы в сокрушение и покаянье; есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда все движется такими различными движеньями, показывается вдали Тот Самый, во имя Которого уже совершилось Крещение, – и

здесь настоящая минута картины. Предтеча взят именно в тот миг, когда, указавши на Спасителя перстом, произносит: «Се Агнец, вземляй грехи мира!»³ И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслию к Тому, на Которого указал пророк. Сверх прежних, не успевших сбежать с лиц, впечатлений, пробегают по всем лицам новые впечатления. Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: «От Назарета пророк не приходит»⁴. А Он, в *небесном спокойствии* и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже приближается к людям.

Безделица – изобразить на лицах весь этот ход *обращения человека ко Христу*! Есть люди, которые уверены, что великому художнику все доступно. Земля, море, человек, лягушка, драка и пирушка людей, игра в карты и моление Богу, словом, все может достаться ему легко, будь только он талантливый художник да поучись в академии. Художник может изобразить только то, что он *почувствовал* и о чем в голове его составила уже полная идея; иначе картина будет мертвая, академическая картина. Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся материальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Все, что ни относится до гармонического размещенья цветов, одежды человека и до обдуманной ее наброски на тело, изучено в такой степени, что всякая складка привлекает внимание знатока. Наконец, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотрит исторический живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов

для этого просиживал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом – сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, – представить в лицах весь ход человеческого обращения ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображением? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображение. Иванов напрягал воображение, елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движения душевные, оставался в церквях следить за молитвой человека – и видел, что все бессильно и недостаточно и не утверждает в его душе полной идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевных и виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращения, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить Им же внушенную мысль; а в это время упрекали его в медленности и торопили его! Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянув на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли серьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину. Сострадательнейшие из них говорили: «Сам же виноват; пусть бы большая картина шла своим чередом, а в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода», – говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его, по воле Бога, обратился в его

душевное дело, уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилуй. Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова. Вы скажете: «Да зачем же он не изложил всего этого на бумаге? Зачем не описал ясно своего действительного положения? тогда бы ему вдруг были высланы деньги». Да, как бы не так. Попробуй кто-нибудь из вас, еще не доказавший сил, еще не умеющий самому себе высказать себя, объясниться с людьми, стоящими на других поприщах, которые не могут, весьма естественно, даже постигнуть, что может существовать в искусстве его высшая степень, выше той, на которой оно стоит в нынешнем модном веке! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дело, которое вас потом изумит, но которого вам не могу теперь рассказать, потому что многое покуда и мне самому еще не совсем понятно, а вы, во все то время, как я буду сидеть над работой, ждите терпеливо и давайте мне деньги на содержание»? Тогда, пожалуй, явятся много таких охотников, которые заговорят таким же образом – да им разве безумец даст деньги. Положим даже, что Иванов мог бы в это неясное время выразиться ясно и сказать так: «Мне внушена кем-то свыше меня преследующая мысль – изобразить кистью обращение человека ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сделать, не обратившись истинно сам. А потому ждите, покуда во мне самом не произойдет это обращение, и давайте до того времени мне деньги на мое содержание и на мою работу». Да ему тогда в один голос закричим мы все: «Что ты, брат, за нескладицу городишь? за дураков, что ли, нас принял? Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а картина сама по себе. Что нам ждать твоего обращения! Ты должен быть и без того христианин; ведь вот мы же все истинные христиане». Вот что мы скажем все Иванову, и каждый из нас почти прав. Не будь этих же самых тяжелых

его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силою заставили его обратиться жарче других к Богу и дали ему способность к Нему прибегать и жить в Нем так, как не живет в Нем нынешний светский художник, и выплакать слезами те чувства, которых он силился добыть прежде одними размышленьями, — не изобразить бы ему никогда того, что начинает он уже изображать теперь на полотне, и он действительно бы обманул и себя и других, несмотря на все желание не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состоянья душевного, когда, по воле Бога, начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам. Мои сочиненья тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитаньем. В продолжение более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа производилась во мне и собственно для меня. А существовал я дотолы, — не позабудьте, — единственно доходами с моих сочинений. Все почти знали, что я нуждался, но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большие деньги; а я не в силах был произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совета одного неразумного человека, вздумал было заставить себя насильно написать кое-какие статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства, я марал и раздирал страницы, и после двух, трех месяцев таковой пытки так расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель, а присоединившиеся к тому недуги нервические и, наконец, недуги от неумения изъяснить никому в свете своего положения до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Один раз, в прибавление ко всему этому, я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже давно тому. Спасен я был государем⁵. Нежданно ко мне

пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движение милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг. Мне было приятно в эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще и мысль, — если удостоит меня Бог сделаться, точно, человеком близким для многих людей и достойным, точно, любви всех тех, которых люблю, — сказать им: «Не забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь». Вот каковы бывают положения. В прибавление скажу вам, что в это же самое время я должен был слышать обвиненья в эгоизме: многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах⁶, которые они затевали, по их мнению, для блага общего. Слова мои, что я не могу писать и не должен работать ни для каких журналов и альманахов, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вел в чужих краях, приписана была сибаритскому желанию наслаждаться красотою Италии. Я не мог даже изъяснить никому из самых близких моих друзей, что, кроме нездоровья, мне нужно было временное отдаление от них самих, затем именно, чтобы не попасть в фальшивые отношения с ними и не нанести им же неприятностей, — я даже этого не мог объяснить. Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я увидел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевелинуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты

переходного состояния душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку; нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.

То же самое и в деле Иванова; если бы случилось, что он умер от бедности и недостатка средств; вдруг бы все до единого исполнилось негодования противу тех, которые допустили это, пошли бы обвинения в бесчувственности и зависти к нему других художников. Иной драматический поэт составил бы из этого чувствительную драму, которою бы растрогал слушателей и подвигнул бы гневом противу врагов его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не был бы истинно виновен в его смерти. Один только человек был бы бесчестен и виноват, и этот человек был бы – я: я испробовал почти то же состояние, испробовал его на собственном теле, и не объяснил этого другим! И вот почему я теперь пишу к вам. Устройте же это дело; не то – грех будет на вашей собственной душе. С моей души я уже снял его этим самым письмом; теперь он повиснул на вас. Сделайте так, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, но еще сверх того единовременная награда, именно за то самое, что он работал долго над своей картиной и не хотел в это время ничего работать постороннего, как ни заставляли его другие люди и как ни заставляла его собственная нужда. Не скупитесь! деньги все вознаграждаются. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явления еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. Будет окончена картина – беднейший двор в Европе заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь плотят за вновь находимые картины прежних великих мастеров, и таким картинам не бывает цена меньше ста или двухсот тысяч. Устройте так, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь к искусству, чтобы

это послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть все и при высоком и нежном образовании душевном, при большой чувствительности ко всему вынести все колкие поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его сумасшедшим и распустить этот слух таким образом, чтобы он собственными своими ушами, на всяком шагу, мог его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художников молодых и выступающих на поприще художества, чтобы не думали они о том, как заводить галстучки да сертучки да делать долги для поддержания какого-то веса в обществе; чтобы знали вперед, что подкрепление и помощь со стороны правительства ожидают только тех, которые уже не помышляют о сертучках да о пирушках с товарищами, но отдались своему делу, как монахи монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишком велика, чтобы невольно почесали у себя в затылке все другие. Не бойтесь, эту сумму он не возьмет себе; может быть, из нее и копейки не возьмет для себя, — эта сумма будет вся употреблена на вспомоществование истинным труженикам искусства, которых знает художник лучше, нежели какой-нибудь чиновник, и распоряженья по этому делу будут произведены лучшие чиновнических. За чиновником мало ли что может водиться: у него может случиться и жена-модница, и приятели-едоки, которых нужно угощать обедом; чиновник заведет и штат и блеск; станет даже утверждать, что для поддержания чести русской нации нужно задать пыль иностранцам, и потребует на это деньги. Но тот, кто сам подвизался на том поприще, которому потом должен помочь, кто слышал вопль потребности и нужды истинной, а не поддельной, кто терпел сам и видел, как терпят другие,

и соскорбел им, и делился последней рубашкой с неимущим тружеником в то время, когда и самому нечего было есть и не во что одеться, как делал это Иванов, тот – другое дело. Тому можно смело поверить миллион и спать спокойно, – не пропадет даром копейка из этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите многим как моим, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприщах, и все-таки не нужно допустить, чтобы они умерли с голоду. Если случится, что один, отделившись от всех других, займется крепче всех своим делом, хотя бы даже и своим собственным, но если он скажет, что это, по-видимому, собственное его дело будет нужно для всех, считайте его как бы на службе и выдавайте насущное прокормление. А чтобы удостовериться, нет ли здесь какого обмана, потому что под таким видом может пробраться ленивый и ничего не делающий человек, следите за его собственной жизнью; его собственная жизнь скажет все. Если он так же, как Иванов, плюнул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и, отогнавши от себя мысль не только об удовольствиях и пирушках, но даже мысль завестись когда-либо женою и семейством или каким-либо хозяйством, ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно, – тогда нечего долго рассуждать, а нужно дать ему средства работать, незачем также торопить и подталкивать его – оставьте его в покое: подтолкнет его Бог без вас; ваше дело только смотреть за тем, чтобы он не умер с голода. Не давайте ему большого содержания; дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира.

1846

XXIV
ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНА ДЛЯ МУЖА
В ПРОСТОМ ДОМАШНЕМ БЫТУ, ПРИ
НЫНЕШНЕМ ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ В РОССИИ

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорей способна очнуться и двинуться. Положенье вас обоих, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мне, не только не блаженно, но даже хуже положения тех, которые считают себя в горе и несчастьи. У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управления собою. Никто из вас не господин себе. В вас нет характера, признавая характером *крепость воли*. Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно затем, чтобы найти в жене себе возбуждение на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж затем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам: положенье ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде; все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один сделается вашим характером, и станете вы оба – олицетворенное бессилие. Молите Бога о *крепости*. У Бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись»¹, – говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру, и во все часы дня: «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!» – и действуйте в продолжение целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках². Не ведите об-

щей расходной книги, но с самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче – деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче – экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом – все, что относится к этой части. В четвертой куче – деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче – деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча – Богу, то есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастья, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрагиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите,

молите, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному; чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались обрезать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшение для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не *comme il faut*³, но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикетки, даже и не сама мадам Сихлер⁴. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь

Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время; положите всему неизменные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился именно затем, чтобы, освободя себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепление его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом⁵ и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказывать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой. Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа⁶. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять все, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога непрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в

раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия⁷, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да*, но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит! Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель⁸.

1846

XXV
СЕЛЬСКИЙ СУД И РАСПРАВА
(Из письма к М.)

Никак не пренебрегайте расправой и судом. Не поручайте этого дела управителю и никому в деревне: эта часть важнее самого хозяйства. Судите сами. Этим одним вы укрепите разорванную связь помещика с крестьянами. Суд – Божье дело, и я не знаю, что может быть этого выше. Недаром так чествуется в народе тот, кто умеет произносить правый суд. К вам повалит не только ваша деревня, но и все окружные мужики из других селений, как только узнают, что вы умеете давать расправу. Не пренебрегайте никем из приходящих и судите всех, хотя бы даже в незначительной ссоре или драке. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдет в добро его душе, и чего бы вы никак не нашлись сказать в другое время, не найдя, к чему прицепиться.

Судите всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого. Старайтесь, чтоб это было при свидетелях, чтобы тут стояли и другие мужики, чтобы все видели ясно как день, чем один

прав и чем другой виноват. Другой же суд сделайте Божеский. И на нем осудите и правого и виноватого. Выведите ясно первому, как он сам был тому виной, что другой его обидел, а второму – как он вдвойне виноват и пред Богом, и пред людьми; одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос¹, а другого попрекните, зачем он обидел Самого Христа в своем брате²; а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами собой и пришли на суд³, и возьмите слово с обоих исповедаться непременно попу на исповеди во всем. Если такой суд вы будете произносить, вы будете сами полномочны, как Бог, потому что Бог вас уполномочит. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямых и правых познаний. Если бы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а устной расправой дел между простыми людьми, они бы лучше узнали дух земли, свойство народа и вообще душу человека, и не заимствовали бы потом из чужеземных земель нам неприличных нововведений. Правосудие у нас могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю, то есть – оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городского солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

1845

XXVI
СТРАХИ И УЖАСЫ РОССИИ
(Письмо к графинеой)

На ваше длинное письмо, которое вы писали с таким страхом, которое просили сей же час истребить после прочтения и на которое отвечать просили не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте, я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило меня к тому то, что, может быть, мое письмо послужит в то же время ответом и прочим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами. То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела; а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю (а знаю я, без всякого сомнения, далеко еще не все), тогда бы, точно, помutilись ваши мысли и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Но куды бежать? вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит: все, не выключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных, сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью, и, слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «Все пада-

ют духом, как бы в ожидание чего-то неизбежного», равно как и слова: «Каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни: *sauve qui reut*»¹, действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасения. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом Небесном государстве, главой которого уже Сам Христос, а потому и все свои отношения ко власти ли, высшей над нами, к людям ли, равным и кружащимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, а не кто другой. И уж нечего теперь глядеть на какие-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься от кого бы то ни было, нашему честолюбию или самолюбию, — нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же. Помутится ум его, омрачатся мысли, и не найдет он угла, куды сокрыться от своих страхов. Вспомните *Египетские тьмы*, которые с такой силой передал царь Соломон², когда Господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего,

все чувства, все побуждения, все силы в них погибли, кроме одного страха. И произошло это только в тех, которых наказал Господь. Другие в то же время не видали никаких ужасов; для них был день и свет.

Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобно. Лучше молитесь и просите Бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христа. Дело идет теперь не на шутку. Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог ведь, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других; может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев, способный всякую минуту овладеть вашею душою, на радость врагу Христа; может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние³ — жалкая дочь безверья в Бога; может быть, там еще таится тщеславное желанье гоняться за тем, что блесит и пользуется известностью светской; может быть, там обитает гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить в ничто все добро, какое имеет. Бог ведь, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас. Что же касается до страхов и ужасов в России, то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, представивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образуются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках. Я бы вам назвал многих таких, которые составят когда-нибудь красоту земли Русской и принесут ей вековечное добро; но к чести вашего пола я должен сказать, что женщин еще больше.

Целое жемчужное ожерелье их хранит моя память. Все они, начиная с ваших дочерей⁴, которые так живо напомнили мне, во сколько раз родство по душе выше всякого кровного родства (дай Бог, чтобы наилучшая сестра с такой готовностью исполняла просьбу своего брата, с какой они исполняли малейшее желание души моей), — начиная с них и продолжая теми, о которых вы едва слышали, и оканчивая теми, о которых вы, может быть, и не услышите никогда, но которые совершеннее всех тех, о коих вы слышали. Все они не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себе явление необыкновенное. Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров. И только в нынешнее время трудных обстоятельств, расслабления и развращения общего, повсеместной ничтожности общества, могли они образоваться. Но всех перевысила одна, которую я и в глаза не знаю и о которой до меня достигнул только один темный рассказ. Не думал я, чтобы могло существовать на земле подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дело, и произвести его так, как умела сделать она; сделать так, чтобы отклонить от себя и подозрение в ее собственном участии и разложить весь подвиг на других таким образом, что эти другие стали хвастаться ею сделанным делом, как бы собственным своим, в полной уверенности, что они его сделали. Так умно обдумать уже вперед, как убежать от известности, тогда как само дело уже необходимо должно бы кричать о себе и обнаружить ее! Успеть в этом и остаться в неизвестности! Нет, подобной мудрости еще не встречал я ни в ком из нашей братии мужеска пола. И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами: они то же перед этой истиной, что бред воображения перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью! И где же явилось такое чудо? В незаметном захолустье России, в то время именно, когда стало трудней изворачиваться человеку, когда запутались обстоятельства всех и наступили пугающие вас страхи и ужасы России.

XXVII
БЛИЗОРУКОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция; элементы французские – не русские. Ты позабыл даже своеобразие каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаковым образом и на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадает на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его¹. Мысли твои о финансах основаны на чтении иностранных книг да на английских журналах, а потому суть мертвые мысли. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиться, а захламошить его чужеземным навозом. Не вижу и в проектах твоих участия Божьего; не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его; не вижу я на твоей мысли освящения небесного. Нет, не сделаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намереньями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на свои силы да на ум свой. Ты горд, и чем же горд? хоть бы уже своим умом; нет, ты загромоздил сором свой ум, действительно замечательный и великий, и сделал его чужестранцем самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом и выдаешь его за свой. Смотри за собой; ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди, и будешь человеком государственным, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тем строже

теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. О настоящем велит нам заботиться Бог². Кто омрачается боязнью от будущего, от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего. А ты горд: ты и теперь уже ничего не хочешь видеть; ты самоуверен: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может; ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенили желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России. И до сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди; но те хоть какое-нибудь оставили после себя дело *прочное*, а мы производим кучи дел, и все, как пыль, сметаются они с земли вместе с нами. Ты горд – говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заранее. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих только пор следует серьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы ровно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои; они на тебя не действуют. Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясенье, чтобы встретила тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, что-

бы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!³

1844

XXVIII ЗАНИМАЮЩЕМУ ВАЖНОЕ МЕСТО

Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем. Придется ли вам ехать к черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место генерал-губернатора¹ – вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которых вы говорите, то все теперь затруднительно; все стало сложно; везде много работы. Чем больше вхожу умом в существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность теперь труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, все стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, – все легко². Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже честолюбие, вас не увлекают вперед уже ни чины, ни награды, вы уже вовсе не думаете о том, чтобы порисоваться перед Европой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состоянья душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России. Чего ж вам бояться? Я даже не понимаю, как может чего-либо бояться тот, кто уже постигнул, что нужно действовать повсюду как христианин. Он на всяком месте мудрец, везде знатель дела. Поедете вы на Кавказ – вы прежде всего пристально осмотритесь. Христианское смирение вас не допустит ни к какой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать.

Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив о его собственных схватках с неприятелем, зная, что только из знания подробностей выводится знание *целого*. Вы заставите всех рассказать себе порознь все подвиги бранной и бивачной жизни; расспросите и цициановцев, и ермоловцев³, и офицеров нынешней эпохи и, когда заберете все, что нужно, обнимете все частности, соедините все отдельные цифры и подведете им итог – выйдет в итоге сам собою план полководцу: не нужно будет и головы ломать, ясно будет как день все, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы и тогда не будете торопиться; христианское смирение вас к тому не допустит. Не объявляя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы он поступил на вашем месте; вы не оставите не услышанным ни одного мнения, ни даже совета от кого бы то ни было, хотя бы от стоящего на низком месте, зная, что иногда Бог может внушить и простому человекау умное мнение. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в прениях и спорах дело, но поодиночке выслушаете каждого, кто бы ни захотел с вами поговорить. Словом, вы всех выслушаете, но сделаете так, как повелит вам ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелит вам разумно, потому что всех выслушает. Вы будете даже не в состоянии сделать неразумное дело, потому что неразумные дела делаются от гордости и уверенности в себе. Но христианское смирение спасет вас повсюду и отгонит то самоослепление, которое находит на многих даже очень умных людей, которые, узнавши только одну половину дела, уже думают, что узнали все, и летят опрометью действовать; тогда как, увы, даже и в том деле, которое, по-видимому, насквозь нам известно, может скрываться целая половина неизвестная. Нет, Бог от вас отгонит это грубое ослепление. Чего ж вам бояться Кавказа?

Придется ли вам по-прежнему быть генерал-губернатором где-нибудь внутри России – та же христианская мудрость осенит вас. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри России – гораздо труднее, чем когда-либо прежде, и, может быть, труднее, чем на Кавказе. Много злоупотреблений;

завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, не подозревая ничего, то закружится голова у наиумнейшего человека. Но вы и тут поступите умно. Христианское смирение заставит вас и здесь не предаваться покуда выводам гордого ума, но терпеливо обсмотреться. Зная, под каким множеством посторонних влияний находится теперь всяк человек и как все они имеют соприкосновение с отправлением его должности, вы прежде любопытствуете узнать каждого из занимающих главные должности, узнать его со всех сторон с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионов. Нет, вы расспросите его самого. Он вам скажет все и с вами разговорится, потому что в лице вашем есть уже что-то такое, что внушает к вам доверчивость во всех; с помощью этого вы узнаете то, чего не узнает никогда крикун-нахрап, или так называемый распекатель. Вы не будете преследовать за несправедливость никого отдельно по тех пор, покуда не выступит перед вами ясно вся цепь, необходимым звеном которой есть вами замеченный чиновник. Вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват более других. Есть безвинно-виноватые и виновно-невинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожней и осмотрительней, чем когда-либо прежде. Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь вы. Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет

себе места, куда ему укрыться от самого же себя. Дело вдруг примет другой оборот, если покажешь человеку, чем он виноват перед самим собой, а не перед другим. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода, даже и в плуте. Ваше нынешнее генерал-губернаторство будет совсем другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежнего управления, которое, однако ж, принесло большую пользу, несмотря на то что вы его осуждаете и порочите, состояла, по моему мнению, в том, что вы не вполне верно определили себе существо этой должности. Вы приняли генерал-губернатора за постоянного начальника и хозяйственного правителя губернии, которого благотворительное влияние может быть ощутительно в губернии только от долговременного его пребывания на одном месте. Один государственный наш муж определил так эту должность: «Генерал-губернатор есть министр внутренних дел, остановившийся на дороге». Определенные это точнее и более согласно с тем, чего требует само правительство от этой должности. Должность эта более временная, чем постоянная. Генерал-губернатор посылается затем, чтобы ускорить биение государственного пульса внутри губернии, привести в быстрейшее движение все правительственное производство в губернских местах как связанных между собою, так и независимых, состоящих под управлением отдельных министерств, дать толчок всему, своим полномочием облегчить затруднительность многих мест в их сношениях с отдаленными министерствами, не внося никаких новых элементов и ничего не заводя от себя, все заставить обращаться быстрее в законах и границах, уже указанных и определенных. Власть эту, состоящую в верховном блюдении над тем, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который сам должен изворачиваться в хозяйстве и принять на себя все мелочные расходы; вы захватили себе часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генерал-губернатору, и этим самым уменьшили значение высшее вашей должности. Вы сочли ваше место пожизненным. Вы захотели вашими соб-

ственными учреждениями оставить по себе памятник вашего пребывания. Стремление прекрасное, но если бы вы уже тогда были тем, чем вы есть теперь, то есть более христианином, вы позаботились бы о другом памятнике. Устроить дороги, мосты и всякие сообщения, и устроить их так умно, как устроили вы, есть дело истинно нужное; но уладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремление к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нужнейшее. Пушкин, когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного, обыкновенно выражался пословицей: «Было бы корыто, а свиньи будут». Мосты, дороги и все эти сообщения суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собой прибегут. В Европе о них не много хлопотали, но как только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели их без всякого пособия правительств, и теперь развилось их такое множество, что стали уже сурьезно задавать друг другу вопросы: «Зачем эта скорость сообщений? что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги⁴, что приобрело оно во всех родах своего развития и что пользы в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком да увеличилось число праздношатающихся по всему миру?» В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует. «О сем помыслите прежде, — сказал Спаситель, — а сия вся вам приложится»⁵. Ваши подвиги в отношении нравственном были гораздо значительней. Кого я ни слышал, все отзываются с уважением о ваших распоряженьях; все говорят, что вы искоренили многие неправды, что постановили многих истинно благородных и прекрасных чиновников. Я это узнал, хотя вы по скромности мне не сказали. Но вы бы сделали еще более, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время и что не о том следовало заботиться, чтобы только при вас все было

хорошо, но именно о том, чтобы после вас все было хорошо. Вы должны были беспрестанно представлять себе, что после вас примет эту должность слабый и бездарный последователь, который не только не поддержит вами заведенного порядка, но еще испортит его, а потому уже с самого начала вы должны были помышлять о том, чтобы действовать так прочно и закалить сделанное так крепко, чтобы после вас никто уже не мог своротить того, что раз направлено. Вы должны были рубить зло в корне, а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движению всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина, так, чтобы незачем было над ней стоять и надсмотрщику, и сим только воздвигнули бы памятник вечный вашего генерал-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсем поступите иначе, а потому не пренебрегайте никак этой должностью, если бы она была вам вновь предложена. Никогда не был еще так важен и нужен генерал-губернатор, как в нынешнее время. Я вам назову уже несколько подвигов таких, которых никто теперь не может сделать, кроме генерал-губернатора.

Во-первых, ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познание его должности. Это дело очень не бездельное. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб прочим; прямые места обессилели и ослабели от введения множества косвенных и временных. В последнее время стали особенно чувствоваться полномочие и развязанные руки там, где нужно *препятствовать* в действиях, и связанные руки там, где нужно *споспешествовать* им. Возвратить всякую должность в ее законный круг тем более стало теперь трудно, что сами чиновники сбились в своих понятиях о ней. Получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы. От этого многие благонамеренные и даже весьма умные начальники хотели уже

уничтожить или вовсе преобразовать те должности, которые следовало только просто возвратить себе. Дело это может произвести только высший и полномочный начальник, если он не пренебрежет вникнуть сам в существо всякой должности. Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Рассмотрим нарочно организм губернии. Первое лицо – губернатор. Он является в нескольких видах своей власти.

Он начальник и правитель полномочный во всем, что ни относится до хозяйственного и полицейского управления по всей губернии, как городского, разумея здесь все, что ни относится ко внутреннему устройству городов и содержанию среди их порядка, так и земского, включая сюда все, что производится в землях вне городов: взъем податей, распределение повинностей, устройство дорог, постройки и поправки всех родов. В первом случае в его полном и непосредственном распоряжении губернский полицмейстер и городничие всех городов⁶; во втором случае – капитан-исправники и земские заседатели, которые относятся к нему посредством губернского правления⁷, образованного в духе коллегиальных правлений с советниками, а не в виде собственной канцелярии с секретарем, так что ответственность во всяком важном злоупотреблении, если бы его сделал губернатор, падает непременно на советников и чиновников, и при всем полномочье своем он уже ограничен.

Он более нежели присутственный член и свидетель деловых производств в других присутственных местах⁸, от него все не зависящих и состоящих под управлением своих особых министерств; если только эти места совершают какие-нибудь сделки и условия, относительно ли отдачи внаймы или на откупы казенных земель, озер или вообще относительно всяких продаж, закупок и совершения на них условий, он должен быть уже там. Никакие казенные подряды и сделки не могут быть произведены без его личного присутствия. Таким образом места, вовсе от него не зависящие относительно внутренних своих производств, уже обрезаны его присутствием на всех путях к злоупотреблениям.

Весь снаряд юстиции, как-то: все суды уездные, так и высшая их инстанция – гражданская палата⁹, находясь в полном заведовании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора, но на всех путях несправедливостей они ограничены на всяком шагу губернатором, который во время объездов своих по всей губернии, случающихся не менее двух раз в год, имеет право, заглянувши в суд, потребовать на выдержку два-три решенные дела, проверить их у себя на дому, вместе с секретарем своим, и таким образом держать в страхе их всех. Словом, не имея никакого начальства над местами, зависящими от других начальников, он имеет право остановить злоупотребление повсюду, где бы оно ни было.

На дворян он может иметь только влияние нравственное. В обряде же должностных его соприкосновений с дворянством устроено так, чтобы он имел с ними дело в лице их же представителя, губернского предводителя¹⁰, и таким образом посредством его одного поладить с ними со всеми; здесь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься с ними со всеми и ладить, принимая в соображение то различие воспитаний, нравов, образов мыслей и то бесчисленное разнообразие характеров, какого не представляет ни одно из европейских дворянств и которое заключилось только в нашем. Звание предводителя дворянства, будучи почти равное чином званию губернатора, имея право на первое место после него в губернии, уже сим самым указывает им на необходимость быть друзьями, иначе им обоим было бы неловко в отношениях светских и непростошно на поприще должностном. Самые места капитан-исправника и заседателей, которые, будучи избираемы дворянством, находятся потом в полной зависимости от губернатора, указывают на необходимость взаимного подкрепления одного в другом. Грозя именем губернатора, предводитель может много сделать там, где не хватит собственной власти; равно как и губернатор посредством предводителя может успешней и сильнее действовать на дворян.

Всюду могут случиться просмотры, неправда может проскользнуть везде; за самим губернатором могут завестись грехи. И это предусмотрено: есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора. Это прокурор, который есть око закона, без которого ни одна бумага не может выйти из губернии. Ни одно производство дел по всем губернским местам не может его миновать. Оно не решено, если он не пометил на всех его страницах свое слово: читал. Никому не подлежит он сам во всей губернии; никому не дает отчета, кроме министра юстиции, с которым одним только в прямом сношении, и всегда может подать протест на все, что ни вершится в губернии.

Словом – все полно, и везде слышна законодательная мудрость, как в установлении самих властей, так и в соприкосновениях их между собою. Я уже и не говорю о тех учреждениях, где еще далее простерлось правительственное предвиденье, упомяну только о Совестьном суде, подобного которому не знаю в других государствах¹¹. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познания душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновение закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; все, что может решить одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон; все, что должно быть кончено любовью и миролюбиво в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, – есть уже его предмет. И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дворянства, которое избирает обыкновенно на это место того, на кого падает всеобщий голос, как на человеколюбивого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никаких наград и что нет здесь никакой мирской приманки человеку. Одно время мне очень желалось занять это место. Как много можно решить на нем запутаннейших спорных дел. Сами тяжущиеся мимо собственных выгод своих перенесут дело в Совестьный суд, как только пронесется слух, что судья судит истинно по совести и уже прославился мудростью своего Божеского суда. Кому из нас не хочется примириться?

Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям. Я даже и придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чиновник; всякое новое лицо тут не у места, всякое нововведение – ненужная вставка. А между тем нашлись же такие правители губерний, как вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разных чиновников, по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов, разложили и раздробили действия всякой должности и сбили чиновников так, что они потеряли и последние понятия о пределах точных своего поприща. Хорошо, что вы этого не сделали, потому что вы и тогда понимали это дело лучше других. Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения – самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком; на следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограничения, и тогда ограниченьям не будет конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всем другим системам отрицательным, могла образоваться только в государствах колониальных¹², которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны¹³ и духа народного, где неизвестны ни самоотвержение, ни благородство, а только одни корыстные личные выгоды. Нужно оказать доверье к благородству человека, а без того не будет вовсе благородства. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, и приставляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, чтобы он видел сам,

чем он подлец перед своей должностью; словом — чтобы он был введен в значенье высшей своей должности. А это может сделать только один генерал-губернатор, если он не пренебрежет постигнуть сам всякую должность в ее истинном существе и мысленно прослужить сам на месте того чиновника, которого бы захотел он ввести в полное значенье его должности. Вследствие этого все ваши сношения с чиновниками будут самоличны, без всяких секретарей и мертвой бумажной переписки, а от этого и ваша собственная канцелярия сделается маленькой и вовсе не будет походить на те чудовищные, огромные канцелярии, какие заводят другие начальники. Эти же громадные канцелярии, как вы уже сами знаете, наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою вдруг новую инстанцию и, стало быть, новые затруднения, дадут нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого незримому, в виде простого секретаря, но через руки которого станут проходить все дела; у секретарей явится какая-нибудь любовница, из-за ней — интриги, ссоры, а с ними вместе и сам черт путаницы, который как тут во всякое время; и дело кончится тем, что, сверх нанесения новых беспорядков и сложностей пожретя несметное количество казенных сумм. Храни вас Бог от заведения канцелярии. Иначе и не объясняйтесь ни с кем, как лично. Как можно пренебречь разговором с человеком, особенно, если разговор близок к нему самому, к исполнению его обязанностей и долга, стало быть, близок к самой душе его? Как можно променять такой разговор на пустые газетные толки и мертвые речи о всяком вранье, набираемом из лживых европейских журналов? О долге человека можно так разговориться, что обоим покажется, как бы они беседуют с ангелами в присутствии Самого Бога. Говорите же так с вашим подчиненным, то есть — наставительно и питательно его душе! Не забудьте, что на русском языке, — я разумею не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится

по всей Русской земле, несмотря на чужеземствование наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык – на этом языке начальник называется отцом. Будьте же с ними, как отец с детьми, а отец с детьми не заводит бумажных переписок и напрямик изъясняется с каждым из них. Так поступая, введете вы каждого в познание его должности и сделаете истинно великий подвиг.

А вот вам другой подвиг, которого никто не может совершить, кроме генерал-губернатора, и который в нынешнее время есть дело даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство в познание истинное своего звания. Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. Многие едва-едва только догадываются, другие пребывают в совершенном об этом невежестве, третьи берут себе в идеалы дворянства государств иностранных, четвертые даже не задают себе вопроса: нужно ли на свете дворянство? Если же и находятся между ними такие, которые имеют об этом какие-нибудь светлые мысли, то мысли эти еще не раздаются в массах, и масса их не слышит. В последнее время, кроме всего прочего, восстановился даже в дворянстве некоторый дух недоверия к правительству. Во время последних европейских возмущений и всякого рода смут некоторые из злоумышленников старались особенно распушить в нашем дворянстве слух, будто правительство ищет обессилить их значение и довести их до ничтожества. Беглецы, выходцы за границу и всякого рода недоброжелатели России писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранных газет с тем именно умыслом, чтобы заронить вражду между дворянством и правительством: с одной стороны, показать государю России партию каких-то фантастических бояр, оспаривающих самую власть, а с другой стороны, показать дворянству, что государь не благоволит к ним и вообще не любит этого звания. То есть им хотелось заварить в России какую-то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самим сыграть какую-нибудь

роль. Расчет был на то, что взаимное опасенье и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести действительно разрыв самых священнейших связей. Но, слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов¹⁴ могли возмутить целое государство. Проект так и остался фантастическим проектом, тем, однако ж, не менее искры недоумений и взаимного недоверья заронились, и я знаю многих дворян, которые уверены сурьезно, что государь не любит их сословия, и от этого даже тоскуют. Дело это им разрешите и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинно русском значении, — в том прекрасном виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не может быть иначе. Ему ли не любить цвет своего народа? а у нас дворянство есть цвет нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословие. Но следует, чтобы дворянство само себя показало и определило значенье своего звания, потому что в том виде, в каком оно теперь, при этом отсутствии единства в общем духе, при этом разнообразье мыслей, воспитания, жизни, привычек, при таком сбивчивом образе понятий о самих себе, никому не могут они подать действительной и полной идеи о том, что такое в нашей земле дворянство. А оттого никакой мудрец не может теперь знать, как ему с ними быть. Следует, чтобы дворянство само вступило в свое истинное и полное значение. И здесь-то вы можете истинно им всем помочь, потому что, будучи сами русский дворянин и уже понимая высшее значенье нашего дворянства, вы лучше всех будете в силах это объяснить. Не нужно для этого много слов, потому что начала всего того, что вы им объявите, у них в груди. Дворянство наше представляет явление, точно, необыкновенное. Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях¹⁵. Началось оно не насильственным приходом, в качестве вассалов с войсками, всегдашних оспоривателей верховной власти и вечных угнетателей сословия низшего; началось оно у нас личными выслугами перед царем, народом и всей землей, — выслугами, основанными на достоинствах нрав-

ственных, а не на силе. В нашем дворянстве нет гордости какими-нибудь преимуществами своего сословия, как в других землях; нет спеси немецкого дворянства; никто не хвастается у нас родом или древностью происхождения, хотя наши дворяне всех древнее, — хвастаются разве только какие-нибудь англومان, которые заразились этим на время, во время проезда через Англию; может быть, только изредка похвастается кто-нибудь своим предком, и то таким, который сослужил истинно верную службу царю и земле своей; а похвастайся он плохим предком, на него выпустят тут же эпиграмму его же собратья дворяне. Одним только позволяет себе всяк из них похвастаться — это чувством своего нравственного благородства, которое уже Бог им вложил в грудь. И если дойдет дело до того, чтобы выказать каким-нибудь поступком это внутреннее высшее благородство, у нас ни один не отстанет от другого, хотя бы сам был всех хуже и весь зажил в грязи и саже. Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей Русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа. И если вы только им скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете перед ними то поприще, которое теперь всем предстоит им на передачу и увековеченье имен своих в потомстве; если ясно покажете им, что вся Русская земля взывает о помощи и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства следует показать тем, которые уже от рождения получили благородство, то увидите, что сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки. Не скрывайте от них дела, объясните им всю правду. Зачем заставлять их узнавать то же самое из лживых иностранных газет и давать сорванцам кружить им головы? Обнаружьте им всю правду начисто. Скажите им, что Россия, точно, несчастна, что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой¹⁶; что болит сердце у государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может

знать. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помрачения и всеобщего уклонения всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудья и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Когда вы это им скажете, да вслед за этим покажете, что теперь им всем предстоит сослужить истинно благородную и высокую службу царю, а именно: так же великодушно, как некогда становились в ряды противу неприятеля, так же великодушно стать теперь на неприманчивые места и должности, опозоренные низкими разночинцами, тогда увидите, как встрепенется наше дворянство. Отбою не будет от желающих вступить в службу и занять самые невидные места. И, отслуживши, не потребуют они себе за это ни наград, ни отличий, ни даже привилегий и преимуществ, довольные тем, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словом, только покажите им высоту их звания, и вы увидите, как благородна их природа. Вы можете указать им также то второе великое дело, которое они могут сделать, воспитавши вверенных им крестьян таким образом, чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России, начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшения. А потому вам следует склонить дворян, чтобы они рассмотрели попристальней истинно русские отношения помещика к крестьянам, а не те фальшивые и ложные, которые образовались во время их позорной беззаботности о своих собственных поместьях, преданных в руки наемников и управителей; чтобы позаботились о них истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих.

Сим только одним могут возвесть они это сословие в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас названья ни вольных, ни рабов, но называется християнами от имени Самого Христа. Все это может вполне объяснить дворянству генерал-губернатор, если о том помыслит заблаговременно и войдет сам в полное значенье нашего дворянства. И это будет вам второй великий подвиг.

А вот вам третий подвиг, которого тоже никто не может сделать, кроме генерал-губернатора. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений. Повсюду заметно одно замечательное явление, а именно: законы собственно гражданские выступили из пределов и ворвались в области, им не принадлежащие. С одной стороны, они вторгнулись в область, состоявшую долго под управлением народных обычаев; с другой стороны, они вторгнулись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением Церкви. Случилось это не насильственно: разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку и оттого только стали так сложны. Сами же по себе они вовсе не пространны, и если возвратится то, что законным образом должно принадлежать обычаям, и то, что должно поступить в вечное владение Церкви, тогда их может заключить только одна книга, которая обнимет одни крупные уклоненья от общественного порядка и отношения собственно государственные. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляуз произошло именно оттого, что европейские философы-законодатели стали заранее определять все возможные случаи уклонений, до малейших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевать он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь сме-

ло, увидя в каком-нибудь пункте постановлений возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владение другого. Он уже идет горой, как герой на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человеколюбивый производит теперь бесстыднейшим образом в виду всех жестокое дело и даже им хвастается, тогда как он устыдился бы и самой мысли о том, если бы служитель Церкви поставил их обоих лицом ко Христу, а не презренным выгодам личным и если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом — во всех тех делах, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком Церковь, а не гражданский закон. Но вот вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы гражданскому закону отдано было действительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаев, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать Церкви? Словом, как возратить все на свое место? В Европе сделать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможет в напрасных бореньях и ничего не успеет. В России есть возможность; в России может это нечувствительно совершиться — не какими-нибудь нововведениями, переворотами и реформами и даже не заседаниями, не комитетами, не прениями и не журнальными толками и болтовней; в России может этому дать начало всякий генерал-губернатор вверенной его управлению области, и как просто: не чем другим, как только собственной жизнью своей. Патриархальностью жизни своей и простым образом обращения со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту. Он может сильно подействовать на то, что отношения между собою как жителей городов, так и помещиков станут проще; а уничтожение этой сложности светских отношений, какая ныне,

уменьшит непременно ссоры и неудовольствия, которые возникли, как вихри, между обитателями городов. Так же, как на водворенье обычаев, может подействовать генерал-губернатор на законное водворенье Церкви в нынешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, – самими мерами, не принудительными и насильственными, но сильнейшими в несколько раз всяких насильственных. Об этом когда-нибудь мы с вами поговорим после, когда вы действительно возьмете должность, а до того времени скажу вам только вот что: если уже просто обычай сильнее всякого письменного закона, а между прочим, что такое обычай, если рассмотреть его строго? Иногда он просто не имеет никакого значения в нынешнем времени, установлен неизвестно зачем, пришел неизвестно откуда; не слышишь даже авторитета, его утвердившего; иногда он тянется еще от времен язычества, противоположен христианству и всем элементам новой жизни. И если при всем этом обычай так силен, что его трудно бывает изгладить в продолжение многих лет? Что же, если введется такой обычай, который основан на разуме, единоустно и единодушно будет признан всеми и освещен свыше Самим Христом и Его Церковью? Такой обычай пойдет во веки веков, и не сокрушит его никакая сила, какие бы ни наступили всемирные колебания. Но этот предмет велик; о нем нужно поговорить умно, а я для того глуп. После, когда Бог поможет и вразумит меня, может быть, что-нибудь скажу. Работ вам будет много. Крепитесь и берите твердо должность генерал-губернатора, если только она будет вам предложена. Вы исполните ее теперь именно так, как следует, и сообразно тому, чего требует само правительство, то есть – бодрящею, освежающею силою пронестись по всей области, всех воздвигнуть, всех освежить, всех настроить, всему дать толчок и обратиться потом в другую губернию затем, чтобы и там произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имела бы смысла, потому что внутренний организм губернии достаточен и полон, и нет надобности в другом управителе, кроме гражданского

губернатора. С Богом же, и не бойтесь ничего! Но, хотя бы пришлось вам занять и другую должность, руководствуйтесь теми же правилами: не забывайте нигде, что вы на время. Устраивайте так дела, чтобы они не только при вас шли хорошо, но и после вас; чтобы не мог ничего сдвинуть ваш преемник, но вступил бы невольно уже сам в утвержденные вами границы, держась вами данного законного направления. Христос научит вас, как закалять дело накрепко и навеки. Будьте отец истинный всем вам подвластным чиновникам и каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братски руку всякому освобождаться от его собственных пороков и недостатков. Имейте на всех влияние, но влияние единственно затем, чтобы заставить каждого иметь на самого себя влияние. Смотрите также, чтобы никто не опирался чересчур и слишком на вас, как на собственный посох свой, подобно тому как римско-католические дамы опираются на духовников своих, без воли которых они не смеют переступить в другую комнату и ждут для этого исповеди; но чтобы помнил человек, что нянька дается ему на время, а не навсегда, и что как только отступает от него наставник, тут-то ему и следует блюсти за собой осторожней, чем когда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотреть за ним, и содержа, как святыню, в своей памяти всякое слово, ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при расставанье с вами, если бы случилось вам оставлять вашу должность, но чтобы бодрей и свежей еще глядел каждый вперед, а потому ко дню расставанья копите все, что хотели бы вы сказать в наставление каждому: в этот день будут для них святы все слова ваши, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примут и после вас исполнят. Для меня наилучшая минута – время расставанья с моими друзьями; всяк из друзей моих, кто теперь ни расстается со мной, расстается весело и светлеет духом. Вам подтвердят это все те, которые расставались со мною в последнее время. Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие: никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после

моей смерти, чем при жизни моей. Еще скажу вам слово насчет любви и всеобщего расположения к себе, за которыми многие так гоняются. Заискивать любви к себе есть незаконное дело и не должно занимать человека. Смотрите на то – любите ли вы других, а не на то – любят ли вас другие¹⁷. Кто требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко не христианин. О, как я благодарен за то, что еще от детства вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излияний, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприятного. Как это верно, что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу.

1845

XXIX
ЧЕЙ УДЕЛ НА ЗЕМЛЕ ВЫШЕ
(Из письма к У.....му)

Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получают равное воздаяние – как тот, которому вверен был один талант¹ и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов, и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно оттого, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божия, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему

честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравниются, потому что все внидут в радость Господина своего и будут пребывать *равно* в Боге. Конечно, Сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца Моего обители многи суть»²; но как помыслию об этих обителях, как помыслию о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен Небесного Царства и вопрошен: «Какую из них хочешь?» Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем!» Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги!

1845

XXX НАПУТСТВИЕ

На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после. Все вижу и слышу: страдания твои велики. С такою нежною душою терпеть такие грубые обвинения; с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикосновение в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьей лапой ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпеть небесные звуки, – расстроить и разорвать их, видеть, в прибавленье ко всему этому, ежедневно происходящие мерзости и терпеть презрение от презренных! Все это тяжело, знаю. Твои страдания телесные тяжелы не меньше: твои нервные недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которою ты одержим теперь, – все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу ска-

зять тебе, как только: тяжело! Но вот тебе утешенье. Это еще начало; оскорблений тебе будет еще больше: предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками, подлецами всех сортов и бесстыднейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую оклеветанного, и не содрогнуться, – не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнуснейшие, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. (О, лучше бы вовсе не родиться этим людям: весь сонм небесных сил содрогнется от ужаса загробного наказания, их ждущего, от которого никто уже их не избавит.) Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсе. На твоём почти беззащитном поприще и незаметной должности все может случиться. Твои нервные припадки и недуги будут также еще сильнее, тоска будет убийственной и печали будут сокрушительней. Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем *там*¹. А потому ни на миг мы не должны забывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где жарче битва. Всех нас озирает свыше небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, и выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сражение с небольшим горем и мелкими бедами не много получишь славы. Не велика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит; нет, с черкесом, которого все дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его – вот слава, которою можно похвалиться! Вперед же, прекрасный мой воин! С Богом, добрый товарищ! С Богом, прекрасный друг мой!

1846

XXXI
В ЧЕМ ЖЕ НАКОНЕЦ СУЩЕСТВО РУССКОЙ
ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображения, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей¹ – слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину², по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас улаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, – которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр,

гораздо больше разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, — гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремнию, но покамест им не ударишь, не издаст камень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробуждения, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощью европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, — и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского звания своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем изменении государственных форм, — был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумления, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищение от света, внесенного в Россию, изумление от великого поприща, ей предстоящего, и благодар-

ность царям, того виновникам. С этих пор стремление к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду³. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму⁴, какие у них на ту пору случились, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, — и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о Божием величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид⁵
Священными шумит струнами,
И Бога полными устами
Исайя⁶ восхищен гремит.

Всю Русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуюсь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие стро-

фы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. Его поэзия – начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова⁷, не чуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали наместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремнию; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, – с битвами вознеслись полководцы, с учреждениями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, с академиями словесники и ученые – появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях,

как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самым воспитаньем, последний представляет совершенную противоположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлечением и делом отдохновения⁸, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные остатки орд, распаляющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете⁹, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновения, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знае-

мых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко копышется вдали. О Державине можно сказать, что он – певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы – орлы; словом – все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было – начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей Церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значение тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой Церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурей,

Встает в упор ее волнам:¹⁰
То скачет в твердь, то в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримо* очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подымается волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у

него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть как гостью ожидает,¹¹
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, — все скрипит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образования, как в умственном, так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управить себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сно-

видение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, выложенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему и, так же как щеголи Парижа, завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев¹² показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять умением вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста¹³ слышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть¹⁴, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»¹⁵:

Приютный дом мой под соломой,
По мне, ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, нищему знакомой,
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнем. Вдруг заметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитание, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явление странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествя, темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов¹⁶. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает в ней о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явлением. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт – Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме¹⁷, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев, – почти всё переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так загло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его, – переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взя-

то из Шиллера, другое из Уланда¹⁸, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и все – вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? – не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность – это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремление уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзирание ты предан¹⁹
Невидимых, бессмертных сил,
И легионам заповедан
Всех ангелов, чтоб цел ты был.

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, – лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнес-

ли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатление сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это – свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мнению, никто, кроме Жуковского, не мог так разять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце»²⁰, где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне»²¹ волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых, – тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его «Славянка» с видами Павловска²² – точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направления. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая за-

думчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина»²³, творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического создания есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения²⁴, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоенье всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, — подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самом идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже

и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения. Он слышал, выражаясь его же выражением, «стихов и мыслей сладострастье»²⁵. Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногослаголив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пыльные стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожделенный брег!²⁶
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на

подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака²⁷ – везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке – все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке²⁸, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей²⁹, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога, – его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого применения к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» – и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От этого сочинения его представляют явление изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они – отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они – полные поэмы, обдуманые, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух

просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего: чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика³⁰, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создавшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить Ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его? Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым наукообразным стремлением своим³¹ личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязания подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека!

Наместо его предстанет тот же чудный образ, на все откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его – полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? – это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья³²,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня – точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделывал так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам³³, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на все, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную

задачу – и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтении ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» – тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине³⁴, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта³⁵, – и удивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль³⁶ в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя – в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на все откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с

греком – грек, на Кавказе – вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его³⁷. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей – всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горохина»³⁸, «Царский арап»³⁹ и сделанный карандашом набросок большого романа – «Дубровский»⁴⁰. В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголо-

ски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния⁴¹. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас – и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг⁴², поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоня самый запах; Козлов⁴³, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский⁴⁴, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сде-

лать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских⁴⁵, А. Крылова⁴⁶, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик «Илиады» Гнедич, прелагатель псалмов Ф. Глинка⁴⁷, партизан-поэт Давыдов⁴⁸, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов⁴⁹, так рано от нас похищенный, и Хомяков⁵⁰, слава Богу, еще живущий для какого-то светлого будущего, куда еще ему самому неразоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже, – повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет мо-

лодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

Покровы прочь! Перед челом⁵¹
Протянем руки удалые
И – бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наяда!

Вот у него игра в свайку⁵², которую он назвал прямо русскою игрою. Юноши-молодцы стали в кружок:

Тяжкий гвоздь стойком и плотно⁵³
Бьет в кольцо – кольцо бренчит.
Вешний вечер беззаботно
И невидимо летит.

Всё, что вызывает в юноше отвагу, – море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как камень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, – выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой⁵⁴, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: «Стихотворенья Языкова»! их бы следовало называть просто: «хмель»! Человек с обыкновенными силами ни-

чего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живое помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову⁵⁵, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию⁵⁶: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, — предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель⁵⁷; но в хмеле слышна сила высшая,

заставляющая его подыматься кверху. У него студенческие пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье⁵⁸
Во славу чести и добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздалась скучанья среди немецких городов⁵⁹, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не заметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях в бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основание их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

У него, напротив, вот что говорит поэт:

Когда тебе на подвиг все готово⁶⁰,
В чем на земле небесный виден дар,
Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово –
Иди ты в мир, да слышит он поэта.

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержания последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее) – нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его – вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей, и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздается огнедышащее слово: изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это слышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни – на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях – и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью на-

сильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремление к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье «Землетрясение», которое, по мнению Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский⁶¹. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском – противоположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также соредоточенья и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть: каждое стихотворение его – пестрый фараон всего вместе⁶². Он не поэт по призванию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фонвизина»⁶³ обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни – словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь

князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами: слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелой участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть нам избавитель. На нем только, как говорит поэт,

Душа прямится, крепнет воля⁶⁴,
И наша собственная доля
Определяется видней.

В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеиваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шуму, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт – Крылов⁶⁵. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку, – и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум⁶⁶. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже

перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них все есть: издевка, насмешка, попрек – словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус⁶⁷, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится» или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она выше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов⁶⁸. Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!»⁶⁹ – даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размыслив того, что теперь всякая кража и пакость

его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом – всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на все подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами⁷⁰, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием:

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней мудро части:
Оружием – врагам она грозна,
А паруса – гражданские в ней власти.

Какая меткость определения! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых добродетельных, но недальнзорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело⁷¹, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы»⁷², и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

Людей с умом бояться
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне «Хор певчих»⁷³, которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе наместо мастеров дела людей Бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведения. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведению, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре – что в море, а в дураке – что в пресном молоке», – говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие замечки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд»⁷⁴ за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Сочинитель и разбойник»⁷⁵ за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?⁷⁶
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою, –

и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый⁷⁷,
За все труды, за весь потерянный покой
Ни славою, ни почестями не льстится
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.

Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел

сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все, начиная от изображения природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймашь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключение басни «Две бочки»:

Великий человек лишь виден на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии – поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отдалились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с умением пред чем-нибудь истинно

возблагововеть – свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение; у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого⁷⁸, – оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир⁷⁹ находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова⁸⁰, сатиру на литераторов Воейкова⁸¹ – «Дом сумасшедших» и талантливые пародии Михаила Дмитриева⁸², где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаниями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнание человека под условием взятой эпохи и века; в комедии – легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уважением; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна

поразила болезни от непросвещения, другая – от дурно понятого просвещения.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, не потрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубения, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, – так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина – другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине вместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой – несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, – полное притупление всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление – сделалось ему уже наслаждением. Словом – лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной

карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знанием души. Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек Русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества – выставляла болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного, – словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещением, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском *compte à faire*, не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребыванием в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим – тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще – тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дель-

цов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью — тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодование молодежи, неуважение к старости и заслугам и склонность к вольнодумству действительно у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумлению, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставлением ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не бояся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраниям, радующийся, как Бог весть какой находке, когда удастся ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в умение различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства

времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлёстова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошрое, с притязаньями на уважение от нового поколения, с требованиями почтения к себе от тех самых людей, которых сама презирует, готовая выбрать вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уважения, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина, – словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин – тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мнение, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы – дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди брожения новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоумение насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Сохраняние, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились,

видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношении к герою пьесы, но в отношении к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае – то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, – это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположением, нападал на злоупотребления одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа⁸³. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданы художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.

Со смертью Пушкина остановилось движение поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накапливается вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже

явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управление захотелось ему над собою признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий – завянуть и пропасть, – он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом *безочарование*. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету *очарование* и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход *разочарованье*, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и *безочарованью*, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами

от него отделаться⁸⁴. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворенье, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определенности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва» и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презрение, как Лермонтов. Незаметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолобно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду – излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни – готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначение, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в пору самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключение, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей Русской земли нашей. Имела ли она влияние на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которыми должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества – картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием – под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влиянием выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, – чего не случалось еще доселе ни с одним народом, – воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземновольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существовании среди его поэта. Словом – поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время выше общества; если же и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель

наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурой. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличения нет. Причиной первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенной всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительного человека. Сила негодования благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговееющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том идеале, в каком он должен быть, ни в той действительности, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она сокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не пришло еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организовать, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого повелена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается

выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не забывая о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, — если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему соорудиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общою по всей России и равно желанною всем, — то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместиť в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнания нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремлением произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носят и слышатся по всей Русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки⁸⁵ с тем именно, чтобы показать Европе с другой стороны Россию*, не мог скрыть изумления своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-

* Маркиз Кюстин.

библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство чуткости, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названия, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: название уха, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не стоит без дела; удача – всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: неполон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш истинно русский ум. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, – одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума – он у нас пользуется уважением всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта молодая удаль и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свой-

ство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай равняться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, – которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого – все позабыто, и вся Россия – один человек⁸⁶. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это – огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего тока, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук золотой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, – все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по Русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настраивает душу к слышанию чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспи-

тивалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному⁸⁷. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколение поэтов; нельзя служить и самому искусству, – как ни прекрасно это служение, – не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь – ни своеобразием ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, – христианским, высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии – возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомним они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышной выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово «поэзия» не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка – этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах,

умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм – рождение верховной трезвости ума, – который исходит от наших церковных песней и канонов⁸⁸ и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны – выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названия вещей – дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, – не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и

орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию – нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

XXXII СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, – он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся – эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это воскликанье «Христос Воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, это поцелуй, который только раздается у нас, – и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, – если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолубие кипит у

нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть – и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивление всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы – в своей истинной семье, у Него Самого в доме. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого

человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно восприздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, – он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не восприздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует восприздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреодолимое препятствие, имя ему – *гордость*. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пушу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми – неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, – в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого раз-

велось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего¹. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку восприздновать праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнееший первого, — гордость ума. Никогда еще не возростала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет название плута, подлеца; какое хочешь дай ему название, он снесет его — и только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения и даже идет назад, ког-

да не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие – и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, – дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча², нападает на сердце людей повсюду, уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке – уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспризнать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и

чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, – и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главного и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, – посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, – и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святыя обычаи Церкви, Небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, – то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу,

то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто неизвестно, зачем? Будто не видно, к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с Небес нам лестница³ и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелечет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носят по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носят так оче-

видно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого Воскресенья воспряднует, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, – доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые составляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с

болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспризднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспризднуется Светлое Воскресенье Христово!»

ДУХОВНАЯ ПРОЗА

<АВТОРСКАЯ ИСПОВЕДЬ>

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предмет толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем как указанием свыше – рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мнениями, осуждениями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге, тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, – словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, не-

смотря на то что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возомнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на внимание всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщение человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо *отчасти*, никак не может быть справедливо *вполне*. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке: прежде всего желание добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознание искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мнение о своих достоинствах; желание искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смирение и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и все, что таит внутри человек, вступило наружу; с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что ни есть в душе, просится на свет; ударило ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь¹.

Но к этому заключению, может быть более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влиянием страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе не приличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет², я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состояния. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей³, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неумение выражаться – принадлежности не вполне организовавшегося писателя – все это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскиали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противоположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничиженьем. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда

только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в суждениях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противоположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещения народного, — это показалось мне очень странно, тем более что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А откуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей Церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещение народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещение самого народа, полезней просвещение тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим внимания к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуж-

дающимся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу*. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики⁵, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значение поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствования человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустить из виду свои русские начала, то знания эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, вместо того чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знания можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что, прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе применение самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.

* На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред Того, пред Которым ни один человек не бывает прав⁴.

Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположении, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубеждение, прежде чем она явилась в свет, и всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубеждение, а самого читателя успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и притом не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно⁶. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблуждение, как и всякий человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью — это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, — исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным

произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к осуждению себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произведен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего – в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придирчивы сами. Благороден, по крайней мере, тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений, – запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня, чтобы увидел читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или в моей судьбе, так же как и во всем, следует признать участие Того, Кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с Которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объяснением хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта

странная история меня утомила сильно и мне нелегко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражнения в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самих ранних суждениях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так и мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадочки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры,

поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с годами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Дон-кишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.) На этот раз и я сам уже задумался серьезно, — тем более что стали приближаться такие годы, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где боль-

ше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращения: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой нейдет работа. Словом, чтобы по-

чувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменял множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, — нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и немудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сгорал действительно желаньем служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем чтобы вдали и в уединенье от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что неслучайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатались истинно русские, коренные свойства

наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, – словом, чтобы по прочтенье моего сочиненья предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, – также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидел, что нужно со смехом быть очень осторожным, – тем более, что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сто-

ронами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета⁷ и пустынноика, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображению: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, – словом, нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитание довольно плохое, а потому и немудрено, что мысль об ученье пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученье, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге

моих писем вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу; я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желанье своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем Сам Сын Божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный»⁸. Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничижение паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благодостный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякий раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить

на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякий раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения – и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнью, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Винават я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключением? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою⁹. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был – жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без внимания людьми, – и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился до тех пор, покада не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых

главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состояния моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желание сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными, практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякий должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его как следует, верно, и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры – первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне просто нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то

и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не *писал* портрета, в смысле простой копии. Я *создавал* портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем более вещей принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание. Мне нужно было знать гораздо больше сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображение – и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как я мог требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведением анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззвание ко всем читателям¹⁰ «Мертвых душ» – воззвание несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось под этим предлогом добыть частных записок, воспоминаний о тех

характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень, неподъемность на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтение «Мертвых душ» может расшевелить, особенно если и карандаш и бумага будут при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщей известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремление преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтение «Мертвых душ» наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время когда писаны были «Мертвые души», произошло некоторое обращение на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что он верным и живым изображеньем людей, характеров и случаев своего времени может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым гла-

зам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками¹¹. Привожу все это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъясняли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для тех, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображением, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отделимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частью избирали эпоху, от нас отделившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас от всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влечения к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоконастроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и

стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру. Притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряда других и стать на такое место, откуда бы я мог увидеть всю массу, а не людей только, возле меня стоящих, — как бы, отдалившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влечения и страсти к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле, тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, — ехать в чужие края единственно затем, чтобы, по выраженью его,

Под небом Африки моей¹²
Вздыхать о сумрачной России.

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влечение было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытьи моем в Петербург, как я сел уже на корабль¹³, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному.

Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, — точно как бы почувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что, прежде чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях¹⁴, и, несмотря на то что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях, — и точно, во все время пребывания моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет, не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорчения и, наконец, потребность большего уединения не заставили меня оставить Россию¹⁵.

Два раза я возвращался¹⁶ потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частию любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидеть людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотвержения, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философиче-

ским, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и сильнейшее значение, — движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, когда всяк рассказывал только то, что видел, слышал на своем веку, и разговор казался собраньем анекдотов, а не рассуждением. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом — во все пребыванье мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое: дух мой упал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье спрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжение недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству не много возьмешь, оста-

нутя в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и в деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал я так сильно потребности знать современное состояние нынешнего русского человека — тем более что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственной рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочинения крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным, будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассуждением и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дряг жизни, когда, держа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, — словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем вы-

думывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: «Зачем?» Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познание души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к Тому, Кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?

Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько

раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление, и едва только оправился от тяжелой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, чтобы она походила на дельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой счет, особенно после завещания, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам рассматривать ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души»¹⁷ и как уничтожал все, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращаю внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить себя, перо мое получило бы беглость, и страницы полились непринужденно одна за другою, – таково ли душевное состояние мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества: благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще, и вслед за тем – для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне

чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общеою. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту сторону, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требования от него слишком велики – и справедливо: для того чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишённые способности *творить*. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться не даром. Нужно, чтобы в создание его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней мере, определяют поэтов и вообще

писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все решил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества и как крепень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку, тогда он выступай на поприще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретною живостью, которая делает то, что избраженный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеется, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом наместо самых жарких рассуждений этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, — и двери сердец растворятся сами навстречу к принятию их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильнее такого писателя и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда

ему даже опасно выходить на поприще: его влияние может быть скорее вредно, чем полезно. Это строение себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличное от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явление, законный ход его необыкновенного организма, состояние временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница¹⁸, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильней изменение в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышление не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблуждение свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово – как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом.

Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле Того... помышляю я о своем собственном строении, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы, – что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильнее, чем в

рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы застряли крепко в голове, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, что все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений, а мои убеждения... Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми душами», не могу не возблагодарить за насланное мне внушение их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах». Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных «Мертвых душах» гораздо больше выражалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом – как честный человек, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны, по крайней мере, рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключения, а сам в то же время еще... должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе название Луганского козака¹⁹, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне не легко отказаться от писательства: одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долго-временно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслаждение *творить*. Но, повторяю вновь как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что, — скажу откровенно, — жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нет лишений, вослед которым нам не посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне, — как только способность писать меня оставила, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы то ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и

в тех, которые в нем покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека, — то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий; где я могу употребить с действительной пользой мое знание человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений и что больше нам нужен всякий такой человек, который бы, при некотором познании души и сердца и при некотором знании вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объяснением прекращать можно было много таких дел, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготавливал уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить создания поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равно значительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает, даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключение, проникнут точно любовью к России, — то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю пристань и твердая земля.

Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русский и кому дорога честь земли Русской,

должно также брать многие места и должности в государстве, с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила... С другой стороны, я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для...

Как ни бурно нынешнее время, как ни мнутся и ни волнуются вокруг умы, как ни возмущает тебя собственный ум твой, но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать и за который дашь ответ Небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда Один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что Он знает, что такое жизнь, когда этот Один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в Нем Его божественности, тогда следует поверить Ему на слово, даже и в таком случае, если бы Он был просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь.

Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших, тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе: нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность как на средство к достиженью не цели земной, но цели небесной, во спасенье своей души – увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как бы устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что, если хотя немного он из того исполнит, все

высшие его полюбят. Христианину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что, если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, все это отношение человека к человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности наишекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев, которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбляясь ничем, подавать первому руку на примиренье. Стоит поступать так в продолжение небольшого времени – и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себе, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред ним нищий имеет преимущество: он тоже при должности, он нищий, а потому и знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной.

Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства: что назначение человека – служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того,

что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному, и потому иметь в виду Его закон. Только так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей.

Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, соображаясь с своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратится мне способность писать, набрались бы у меня материалы. Одною из главных причин моего путешествия к Святым Местам было желание искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполнение должности, на вступление в жизнь у Самого Того, Кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что ни случилось в моей жизни; испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготавливал себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик по окончании своего ученья спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца перед тем, как предстоит ему поприще, – почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты? Странно, может быть, то, что я об этом сказал в печатной книге²⁰. Но я в то время только что оправился от тяжелой болезни. Я был слаб; я не думал, что буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолились обо мне те, которых вся жизнь стала одною молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой достигнул в глубину келий и стен затворников, в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней Тому, Кому мы все молимся. Знаю только то, что наимпрезреннейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас и его молитва будет всех ближе к Богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай²¹.

Как случилось, что я должен обо всем входить в объяснения с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что, когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими и никто не будет делать запроса: что такое сам автор? — хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочинения связаны тесно с делом моей души. Бог весть, может быть, и в этом была также воля Того, без воли Которого ничто не делается на свете; может быть, произошло это именно затем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, как удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно приобрести в обращениях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но когда выставишься перед лицо незнакомых людей, перед лицо всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякий поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки впопад и невпопад, ударят и с умыслом и невзначай по всем чувствительным струнам твоим, — тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать. Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнееешь больше чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю Бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь

зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, замышленная от искреннего желания принести пользу другим, книга моя принесла прежде всего пользу мне самому.

Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим, и особенно обществу в его нынешнем, современном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, как-то уже слишком стгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на суд перед всею Россиею, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями прежде, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписанье многому такого смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти.

Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей книге, если бы только выразился попроще и попримичнее. Учить общество в том смысле, какой некоторые мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам Церковь учить друга друга и беспрестанно, умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим собратьям, соученикам как равный им соученик; принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов Того же Учителя, у Которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется. Тут были письма, писанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не

думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет кричать: «Это мне не нужно!» – и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим Учителем. Я думал, что по прочтении книги будет мне сказано: «Благодарю тебя, брат», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поученье, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданиями своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк, кто уже глядит в собственную душу свою.

Что же касается до мнения, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключению, что верховная инстанция всего есть Церковь и разрешение вопросов жизни – в ней. Стало быть, во всяком случае после книги моей читатель обратится к Церкви, а в Церкви встретит и учителей Церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему наместо моей книги другие – позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам.

В заключение всего я должен заметить: суждения большею частию были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк, укорявший меня в недостатке смирения истинного, не показал смирения истинного, не показал смирения относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить суд над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как

бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно быть выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по частям на то и на другое, можно давать и мнения и советы; но выводить, основываясь на этих мнениях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, назвать лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели – это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеимен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что, прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать, прежде чем произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека – кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп». Нет, в книге «Переписка с друзьями» как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумение были для меня очень тяжелы, тем более что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их Бог никому получить. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также

осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной натуры человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом.

ИСКУССТВО ЕСТЬ ПРИМИРЕНИЕ С ЖИЗНЬЮ (Письмо к В. А. Жуковскому)

Виноват перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать — и непостижимая *неохота* удерживает. Передо мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом *искусстве*, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мое путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи — здесь. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступивший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце¹. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнеее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что, прежде чем понимать значение и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято². И едва ли не со времени этого первого свиданья наше-

го оно уже стало *главным* и *первым* в моей жизни, а все прочее *вторым*. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета (да и мог ли тогда его дать), что должно быть предметом моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения³. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, еще бывши в школе, чувствовал я временами расположение к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сизмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее бояться, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться, — вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от

форменного и узаконенного порядка. Представление «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединения и обдумания строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль *большого сочинения*, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней *своей-ство* нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки, — а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состояния, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюдению внутреннему над человеком и над *душой человеческой*. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься *ближе с Тем, Который Один* из всех доселе бывших на земле показал в Себе полное познание души человеческой, божественность Которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда делается уже не *слеп*, а просто *глуп*. Этим кру-

тым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страничку будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что, прежде чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состояния, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастие суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен переступать.

В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить *живыми образами*, а не рассуждениями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое *душа человеческая*? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет все не впопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если неясен в тебе самом идеал ему противоположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исклю-

ченья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых составляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить наместо его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена создания, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на не очищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное создание искусства имеет в себе что-то успокоивающее и примирительное. Во время чтения душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движение негодованья противу брата⁴, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще не устремляешься на *по-рицанье* действий другого, но на *созерцанье* самого себя. Если же создание поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется как примечательное явление, но не назовется созданием искусства. Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью!

Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это *живые люди*, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные *народные* наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиваться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и таким образом дей-

ствуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество!

Итак, благословясь и помолясь, обратимся же сильней, чем когда-либо прежде, к нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (когда Бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того), хочу заняться крепко «Мертвыми душами». Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не сделать), поблагодарю, как сумею, за все бывшее. Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело. Очень, очень бы хотелось, чтобы привел Бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще больше нужно, чем прежде.

Затем от всей души поздравляю тебя с Новым годом. Дай Бог, чтоб он был нам обоим очень, очень плодотворен, плодотворнее всех прошедших. Прощай, мой родной! Целую тебя и обнимаю крепко. Пиши ко мне. Твое письмо еще застанет меня в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вместе с Рейтернами⁵.

ПРАВИЛО ЖИТИЯ В МИРЕ

Начало, корень и утверждение всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы все, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога. Любить Бога следует так, чтобы все другое, кроме Него, считать второстепенным и не главным, чтобы законы Его были выше для нас всех постановлений человеческих, Его советы выше всех советов, чтобы огорчить Его считать гораздо важнейшим, чем огорчить какого-нибудь человека. Любить Бога значит любить Его в несколько раз более чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата и друга¹; а мы даже и так Его не любим, как любим их. Кто любит Бога, тот уже гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто привязывается к ним более чем к Самому Богу. Любовь

последнего есть один оптический обман, плотская чувственная любовь, одно страстное обаяние. Такая любовь не может поступать разумно, потому что очи ее слепы. Любовь же есть свет, а не мрак. В любви заключается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и спокойствие, где тьма, там и возмущение. И потому любовь, происшедшая от Бога, тверда и вносит твердость в наш характер и самих нас делает твердыми; а любовь не от Бога шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, боязливыми и нетвердыми². И потому прямо от Божьей любви должна происходить всякая другая любовь на земле.

Любовь земная, происшед от Божией, становится чрез то возвышенней и обширней, ибо она велит нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем мы любим: она велит нам оказывать не только одну вещественную помощь, но и душевную³, не только заботиться о его теле, но и о душе, скорбеть на него не за то, что он наносит нам неприятности, но за то, что он сим поступком наносит несчастье душе своей. Ибо грех его лежит и на нас: мы должны были его поучить, наставить, образовать, воспитать. Но как мы можем это сделать, будучи сами слабы и немощны? Путем и дорогою Божественной любви все возможно; без нее все трудно. Чтобы воспитать другого, мы должны воспитать прежде себя.

Как же воспитать себя? Воспитанье должно происходить в беспрестанном размышлении о своем долге, в чтении тех книг, где изображается человек в подобном нам состоянии, круге, обществе и звании, и среди таких же обстоятельств, — и потом в беспрестанном применении и сличении всего этого с законом Христа: в чем они не противуречат Христу, то принимать, в чем не соответствуют Его закону, то отвергать; ибо все, что не от Бога, то не есть истинно. Что же найдем сомнительным и не знаем, как решить, то до времени следует отложить и никак не смущаться им: это признак, что мы еще не готовы, и что глаза наши получают ясное познание вещей после, по мере нашего усовершенствования. От споров, как от огня, следует остерегаться, как бы ни сильно нам противуречили, какое бы неправое мнение нам ни излагали, не следует никак раздра-

жаться, ни доказывать напротив; но лучше замолчать и, удалясь к себе, взвесить все сказанное и обсудить его хладнокровно. Но и обсудивши не говорить, если чувствуем, что не можем сказать так, чтобы оно именно было доступно тому человеку, с которым говорим, или же если чувствуем, что не можем сказать хладнокровно и безгневно. Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет. Итак, воспитать другого и подать ему душевную истинную помощь мы можем тогда, когда достигли сами до высочайшего незлобия, когда никакие оскорбления не могут оскорбить нас. Тогда и разум наш получает свет и может наблюдать поступки других, видеть их прегрешения и научать нас, как избавляться от них. Тогда и Бог помогает нам на всяком шагу, внушая действительные средства противу всего. На сем основана и жизнь: учиться самому и научать других, и самому вознестись, и другого вознести к Богу.

Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны остерегаться одного наисильнейшего врага нашего. Враг этот – уныние. Уныние есть истое искушение духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку. Уныние противно Богу. Оно есть следствие недостатка любви нашей к Нему. Уныние рождает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнейшее всех злодеяний, совершаемых человеком, ибо отрезывает все пути к спасению, и потому пуще всех грехов оно ненавидимо Богом. От того и в молитвах просится ежедневно, дабы дал нам Бог сердце трезвящееся, бодр ум, мысль светлу и отгнал бы от нас дух уныния.

Иногда душевные беспокойства и смущения, схожие с унынием, бывают Божиими попущениями, насылаемыми на нас для того, чтобы испробовать и испытать, укрепились ли мы в характере; иногда же просто для того, чтобы, ища средств спастись от такого беспокойства и уныния, придумали сделать что-нибудь такое, чего бы никак не придумали прежде. Ибо Бог всячески старается нас вразумить и требует, чтобы мы употребили какое-нибудь усилие для узнания Его воли. И потому многие, воспитавшие себя среди волнений, советуют в такие минуты обратить взгляд на всю прежнюю жизнь нашу

и стараться припомнить все то, что мы пропустили сделать или откладывали к другому времени, а припомнив, заняться уже не вседневными и обыкновенными делами нашими, а теми именно, которые мы пропустили сделать, и заниматься ими прилежно во все время, пока продолжается унынье и смущение и заняться ими вовсе не так, как бы мы их сами себе задали, но так, как бы они наложены были Богом, а не другим кем, исполняя их подобно послушнику, исполняющему беспрекословно и рабски всякое повеление своего подвигоположника и господина.

Земная жизнь наша не может быть и на минуту покойна, это мы должны помнить всегда. Тревоги следуют одни за другими; сегодня одни, завтра другие. Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу мы будем на том свете. Здесь мы должны мужественно, не упадая духом сражаться, дабы получить больше наград, больше повышений, исполняя все как законный долг наш с разумным спокойствием, осматриваясь всякий раз вокруг себя и сверяя все с законом Христа Господа нашего. Некогда нам помышлять о робости или бегстве с поля: на всяком шагу предстоит нам подвиг христианского мужества, всякой подвиг доставляет нам новую ступень к достижению Небесного Царствия. Чем больше опасности, тем сильнее следует собрать силы и возносить сильней молитву к Богу. Находящийся среди битвы, не теряя сего ни на час из виду; готовящийся к битве, приготавливая себя к тому заранее, дабы трезво, бодрственно и весело потечь по дороге! Смелей! Ибо в конце дороги Бог и вечное блаженство! Но, как безумные, беспечные и недальнзоркие, мы не глядим на конец дороги, оттого не получаем ни бодрости, ни сил для путешествия по ней. Мы видим одни только препятствия, не замечая, что они-то суть наши ступени восхождения. А чаще всего мы все видим иначе: пригорок нам кажется горою, малость – великим делом, призрак – действительностью, все преувеличивается в глазах наших и пугает нас. Потому что глаза держим вниз и не хотим поднять их вверх. Ибо если бы поднимали их на несколько минут вверх, то увидели бы свыше всего только

Бога и свет от Него исходящий, освещающий все в настоящем виде, и посмеялись бы тогда сами слепоте своей.

Всякое дело и начинание да сопровождаем всегда душевной внутренней молитвой, не такой молитвой, какую мы привыкли повторять ежедневно, не входя во смысл всякого слова, но такой молитвой, которая бы излетела от всех сил нашей души и после которой, благословясь и перекрестясь, могли бы вдруг приняться за самое дело.

Никто да не приходит от того в уныние, если Бог не исполняет тот же час вслед за молитвою нашего желания и если даяние не вдруг снисходит на прошение; но напротив, тогда-то бодрей и веселей духом да молимся и действуем! Тогда-то именно да возрастает сильней наша надежда. Ибо Бог, руководясь великим смыслом, дает иному в конце то, что другому в начале. Но блажен и в несколько раз блаженней тот, которому назначено вкусить за долгие и большие труды то, что другому за меньшие: душа его больше будет приготовлена, больше достойна и может более обнять и вместить в себе блаженства, чем душа другого. «Претерпевый до конца спасется»⁴, – сказал Спаситель – и сим уже открыл нам всю тайну жизни, на которую не хотим мы даже взглянуть очами, не только проразуметь.

Не омрачаться, но стараться светлеть душой должны мы беспрерывно. Бог есть свет, а потому и мы должны стремиться к свету. Бог есть верховное веселие, а потому и мы должны быть так же светлы и веселы. Веселы именно тогда, когда все воздвигается противу нас, чтобы нас смутить и опечалить. Иначе и заслуги нет никакой: нетрудно быть веселу, когда вокруг нас все весело; тогда всякой умеет веселиться: и не просвещенный верою, и не имеющий никакой твердости человек, и не христианин, и язычник тогда умеют быть спокойными и веселиться. Но достоинство христианина в том, чтобы и в печали быть беспечальну духом. Иначе где же и отличие его от язычника.

Все да управляется у нас *любовью к Богу*. Да носится она вечно, как маяк пред мысленными нашими глазами! Блажен,

кто начал свои подвиги прямо с любви к Богу. Он быстрее всех других полетит по пути своему и легко победит все то, что другому кажется непреодолимым и невозможным. Весь мир тогда предстанет пред ним в ином и в истинном виде: к миру он привяжется потому только, что Бог поместил его среди мира и повелел привязаться к нему; но и в мире возлюбит он только то, что есть в нем образ и подобие Божие. И земной любви он поклонится не так, как грубый человек поклоняется образу, считая образ за Самого Бога, но так, как поклоняется образу просвещенный верою человек, считающий его за одно бледное художественное произведение, поставленное только для напоминания, что нужно возноситься к Тому, Чьего образа невозможно увидеть нашими бранными глазами. Равным образом и на всякую земную любовь нашу, как бы чиста и прекрасна она ни была, мы должны взирать как на одни видимые и недостаточные знаки бесконечной любви Божией. Это только одни искры, одни края той великолепной ризы, в которую облеклась безмерная и безграничная любовь Божия, которую ничто не вместит, как ничто не может вместить Самого Бога.

О ТЕХ ДУШЕВНЫХ РАСПОЛОЖЕНИЯХ И
НЕДОСТАТКАХ НАШИХ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ
В НАС СМУЩЕНИЕ И МЕШАЮТ НАМ
ПРЕБЫВАТЬ В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ

О гневе

Побеждать гнев гораздо труднее тому, кто еще не подозревает в себе этого греха. А кто уже узнал, что в нем есть гнев, тому легче. Он уже знает, против чего ему следует действовать, кто его истинный враг, он уже чувствует, что во всех неприятных и раздражающих случаях и обстоятельствах следует ему идти прежде всего не против случаев и обстоятельств, а *против собственного гнева*. Если только он будет это беспрерывно помнить, и, так сказать, видеть перед собою, и приготовляться

на битву с гневом своим, а не с чем-либо другим, тогда он его непременно преодолет, а обстоятельства и случаи, производящие гнев, исчезнут потом сами собою.

Многие не могут выносить несправедливых упреков. *Несправедливый упрек* им кажется чем-то ужасным; но кажется гораздо хуже и ужаснее заслужить *справедливый упрек*: мы тогда вдвойне упрекаемся и людьми и собственной совестью. Несправедливый же упрек должен производить по-настоящему противоположное действие: здесь даже чувствуется тайное удовольствие, видя, что в самом деле чисто на душе и посредством людских обвинений только больше и больше выигрываешь пред Богом. Впрочем, не только пред Богом, но даже в здешнем земном пребывании пред светом и пред людьми ими скорее выигрываешь, чем проигрываешь: кто невинен и ни в чем не обвиняется, тот даже ни в ком и участия к себе не возбуждает, потому что всякий из нас в чем-нибудь невинен. Но кто, будучи невинен, обвиняется, к тому все чувствуют участие. Но если он не только, будучи невинен, обвиняется, но еще переносит с терпением обвиненье, и не только переносит с терпением, но еще плотит великодушием за несправедливые упреки, тогда он производит изумление к себе во всех совершенно, даже в людях дурных и неспособных изумляться ничему прекрасному. Итак, несправедливые упреки могут только послужить к увеличению наших достоинств и доставить нам больше средств к приобретению всеобщей любви, не говоря уже о наградах небесных.

Многие затрудняются тем, что не знают, как отвечать на упреки, потому что обыкновенно упрекающие несправедливо любят, чтобы им отвечали, если же они к тому еще злобны, то любят даже, чтобы их раздражали противуречиями или гневными словами, чтобы этим подавать себе вновь повод и случай к озлоблению и упрекам. В таком случае нужно поступать так, чтобы не выставлять в словах и ответах своих ни свою невинность, ни их злобу. Вообще слов как можно поменьше, а умеренности и хладнокровия в них как можно побольше. Лучше всего отвечать таким образом: «Хотя мне кажется, что я невин-

нен, но как меня уже обвиняют, то, вероятно, во мне точно есть что-нибудь такое, что подало повод к обвинению. Как бы то ни было, но ни один человек не может сказать: я невинен. Поэтому я лучше сделаю, если вместо того, чтобы отвечать теперь же на обвинение, подумаю наедине потом, обсужу, взгляну на себя и пр.». Таким ответом, кроме того, что можно прекратить всякий разговор, можно еще выиграть время, в продолжение которого простынет всякая горячность.

Некоторые чувствуют *гнев против несправедливых суждений*. Не сердиться на то, что другой произносит ошибочные, пристрастные или непохожие на наши суждения, так же странно, как если бы мы стали сердиться на иностранца за то, что он говорит другим языком, не похожим на наш, а нашего языка не понимает. Прежде всего следует представить себе живо характер и качества того лица, с которым говоришь; подумать: может ли он даже говорить иначе? не есть ли это уже несчастная привычка его, а привычка – вторая натура, привычку ему самому трудно победить, если ж он к тому еще стар, тогда еще труднее? Стало быть, нужно быть снисходительну к таким людям. Спорить с ними никогда не следует; в случаях же, когда они в большом заблуждении, лучше подумать, как бы их исподволь, понемногу вывести из такого заблуждения, и вместо того, чтобы показать им несправедливость их, что всегда бывает как-то оскорбительно, лучше отделаться такими словами: «В этом деле трудно мне быть судьей, я очень хорошо знаю, что человеку можно на всяком шагу ошибиться. Самые умнейшие и самые лучшие из людей ошибались и даже тогда, когда думали, что менее всего могут ошибиться». Говоря таким образом, мы им не говорим, что они несправедливы, а показываем им только то, что они могут ошибиться. Выражение, что они могут ошибиться, уже не становится теперь для них обидным, ибо мы сказали, что и самые умнейшие из людей могут ошибиться. Таким образом, этими словами мы заставим их даже иногда обратиться к самим себе и подумать сурьезно о том, не ошиблись ли они. Словом, мы можем даже сделать им некоторую пользу.

Ко всякого рода *намекам* должно быть совершенно глуху. Тем более что намеки не составляют главного в речи; это эпизоды вводные, вставочные фразы, слова в скобках, а потому их нужно так и оставить вставочными фразами и словами в скобках, а отвечать только на то, что главное в речи. Вообще не следует ни в каком случае из какого-нибудь незначительного зернышка, невзначай или с умыслом оброненного слова, заводить длинный разговор. Иначе это будет то же, что раздувать искру, которая сама по себе погасла бы и которую, раздувши, можем превратить в такой пожар, что и погасить уже трудно.

Гнев мы чувствуем еще (и весьма часто) тогда, когда обвиняют, или бранят, или просто насмехаются над людьми, нам близкими, родными, или почему-нибудь драгоценными нашему сердцу. Хотя движение это благородней, чем если бы мы гневались за себя, но оно гневное и потому так же несправедливо, как и первое. Прежде всего мы должны помыслить следующее: какой вред могут причинить нашим близким такие речи? Слова эти ничего не могут ни отнять от них, ни прибавить к ним; друзья и приятели наши не сделаются от этого в существе своем ни лучшими, ни худшими. Напротив, узнавши все, что говорят о них, мы можем даже иной раз предостеречь их в чем-нибудь, оказать им какую-нибудь пользу, обратить их внимание на что-нибудь точно в них находящееся слабое, недостойное их. С теми же, которые порочат друзей наших, не следует вовсе спорить. Это ни к чему не поведет, их не переспоришь; тем более что спор они вовсе не для того затевают, чтобы узнать истину, а для того, чтобы выбранить. Никогда не следует защищать жарко друзей наших, и особенно нужно опасаться, чтобы не распространиться слишком об их качествах похвальных и прекрасных. Этим будем еще более сердить их недоброжелателей и только восстанавливать против них. Лучше вместо всяких защит хладнокровно ответить такими словами: «Я знаю, в друзьях моих есть точно многие недостатки, но кто из нас без недостатков? Все дело только в том, что человек в других видит их яснее, чем в себе. Друзья мои точно имеют такие недостатки, каких другие не имеют, но

зато другие имеют с своей стороны такие недостатки, которых не имеют друзья мои. У всякого есть свои недостатки, но решить, кто из нас имеет их более, кто менее, или чьи недостатки важнее других, трудно нам, потому что нужно быть слишком беспристрастну». Сказавши такие слова, нужно стараться обратить разговор на другие предметы и всегда отделяваться подобным образом.

Гнев, наконец, мы чувствуем еще *в разных мелочах*, в безделицах, происходящих от наших собственных слабостей, которых так много в каждом человеке. Мы способны гневаться на все: сделается ли что-нибудь не так, как мы бы хотели, — мы уже гнуемся. Произойдет ли что не в то самое время, как бы мы хотели, — мы уже гнуемся; встретим ли мы в ком-нибудь относительно нас малейшее пренебрежение, даже просто неаккуратность и неисправность — мы уже гнуемся. Словом, всякая ничтожная безделица иногда бывает в силах раздражить нас. В таком случае весьма бы хорошо было припомнить все такие безделицы, которые нас выводят из себя¹, и записать их. Хорошо бы даже вести журнал², в котором записывать, когда и за что рассердился, и потом почаще его перечитывать. Это одно уже может истребить в нас расположение сердиться на *мелочи и безделицы*.

О боязни, мнительности и неуверенности в себе

Недостатки эти происходят от того, что мы еще не довольно утвердились в главных правилах и положениях, которые может дать нам одно только чтение Евангелия и Святых книг. Пока не станем мы глубже входить в значение истин Евангельских, пока не станем больше прикрепляться любовью к Богу, нежели к земле, до тех пор будет все еще в голове нашей мешаться главное с мелким, важное с ничтожным; то и другое будет принимать в глазах наших равнозначительную важность, мы будем колебаться, которое избрать, и при всех наших прекрасных качествах душевных останемся нерешительными

и слабыми. И вообще будем бояться не Бога, а человека, будем думать не о том, как бы не огорчить Бога, а о том только, как бы не огорчить человека. Но по мере того, как будем входить в познание наших главных обязанностей и долга, всякая мелочная боязнь и нерешительность в нас истребится.

Прежде всего надобно держать в вечной памяти, что во всех делах и действиях в жизни *большее нужно предпочитать меньшему*. Иначе человек затеряется непременно и не выполнит *ни большего, ни меньшего*. Если же он выполнит *большее*, тогда *меньшее* выполнится уже само собою. Так мы должны действовать, и если бы даже, действуя таким образом, мы произвели в бездельных вещах против нас неудовольствие, то сим не должно смущаться и перетерпеть временное неудовольствие. Если бы, например, случилось нам *чего-нибудь не сделать* для того человека, которого мы любим, но *не сделать* для того именно, чтобы потом *сделать* для него большее и лучшее, *отказать* ему в чем-нибудь, но *отказать* для того, чтобы потом ему доставить необходимейшее и нужное, в таком случае мы должны действовать твердо, и нас должна одушевлять мысль, что мы действуем для его же блага. Эта цель стоит того, чтобы для нее претерпеть неудовольствие или огорчительный упрек. Нужно, чтобы любящие нас иногда встречали в нас одно решительное слово: *нет*, вместо всяких объяснений. Но это слово должно произноситься редко, именно тогда, когда дело касается главных вещей и главных истин. Так, чтобы чрез нас и другие имели больше уваженья к главным вещам и к главным истинам. Словом, чтобы всегда, везде и во всем *большее предпочиталось меньшему*. Поступая таким образом, мы привлечем к себе уважение всех, даже и тех, которые вначале противились нашим поступкам.

Людям чувствительным, имеющим душу нежную и кроткую, кажется трудным и тяжелым *отказать* в чем-нибудь кому бы то ни было. Им бы не хотелось даже и словом опечалить кого бы то ни было. Это происходит отчасти от того, что они и в других подозревают такую же чувствительную и нежную природу, тогда как у большей части людей все впечатления

проходят быстро и мгновенно. Рассердившись на что-нибудь вдруг, они чрез две минуты забывают даже и то, на что рассердились. Итак, из боязни ли к мгновенному позабывать о вечном? И для минутного ли жертвовать тем, что полезно не на одну минуту? Но если бы даже и случилось нам в ком-либо из близких нам встретить такую нежную, чувствительную и чуткую природу, то и тогда мы должны руководиться тою же мыслью, то есть заботиться о их продолжительном благополучии, а не минутном. Мы очень хорошо знаем, что микстура имеет противный вкус, но, однако ж, заставляем выпить ее насильно. Никто бы из нас не решился позволить даже произвести операцию близкому нам человеку, но если бы только от этого зависела жизнь его, тогда бы мы сами, несмотря на все отвращение наше, схватили в руки инструмент и совершили бы ее, если б не случилось хирурга.

Об унынии

Уныние есть величайший из грехов, а потому, как только одна тень его набежит на нас, мы должны тот же час прибегнуть к Богу и молиться от всех сил наших.

Уныние одолевает иных тогда, когда *почувствуешь свою слабость и бессилие*. Уныние от того, что бессилен и мал духом, одолевало всякого и знакомо всем. Самые сильные характеры чувствовали так же свое бессилие, как и самые бессильные. Разница в том, что сильнейшим посылаются испытания сильнейшие, несчастия тягчайшие; слабейшим слабейшие. И потому в такие минуты никак не следует отчаиваться, но молиться крепче и крепче до тех пор, пока не умягчится душа и не разрешится слезами. Немедленно после молитвы, когда воздвигнется хотя на время дух, перечитать все правила и наставления в жизни, какие есть у нас выписаны и какие должны быть у всякого, перечитать журнал свой, все записанные там грустные и тяжелые минуты. Потом взглянуть на свои настоящие обстоятельства, на свое положение и на свои огорчения текущие. И когда обдумаем, взвесим и сравним все, тогда вдруг

как молния осияет и озарит нас Самим Богом ниспосланная мысль, и мы находим тогда средства помочь тому, чему и не думали быть в силах помочь.

У человека нет своей силы; это он должен знать и помнить всегда, — и кто надеется на свою силу, тот слабее всех в мире. Мы должны быть крепки Божьей силой, а не своею. Твердейшими характерами сделались только те, которые сильно падали духом и бывали в некоторые минуты жизни бесильнейшими всех. Это-то самое и заставило их всеми силами вооружиться против собственного бессилия. Они старались, молились, беспрестанно испрашивая помощи, и таким образом окрепли и сделались твердейшими. Те же, которые нам иногда кажутся сильными потому только, что имеют грубую и жесткую натуру, не знают жалости, способны оскорблять, депотствовать и выказывать характер свой капризами, — те кажут только одну мишуру силы, а в самом деле ее не имеют. На первом несчастье, как на пробном камне, они узнаются. При первом приступе несчастья они оказываются малодушными, низкими, бессильными, как ребенки; тогда как слабейшие возрастают, как исполины, при всяком несчастье. «Сила моя в немощи совершается», — сказал Бог устами апостола Павла³.

Уныние при первой неудаче случается со многими. Мы ему до тех пор подвластны, покуда не уверимся совершенно и опытом, и разумом, и примерами, что первая неудача ровно ничего не значит. Неудачи посылаются нам для того, чтобы заставить нас лучше и внимательнее рассмотреть то же самое дело, чтобы пробуждать наш ум и раздвигать ему поприще. Все наши неудачи происходят от нас самих: мы или поспешили, или пропустили что-нибудь, или не рассмотрели всех качеств тех людей, с которыми нам случилось иметь дело. А потому, помолясь, следует вновь начать то же дело, исправивши все свои прежние ошибки. Если же вновь случится неудача, вновь помолиться Богу, вновь рассмотреть все обстоятельства, вновь исправить все новые наши оплошности — и, благословясь, бодро и весело приняться вновь за дело. Люди великие потому сделались великими, что не смущались никак

от первой неудачи, и не только от первой, но даже от нескольких, — и тогда, когда другие, видя их терпение, смеялись над ними, как над безумными, они с новым рвением принимались за свое неудавшееся дело и наконец успевали в нем совершенно. Неудачи не *в препятствие* нам даются, а *на вразумление*. И умнейший человек, не наделав прежде глупостей, не делается умным человеком.

Иногда небольшое уныние посещает нас в разных мелких неприятностях, иногда оно приходит неизвестно от каких причин, просто от усталости душевной. Тогда нам полезны бывают просто развлечения, беседа с близким другом, с таким существом, которое нас любит любовью высшею, а не пристрастною. Который и нас самих мог бы упрекнуть, но вместе с тем утешить нас тихим, успокаивающим душу разговором. Который, любя нас, был бы вместе с тем также беспристрастен и к тем, которые нас не любят. Еще полезней бывает в такие минуты, позабыв совершенно о себе и о своих собственных бедах и неприятностях, отыскивать страждущих с тем, чтобы помочь им не одной денежной помощью, а душевным вспомоществованием, проливая утешения на душевные боли. Кто сам терпел, тот счастливец: он знает, как помочь другому. Такое средство производит удивительное влияние на собственную нашу душу. После него спокойствие вдруг само собою воцаряется в нас.

Уныние, которое находит на многих людей при размышлении о настоящем, прошедшем и будущем своем положении, показывает только то, что они еще мало размышляли, еще не умеют входить в смысл и значение происшествий. Но как только начинаем мы прозревать смысл всякого события, тогда исполняемся избытком одной благодарности к Богу, видя, как все, что ни случается, случается во благо наше. Никак нельзя сказать, что такое-то время нашей жизни было лучше потому только, что мы были тогда покойны и меньше тревожились всякими смущеньями. Душевный сон никак нельзя назвать прекрасным состоянием. Правда, мы не чувствовали тогда тревог; но зато мы не чувствовали величайших наслаждений душевных. Нам не было поприща показать красоту, величие

души, терпение, твердость, жар истинной молитвы, веру истинную в Бога, любовь истинную, то есть не поверхностную, а глубокую, умеющую предпочесть *главное* ничтожному, внутреннее внешнему. Словом, нам не представилось бы подвигов, за которые награды небесные готовятся человеку; ибо Бог неизреченно милостив к человеку и употребляет все средства, чтобы доставить ему больше и больше блаженства. Все совершенно зависит от нас. Всякое наше положение, самое затруднительное, мы можем обратить в самое счастливое, стоит только начать и молиться, а Бог уже поможет и кончит. Поэтому-то чем печальней обстоятельства, тем по-настоящему мы должны еще более радоваться за будущее, значит, только поприще пред нами раздвигается, больше горизонта для дел и подвигов открывается. Если ж смутит нас на время мысль, что мы бессильны бороться на таком поприще, то мы должны вдруг вспомнить, что бессильным-то и помогает Бог. Все с целью. Всюду ожидает нас благополучие. Поставлены ли мы среди людей дурных, с которыми нам трудно жить? Мы, верно, поставлены для того, чтобы со временем посредством нас они из дурных сделались лучшими. Величайший подвиг, который больше всего приятен Богу! Ибо не столько Ему угодна самая жизнь праведного, сколько угодна прекрасная жизнь обратившего грешника. Стало быть, участвуя сколько-нибудь в том, чтобы сделать других лучшими, мы делаем для Бога приятнейшее, что только можно для Него сделать. Итак, не думая о своих собственных смущеньях, мы должны думать только о том, как бы сделать побольше добра тем, которые нам причиняют смущение. А делая добро, мы должны помнить, что оно должно быть душевное добро, то есть не то, которое доставляет минутное удовольствие, и потому нечего нам глядеть на то, бранят ли нас, плотят ли нам неблагодарностью, или приемлют самое дело не в том виде, как оно есть; потом они узнают и уразумеют. Все потом переменится и принесет двойную и тройную выгоду. И потому, помолясь, мы должны действовать смело: будущее в наших руках, если мы постараемся сами быть в Божиих руках.

<О БЛАГОДАРНОСТИ>

Кто получил много способностей и сил, тот должен много, много благодарить Бога, вся жизнь того должна превратиться в один благодарный Гимн, а чувства изливаться одной прекрасной песнью неумолкаемого благодарения. Постоянное благодарение прекрасно возвышает душу. Оно вносит в нее мир, стройность и тишину, а сердце нечувствительно растворяет всепрощающей, всеобъемлющей любовью даже к самим врагам.

Кто получил много способностей и сил, тому нужно много стараться о приведении всего, что ни есть в нем, в стройность. Лучше ему не показывать своих преимуществ до тех пор, пока все не приидет в нем в полное согласие между собою, и всякая сила не стала на свое законное место, иначе он обнаружит только неровность своего характера. Не узнавши великих сил, в нем пребывающих, назовут движенья их капризами, делом самонадеянной самоуверенности. Он сам прослышет дерзким выскочкой, привлечет к себе ненависть на место любви и в свою очередь озлобится также противу людей.

Счастлив тот, кто имеет небесное свойство нравиться всем врожденной прекрасной ясностью души, врожденным младенческим незлобием и той очаровательной прелестью врожденного миловидного обращения со всеми, которое так близко влечет к себе сердца всех, что каждому кажется, как бы он всем им родной брат.

Но в несколько раз счастливее тот, кто, победив в себе все неудержимые стремления, приобрел эту миловидную детскую простоту и невыразимую прелесть ангельского обращения с людьми, которых не имела вначале его пред всеми возвышенная природа. Неисчислимо более может он принести добра и счастья в мире, чем тот, кто получил все это от рожденья, и влияние его на людей неизмеримо могущественней и обширней.

Но Боже! Как трудно бороться с собой, с непокорными, неудержимыми нашими стремлениями, как слаба не приобретшая крепости наша воля! Тут-то нужно вспомнить, что наша жизнь должна быть неумолкаемой песнью постоянного благодарения Богу. Благодарить, благодарить, теряться в благодарности, — это нужно сделать своей пищей, питьем, существованием, жизнью. Постоянное благодарение высоко возвышает душу, а сердце растворяет всепрощающей любовью ко всем. Оно дает нам высшую силу над нашими силами, и производит то, что нам становится легка битва и победа над страстями и становится возможным приобретение ангельской любви к людям.

О СОСЛОВИЯХ В ГОСУДАРСТВЕ

Прошло то время, когда идеализировали и мечтали о разного рода правлениях, и умные люди, обольщенные формами, бывшими у других народов, горячо проповедывали: одни — совершенную демократию, другие — монархию, третьи — аристократию, четвертые — смесь всего вместе, пятые — потребность двух борющихся сил в государстве и на бorenье их основывали <...> Наступило время, когда всякий более или менее чувствует, что правление не есть вещь, которая сочиняется в голове некоторых, что она образуется нечувствительно, сама собой, из духа и свойств самого народа, из местности — земли, — на которой живет народ, из истории самого народа, которая показывает человеку глубокомысленному, когда и в каких случаях успевал народ и действовал хорошо и умно, и требует — внимательно все это обсудить и взвесить.

История государства России начинается добровольным приглашением верховной власти. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет¹: придите княжить и владеть нами», — слова эти были произнесены людьми вольных городов². Добровольным разумным сознанием вольных людей установлен

монарх в России. Все сословия, дружно требуя защиты от самих себя, а не от соседних врагов, утвердили над собою высшую власть в том, чтобы рассудить самих себя, – потребность чисто понятная среди такого народа, в котором никто не хочет уступить один другому и где только в минуты величайшей опасности, когда приходится спасать родную землю, все соединяется в один человек и делается одним телом. Сим определена высокая законность монарха-самодержца.

Итак, в самом начале, во время, когда не пробуждается еще потребность организации стройной, во время, когда легко ужиться с безначалием, уже все потребовало одного такого лица, которое, стоя выше всех, не будучи связано личною выгодною ни с каким сословием преимущественно, внимало бы всему равно и держало бы сторону каждого сословия в государстве. Во всю историю нашу прошла эта потребность суда постороннего человека. Великий князь или просто умный князь уже требуется как примиритель других князей. Духовенство является как примиритель между князьями или даже между народом, и сам государь судится народом не иначе, как верховный примиритель между собою. Стало быть, законность главы была признана всеми единогласно.

Вопрос: какие начала правления преимущественно слышатся и слышались в истории народа?

Если правление переходило сколько-нибудь в народное, это обнаруживалось совершенною анархией и полным отсутствием всякого правления: ни одного человека не бывало согласного, все спорило между собою.

Если правление переходило совершенно в монархическое, то есть в правление чиновников от короля, воспитавшихся на служебном письменном поприще, государство наполнялось взяточниками, для ограничения которых требовались другие чиновники; через года два следовало и тех ограничивать, и образовывалась необыкновенная сложность, тоже близкая к анархии.

Стало быть, вопрос: где, в каких случаях следует допустить демократическое, народное участие и где, в каких случа-

ях участие короны и правительствующего корпуса? То и другое в руках монарха — и аристократия и демократия; тому и другому он господин; та и другая ему равно близка. Каковы же и в чем отношения монарха к подданному? Это — лицо, которое уже должно жить другою жизнью, нежели обыкновенный червь. Он должен отречься от себя и от своей собственности, как монах; его пищей должно быть одно благо его — счастье всех до единого в государстве; его лицо не иначе, как священно.

Где особенно и в каких случаях полезна мирская сходка? Тогда, когда уже решенное определение следует привести в исполнение. Никто лучше мира не умеет, как разложить и сколько на кого, потому что они знают и свои состояния и свои силы. Поэтому кто, не сообразив, и наложит на каждого заплатить по рублю, будет несправедлив, но, сложивши сумму, какая должна выйти, если положить рубль на человека, — потребовать эту сумму со всего мира. Это можно применить ко многому и в других сословиях.

Верховный совет государства предполагается состоящим из лиц, знающих нужды своего государства, которые достигли этого звания не одним письменным поприщем и повышением за выслугу лет, но имея по службе, на многих поприщах внутри государства, случай стоять лицом <к тому>, как там происходят внутри государства. Стало быть, определения такого совета относительно всего государства могут быть менее всех других ошибочны.

Определение расходится по лицу России. Его требуется исполнить и применить <к> делу. Вот тут дело упирается на совете тех, которые должны исполнить и применить к делу: как удобней, как возможней, как необременительней ни для кого исключительно исполнить. Здесь необходимость веча, или совещания всего того сословия, к которому относится дело.

Правительство не имеет дела порознь ни с кем из со<словия>, но с целым сословием вместе. Все сословие отвечает. Сословие имеет употребить и полицию, и насильственные меры к приведению в послушание того ослушника, который бы воспротивился.

Везде, где только применены к делу постановления, там необходимо совещанье самих тех, на которых должны применять <их>. Сами они должны из себя избрать для того и чиновников, и блюстителей, и ускорителей, не требовать от правительства никакого для этого жалованья и не обременять этим сложность государственного механизма.

Но где дело касается до определения постановлений, там совещаются одни испытанные в делах государственные мужи, и определение уже непреложно, если скреплено рукой монарха. Сословия могут посылать своих депутатов, которые могут предъявлять справедливые причины упущения или необходимые требования, но они принимаются только к соображению и усмотрению. Если они будут отвергнуты, сословие не имеет права на апелляцию. Само собою разумеется, что правда должна быть на стороне тех людей, которых <...> все стороны государства, — особенно, если правда эта узаконена тем, кто стоит выше всех в государстве и которому равно близки выгоды всех.

Дело в том, чтобы организовались сословия, чтобы почувствовало всякое сословие свои границы, пределы, обязанности, и знали, где их дело и деятельность, а потому в воспитанье человека с самого начала должны войти обязанности того сословия, к которому он принадлежит, чтобы он с самого начала почувствовал, что он гражданин и не без места в своем государстве.

Взглянем на наши сословия от высших до низших. Начнем с дворянства.

Дворянство наше должно было непременно <иметь> другой характер, чем дворянства других краев. Во всех других землях дворянство образовалось из пришельцев, из народов, захвативших земли туземцев и обративших народ силою в своих вассалов. Оно установило насильственно отдельную касту аристократии, в которую уже не допускали никого. У нас дворянство есть цвет нашего же нас<еления?>. Большею частью заслуги пред царем, народом и всей землей Русской возводили у нас в знатный род людей из всех решительно сословий. Пра-

во над другими, если рассмотреть глубже, в основании, основано на разуме. Они не что иное, как управители государя. В награду за доблести, за испытанную честную службу даются ему в управление крестьяне, даются ему, как просвещеннейшему, как ставшему выше пред другими, — в предположении, что такой человек, кто лучше других понял высокие чувства и назначение, может лучше править, чем какой-нибудь простой чиновник, выбираемый в заседатели, или капитан-исправники. Вольно было помещикам, позабывши эту высокую обязанность, глядеть на крестьян как на предмет только дохода для своей роскоши и увеселений. Этим они ничуть не доказали, что государи были неправы, а доказали только, что они сами уронили звание помещика.

Итак, дворянству нашему досталась прекрасная участь заботиться о благосостоянии низших... Вот первое, что должно начать чувствовать это сословие с самого начала. Из-за этого самого они должны составить между собою одно целое, совещаенье они должны иметь между собою об управлении крестьянами. Они не должны попустить между собой присутствие такого помещика, который жесток или несправедлив: он делает им всем пятно. Они должны заставить его переменить образ обращенья. Они должны поступить так же, как в полку общество благородных офицеров поступает с тем, который обесчестит подлым поступком их общество, они приказывают ему выйти из круга, и он не осмеливается преступить этого, ничем уже не смягчаемого определения. Дворянство должно быть сосудом и хранителем высокого нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра, которые должны сторожить сами за собою. Так должны быть они в России, где не хвастают ни родом, ни происхождением, ни *point d'honneur*, но каким-то нравственным благородством, которое, к сожалению, обнаруживается только во дни высоких самопожертвований. Это от самой юности должно быть внушаемо, как в первую принадлежность.

Последний в государстве и многочисленный класс — крестьяне составляют также сословие и имеют много о чем

совещаться между собою. Состоя под управлением помещика, они имеют тоже о чем совещаться. Установленный сбор, повинность, положенную на каждого человека, помещик должен предоставить, принест<и> миру, который сам должен и собрать, и принести, потому что они лучше себя знают относительно всяких состояний, и помещику никогда не <...> Он также должен лучше чувствовать свое сословие, что имеет право законно требовать помещик, за что должен заплатить ему и нанимать, как вольного человека, и переговариваться с помещиком целым миром.

Сословие граждан, самое разнохарактерное, меньше всего получившее определенное выражение, от неопределенности занятий и от некоторого безвластия, должно непременно высвиться до понятия <...> Оно должно помнить, что они стражи и хранители благосостояния и должны сами из себя избирать чиновников. Полиция тогда только не будет брать взяток и грабить, когда сами граждане будут исполнять <...> Лучшая полиция, по признанию всех, в Англии, и то потому, что этим занимается город, выбирая для этого чиновника и платя ему жалованье от себя. Правитель города должен требовать от магистрата, чтобы сделано было так же точно; а магистрат уже сам размыслит, как это сделать так, чтобы тягость упала на все сословие.

<РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ>

Предисловие

Целью этой книги – показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою и доступностью, которые служат преимущественно

к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого*. Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою.

Вступление

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отсюда, со всех концов мира зывало к Творцу своему – и пребывавшие во тьме язычества и лишенные Боговедения – слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам, от Него созданным. Отсюда тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями зывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданиях, предстанет Сам лицом к человекам, – предстанет не иначе, как в образе того создания Своего, созданного по Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем по мере того, как скольконибудь очищались понятия о Божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков Богоизбранного народа. И самое чистое воплощение Его от Чистой Девы было предслышиваемо даже и язычниками; но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков.

Вопли услышались: явился в мир, *Им же мир бысть*¹; среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли Его неочищенные понятия – не в гор-

* Все прочие, которые бы захотели узнать более таинственные и глубокие объяснения, могут найти их в сочинениях патриарха Германа, Иеремии, Николая Кавасилы, Симеона Солунского, в Старой и Новой Скрижали, в объяснениях Дмитриева и, наконец, в некоторых...

дом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! Послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось Его явление образом, только одному Богу свойственным, как прообразовали Его Божественно пророки, получившие повеление от Бога...

Проскомидия

Священник, которому предстоит совершать Литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь; вместе с диаконом поклоняются они оба пред царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево, испрашивая сим поклоном себе прощения у всех, и входят в олтарь, произнося в себе псалом: *Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страхе Твоем*. И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред ним три наземные поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы Самого Господа, сидящего на престоле; целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей, — и от самих себя, ничего не напомнить в себе другим похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И произнося в себе: *Боже! очисти меня грешного и помилуй меня!* священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон; испросив благословение у иерея, надевает стихарь¹, подризник блистающего цвета, во знаменование светоносной ангельской одежды и в напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства, почему и произносит при воздевании его: *Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя; яко жениху, возложи ми венец и, яко невесту, украси мя красотою*. Затем бе-

рет, поцеловав, орарь, узкое длинное лентие, принадлежность диаконского звания, которым подает он знак к начинанию всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо званье диакона, что званье ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентием, развевающимся как бы в подобие воздушного крыла, и быстрым хождением своим по церкви изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Лентие это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает он поручи, или нарукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки для сообщения им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на правую, произносит он: *Десница Твоя, Господи, прославилась в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов.* Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих и молит у Него же, его же сотворившего, да руководит его верховным, свыше Своим руководством, говоря так: *Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоим заповедям.*

Священник облачается таким же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами, какими сопровождал и диакон; но, вслед за стихарем, надевает уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей – иерейской и диаконской. И называется он уже не орарем, но эпитрахилью, и самым воздеванием своим знаменует излияние благодати свыше на священников, почему и сопровождается это величественными словами Писания: *Благословен Бог, изливающий благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аарону, сходящее на ометы одежды его.* Затем надевает поручи на

обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и препоясует себя поясом сверх подризника и эпитрахили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий и дабы сим препоясанием выразить готовность свою, ибо препоясует человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу: препоясует и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит: *Благословен Бог, препоясующий мя силою, соделавший путь мой непорочным, быстрейшими еленей мои ноги и поставляющий меня на высоких*, то есть, в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим иерейства, то привешивает к бедру своему четырехугольный набедренник одним из четырех концов его, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, в возведение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, – ту победу над смертию, которую одержал в виду всего мира Христос, да ратоборствует бодро бессмертный дух человека противу тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия брани сей набедренник; привешивается на пояс у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к Самому Господу: *Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит тя дивно десница Твоя*. Наконец, надевает иерей фелонь, верхнюю всепокрывающую одежду, в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией, и сопровождает сими словами: *Священники Твои, Господи, облекутся в правду и преподобнии Твои радостию возрадуются*. И одетый таким образом в орудия Божии, священник предстоит уже иным человеком: каков он ни есть сам по себе, как бы ни мало был достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым наляцает Дух Святой. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтением псалма: *Умью в невинных руки мои и обыду жертвенник Твой*. Повергая по три поклона в сопровождении слов: *Боже! очисти мя грешного и помилуй*, восстают омытые, усветлен-

ные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобясь скорее сияющим видениям, чем людям.

Диакон напоминает о начале священнодействия словами: *Благослови, владыко!* И священник начинает словами: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков, приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть, в отделении от приношений, или хлебов-просфор, того хлеба, который должен вначале образовать Тело Христово, а потом пресуществиться в него.

Так как вся Проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой Литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к Его подвигам в мире. Она совершается вся в олтаре при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекала незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы – собрание псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важные для христиан времена дня: час первый, когда начиналось для христиан утро, час третий, когда было сошествие Духа Святаго, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил дух Свой. Так как нынешнему христианину, по недостатку времени и беспрестанным развлечениям, не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь.

Приступив к боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую комору храма, иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым – средину с печатью, озаменованной именем Иисуса Христа. Так он сим изъятьем хлеба от хлеба знаменует изъятие плоти Христа от плоти Девы – рождение Бесплотного во плоти. И, помышляя, что рождается Принесший в жертву Себя за весь мир, соединяет неминуемо мысль о самой жертве и при-

несении и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья в напоминание копья, которым было прободено на кресте Тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей, современных случившемуся, не переносит себя в минувшее, – в то время, когда совершилось сие принесение в жертву: то предстоит впереди, в последней части Литургии; и к сему предстоящему он обращается издали прозревающею мыслию, почему и сопровождает все священнодействие словами пророка Исаии, издали, из тьмы веков, прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть и возвестившего о том с ясностью непостижимою. Водружая копьё в правую сторону печати, произносит слова Исаии: *как овечка ведется на заколение*²; водрузив копьё потом в левую сторону, произносит: *и как непорочный ягненок, безгласный перед стригущими его, не отверзает уст своих*; водружая потом копьё в верхнюю сторону печати: *Был осужден за Свое смирение (в смиреньи Его суд Его взятся)*. Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного Агнца, – слова: *Род же Его кто исповесть?* И приподъемлет потом копьём вырезанную средину хлеба, произнося: *яко возьмется от земли живот Его*; и начертывает крестовидно, во знамение крестной смерти Его, на нем знак жертвоприношения, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося: *Жертвоприносится Агнец Божий, вземлющий грех мира сего, за мирской живот и спасение*. И обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобье агнца, приносимого в жертву, водружает копьё в правый бок, напоминая, вместе с заколеньем жертвы, прободение ребра Спасителя, совершенное копьём стоявшего у креста воина; и произносит: *един от воин копьём ребра Его прободет, и абие изыде кровь и вода: и видевый свидетельствована, и истинно есть свидетельство его*. И слова сии служат вместе с тем знаком диакону ко влиту в Святую Чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое

иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя: *Господу помолимся!* при всяком его действии, наконец, вливает вина и воды в Чашу, соединив их вместе и испросив благословенья у иерея. Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего.

И во исполнение обряда первенствующей Церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда, при помышлении о Христе, о всех тех, которые были ближе к Его сердцу исполнением Его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминание их, положить на том же дискосе возле того же Святого Хлеба, образующего Самого Господа, так как и сами они пламенели желанием быть повсюду с своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъе­млет он из нее частицу в воспоминанье Пресвятыя Богородицы и кладет ее по правую сторону Святого Хлеба, произнося из псалма Давида: *Предста Царица одесную Тебя, в ризы позлащены одее­на, преукрашена*. Потом берет третью просфору, в воспоминанье святых, и тем же копьем изъе­млет из нее девять частиц в три ряда, по три в каждом. Изъе­млет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъе­млет четвертую частицу во имя святых отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъе­млет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребренников, восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого, его же день; девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все девять изъятых частиц на святой дискос возле Святого Хлеба по левую его сторону. И Христос является среди Своих ближайших, во святых Обитающий зрится видимо среди святых Своих – Бог среди богов, человек посреди человеков. И принимая в руки священник четвертую просфору в поминовение всех живых,

изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельного во имя каждого, о котором его просили, или во имя которого он сам восхочет изъять. В заключение же всего испрашивает и себе отпущения во всем и также изъемлет частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же Святого Хлеба внизу его. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего Агнца, избражающего Самого Христа, собрана вся Церковь Его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын Человеческий является среди человеков, ради которых Он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупички на дискос, дабы ничто не пропало из Святого Хлеба и все бы пошло в утверждение³.

И отошедши от жертвенника, поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует в сем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление Небесного Хлеба на земле, и приветствует Его каждением фимиама⁴, благословив прежде кадило и читая над ним молитву: *Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, которое принявши во превышенебесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.*

И весь переносится мыслию иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время Небо на землю: Небо стало вертепом, и вертеп – Небом. Обкадив звездицу, две золотые дуги со звездой наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над Младенцем, сопровождая словами: *И, пришедши, звезда стала вверху, иде же*

бе Отроча; на Святой Хлеб, отделенный на жертвоприношение, — как на новородившегося Младенца; на дискос — как на ясли, в которых лежал Младенец; на покровы — как на пелены, покрывавшие Младенца. И обкадив первый покров, покрывает им Святой Хлеб с дискосом, произнося псалом: *Господь воцарися, в лепоту облечеса...* и проч., — псалом, в котором воспевается дивная высота Господня. И обкадив второй покров, покрывает им Святую Чашу, произнося: *Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля.* И взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и Чашу вместе, взывая к Богу, *да покроет нас кровом крыла Своего.* И отошед от предложения, поклоняются оба Святому Хлебу, как поклонялись пастыри-цари новорожденному Младенцу, и кадит пред вертепом, изображая в сем каждении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с златом мудрецами.

Диакон же по-прежнему соприсутствует внимательно иерею, то произнося при всяком действии: *Господу помолимся*, то напоминая ему о начинании самого действия. Наконец, принимает из рук его кадильницу и напоминает ему о молитве, которую следует вознести ко Господу о сих для Него приуготовленных Дарах, словами: *О предложенных Честных Дарах Господу помолимся!* И священник приступает к молитве. Хотя Дары эти не более как приуготовлены только к самому приношению, но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает священник для себя одного молитву, предваряющую о принятии сих предложенных к предстоящему приношению Даров. И в таких словах его молитва: *Боже, Боже наш, пославший нам Небесный Хлеб, пищу всего мира, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и освящающего нас, Сам благослови предложение сие и прими во свышенебесный Твой жертвенник: помяни, как Благой и Человеколюбец, тех, которые принесли, тех, ради которых принесли, и нас самих сохранив неосужденными во священнодействии Божественных Тайн Твоих.* И творит, вслед за молитвой, отпуст Проскомидии;

а диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу. Помышляя о земном рождении Того, Кто родился прежде всех веков, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, производит в самом себе: *во гробе плотски, во аде же с душою, яко Бог, в раю же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный*. И выходит из олтаря, с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех, собравшихся на Святую Трапезу Любви. Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омовения и благовония. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное – на Тайную Вечерю, носящую имя Литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал Сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги⁵. Кадя и поклоняясь всем равно, и богатому, и нищему, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей небесному Хозяину, кадит и поклоняется в то же время и образам святых, ибо и они суть гости, пришедшие на Тайную Вечерю: во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и, возвратившись потом в олтарь и вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к иерею, и оба вместе становятся перед святым престолом.

Став перед святым престолом, священник и диакон три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священнодействие Литургии, призывают Духа Святаго, ибо все служение их должно быть духовно. Дух – учитель и наставник молитвы: *о чесом бо помолимся, не вемы*, говорит апостол Павел⁶: *но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханьи неизглаголаннми*. Моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для служения, и священник, и диакон дважды произносят песнь, которою приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа: *Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение*. И вослед за сей песнью отдергивается церковная занавесь, которая отдергивается только

тогда, когда следует поднять мысль молящихся к высшим горным предметам. Здесь отъятие горних дверей знаменует, вслед за песней ангелов, что не всем было открыто Рождество Христово, что узнали о нем только ангелы на небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издалека прозревали о нем пророки. Священник и диакон произносят в себе: *Господи! отверзи уста мои – и уста мои возвестят хвалу Твою*. Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминает так о начинании Литургии: тремя перстами руки подымлет орарь свой и произносит: *Время сотворить Господу: благослови, владыко!* И благословляет его священник словами: *Благословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки веков*. И помышляя диакон о предстоящем ему служении, в котором должно подобиться ангельскому летанию, – от престола к народу и от народа к престолу, собирая всех в едину душу, и быть, так сказать, святой возбуждающе силою, и чувствуя недостойнство свое к такому служению, – молит смиренно иерея: *Помолись обо мне, владыко! – Да исправит Господь стопы твоя!* – ему отвечает на то иерей. *Помяни меня, владыко святой! – Да помянет тебя Господь во Царствии Своем, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков*. Тихо и ободренным гласом диакон произносит: *аминь*, и выходит из олтаря северной дверью к народу. И, взошед на амвон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе: *Господи, отверзи уста моя – и уста моя возвестят хвалу Тебе*; и, обратившись к олтарю, взывает еще раз к иерею: *Благослови, владыко!* Из глубины святилища возглашает на то иерей: *Благословенно Царство...* – и Литургия начинается.

Литургия оглашенных

Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных. Как первая часть, Проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, Его Рожденью, открытому только ангелам да немногим людям, Его младенчеству и пребыванию

в сокровенной неизвестности до времени появления в мир, — так вторая соответствует Его жизни в мире посреди людей, которых огласил Он словом истины. Называется она Литургией оглашенных еще потому, что в первоначальные времена христиан к ней допускались и те, которые только готовились быть христианами, еще не приняли св. Крещения и находились в числе оглашенных. Притом самый образ ее священнодействий, состоя из чтений пророков, Апостола и Святого Евангелия, есть уже преимущественно огласительный.

Иерей начинает Литургию возгласением из глубины олтаря: *Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа...* Так как чрез воплощение Сына стало миру очевидно ясно Таинство Троицы, то по этому самому троичное возгласение предшествует и предсией начинанью всяких действий, и молящийся, отрешившись от всего, должен с первого раза поставить себя в Царство Троицы.

Стоя на амвоне, лицом к царским вратам, изображая в себе ангела, побудителя людей к молениям, подняв тремя перстами десная руки узкое лентие, — подобие ангельского крыла, — диакон призывает молиться весь собравшийся народ теми же самыми молитвами, которыми неизменно от апостольских времен молится Церковь, начиная с моления о мире, без которого нельзя молиться. Собрание молящихся, знаменуясь крестом, стремясь обратить свои сердца в согласно настроенные струны органа, по которым должно ударять всякое воззвание диакона, восклицает мысленно вместе с хором поющих: *Господи, помилуй!*

Стоя на амвоне, держа молитвенный орарь, изображающий поднятое крыло ангела, стремящего людей к молитве, призывает диакон молиться: о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех; о святом храме и о входящих в него с верой, благоговением и страхом; о государе, синоде, начальствах духовных и гражданских, палатах¹, воинстве, о граде, об обители, в которой служится Литургия, о благорастворении воздухов, об обилии плодов земных, о временах мир-

ных; о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их; о избавлении нас от всякие скорби, гнева и нужды. И, собирая все сею всеобъемляющею цепью молений, называемою великой эктенией, на всякое ее отдельное призыванье, собрание молящихся восклицает вместе с хором поющих: *Господи, помилуй!*

В знаменованье бессилья наших молений, которым недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон, — вспоминая о тех, которые умели лучше нашего молиться, — предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. В желаньи искреннем предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу, как умели это сделать вместе с Богоматерью святые и лучшие нас, взывает вся церковь совокупно с ликом²: *Тебе, Господи!* Цепь молений завершает диакон троичным славословием, которое, как вседержущая нить, проходит сквозь всю Литургию, начиная и оканчивая всякое ее действие. Собрание молящихся отвечает утвердительно: *Аминь: Буди! да будет!* Диакон сходит с амвона; начинается пенье антифонов.

Антифоны — противугласники, песни, выбранные из псалмов, пророчески изображающие пришествие в мир Сына Божия, — поются попеременно обоими ликами на обоих крылосах; они заменили сокращенно прежние псаломские, более продолжительные.

Пока продолжается пенье первого антифона, священник молится в олтаре внутренней молитвой; а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя, подняв орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пенье первого антифона, восходит он снова на амвон призывать собрание молящихся словами: *Вновь и вновь Господу помолимся!* Собрание молящихся восклицает: *Господи, помилуй!* Обратив взоры к ликам святых, диакон напоминает вспомнить вновь Богоматерь и всех святых, предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь Христу Богу. Собрание восклицает: *Тебе, Господи!* Троичным славословием заключает он. Утвердительный *аминь* изглашает вся церковь. Следует пенье второго антифона.

В продолжение второго антифона³ священник в олтаре молится внутреннею молитвою. Диакон становится опять в молитвенном положении пред иконой Спасителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки; по окончании же пения восходит он снова на амвон и обращается к ликам святых, призывая, как прежде, словами: *В мире Господу помолимся!* Собрание восклицает: *Господи <помилуй!* Диакон взывает: *> Заступи, помилуй, спаси и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.* Собрание восклицает: *Господи, помилуй!* Возведя глаза к ликам святых, диакон продолжает: *Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувшие, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.* Собрание восклицает: *Тебе, Господи!* Троичным славословием оканчивается моление; утвердительным *аминь* отвечает вся церковь; диакон сходит с амвона. А священник в закрытом олтаре молится внутренней молитвой; она – в сих словах: *Ты, даровавший нам сии общие и согласные молитвы! Ты, обещавший двум и трем, собравшимся во имя Твое, подать прошения! исполни же теперь к полезному прошения рабов Твоих: подай в настоящем веке познание Твоей истины, а в будущем даруй вечную жизнь!*

С крылоса громко возглашаются во всеуслышанье блаженства⁴, возвестившие в настоящем веке познание истины, а в будущем вечную жизнь. Собрание молящихся, вызывая воззванием благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте⁵: *Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем,* повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя:

Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное – не гордящиеся, не возносящиеся умом.

Блаженны плачущие, яко тии утешатся – плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид, им наносимых.

Блаженны кроткие, яко тии наследят землю – не питающие гнева ни противу кого, всепрощающие, любящие, которых оружие – всепобеждающая кротость.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся — алчущие небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе.

Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут — состраждущие о каждом брате, в каждом просящем видящие Самого Христа, за него просящего.

Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят — как в чистом зеркале успокоенных вод, не возмущаемых ни песком, ни тиной, отражается чисто небесный свод, так и в зеркале чистого сердца, не возмущаемого страстями, уже нет ничего человеческого, и образ Божий в нем отражается один.

Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божи и нарекутся — подобно Самому Сыну Божию, сходявшему на землю затем, чтобы внести мир в наши души: так и вносящие мир и примиренье в дома — истинные Божьи сыны.

Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное — изгнанные за возвешенье правды не одними устами, но благоуханьем всей своей жизни.

Блаженны есте, егда поносят вас и изженут и рекут всяк зол глагол на вы, лжущи Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесах — многа, ибо заслуга их втроекратна: первая — что уже сами по себе они были невинны и чисты; вторая — что, быв чисты, были оклеветаны; третья — что, быв оклеветаны, радовались, что потерпели за Христа.

Собрание молящихся слезно повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя, возвестившия, кому можно ждать и надеяться на вечную жизнь в будущем веке, которые суть истинные цари мира, сонаследники и соучастники Небесного Царства.

Здесь торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селенье Божией славы и верховное училище, отколе исходит к нам познание истины и

возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу не царскими вратами, но позади олтаря боковой дверью, напоминающе дверь в той боковой комнате, из которой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения.

Собрание молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди: исходит Он тесной северной дверью, как бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во святилище царскими вратами. Служители Божьи посреди храма останавливаются; оба преклоняют главы. Иерей молится внутреннею молитвой, чтобы Установивший на небесах воинства ангелов и чины небесные в служенье славы Своей повелел теперь сим самым силам и ангелам небесным, сослужащим нам, совершить вместе с ними вшествие во святилище. А диакон, указывая молитвенным орарем на царские двери, говорит ему: *Благослови, владыко, святой вход!* – *Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!* – возглашает на это иерей. Дав поцеловать ему Святое Евангелие, диакон несет его в олтарь; но в царских вратах останавливается и, возвысив его в руках своих, возглашает: *Премудрость!* – знаменуя сим, что Слово Божье, Его Сын, Его Вечная Премудрость благовестила миру чрез Евангелие, которое он теперь возвысил в своих руках. И вслед за тем возглашает: *Прости!* то есть воспряньте, воздвигнитесь от лени, от небрежного стоянья. Собрание молящихся, воздвигаясь духом, вместе с хором взывает: *Приидите, поклонимся и припадем ко Христу! Спаси нас, Сыне Божий, Тебе поющих: Аллилуия!* В еврейском слове а л л и л у и я выражается: Господь идет, хвалите Господа; но так как, по существу священного языка, в слове и д е т сокрыто и настоящее и будущее, то есть: идет пришедший и вновь грядущий, то, знаменуя вечное хождение Божие, это слово а л л и л у и я сопутствует всякий раз тем священнодействиям, когда Сам Господь исходит к народу в образе Евангелия или Даров Святых.

Евангелие, возвестившее Слово Жизни, поставляется на престоле. На крылосах раздаются или песни в честь праздника того дня, или же хвалебные тропари и гимны в честь святому, которого день празднует Церковь за то, что он уподобился тем, которых поименовал Христос в прочитанных блаженствах, и что живым примером собственной жизни показал, как возлетать вослед за ним в жизнь вечную.

По окончании тропарей наступает время Трисвятого пения. Испросив на него у иерея благословения, диакон показывается в царских дверях и, проводя орарем, подает знак певцам. Торжественно-громогласно оглашает всю церковь Трисвятое пение, состоящее в сем тройном воззвании к Богу: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!* Воззванием: *Святый Боже* возвещает Трисвятая песнь Бога Отца; воззванием: *Святый Крепкий* – Бога Сына: Его крепость, Его создающее Слово; воззванием *Святый Бессмертный* – Его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Троекратно певцы поднимают сие пение, чтобы звучало вслух всем, что с вечным пребыванием Бога пребывало в Нем вечное пребывание Троицы, и не было времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слово Его оскудевал Дух Святый. *Словом Божьим небеса создашася, и духом уст Его вся сила их*, говорит пророк Давид. Каждый из собрания, сознавая, что и в нем, как в подобии Божьем, есть та же троичственность, есть Он Сам, Его Слово и Его Дух, или мысль, движущая словом, но что человеческое его слово бессильно, изливается праздно и не творит ничего, а дух его принадлежит не ему, завися от всех посторонних впечатлений и только по возвышении его самого к Богу то и другое приходит в нем в силу: в слове отражается Божье Слово, в духе – Дух Божий, и образ Троицы Создавшего отпечатлевается в создании, и создание становится подобным Создателю, – сознавая все сие, каждый, внемлющий Трисвятому пению, молится внутренно в себе, чтобы Бог Святый, Крепкий и Бессмертный, очистив его всего, избрал его Своим храмом и пребыванием, и три раза повторяет в себе: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!*

Священник в олтаре, молясь внутренней молитвой о принятии сего Трисвятого пения, три раза повергается перед престолом и три раза повторяет в себе: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный!* И, подобно ему, повторив в себе три раза ту же Трисвятую песнь, диакон три раза повергается вместе с ним перед святым престолом.

И сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место, как бы во глубину Боговедения, отколе истекла нам тайна Всесвятая Троицы, как бы в то возвышеннейшее, всюду носящее место, где Сын пребывает в лоне Отчем единством Духа Святаго. И восхождением своим изображает иерей восхождение Самого Христа вместе с плотью в лоно Отчее, призывающее человека вослед стремиться в лоно Отчее, – возрождение, прозреть издали пророком Даниилом, который видел в высоком видении своем, как Сын Человеческий дошел даже до Ветхого деньми. Иерей идет нетрепетной стопой, произнося: *Благословен грядый во имя Господне*, и на призванье диакона: *Благослови, владыко, горний престол*, благословляет его, произнося: *Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, седяй на херувимех, всегда, ныне, и присно, и во веки веков*. И садится на горнем месте возле седалища, назначенного для архиерея. Отселе, как Божий апостол и его наместник, обратясь лицом к народу, приготовляет он внимание к слушанию наступающего чтения апостольских посланий, – сидящий, изображая самим сиденьем своим свое равенство апостолам.

Чтец, с Апостолом в руке, выходит на середину храма. Воззванием: *в о н м е м!* призывает диакон всех предстоящих ко вниманию. Священник посылает из глубины олтаря и чтецу, и предстоящим желание мира; собрание молящихся ответствует священнику тем же. Но так как служенье его должно быть духовно, подобно служенью апостолов, которые глаголали не свои слова, но Сам Дух Святый двигал их устами, то не говорят: *мир тебе*, но: *духови твоему*. Диакон возглашает: *Премудрость!* Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всеми, начинает чтец, прилежно, сердцем приемлющим, душою ищущую, разумом, испытующим внутрен-

ний смысл читаемого, внемлет собрание, ибо чтение Апостола служит ступенью и лестницей к лучшему уразумлению чтения евангельского. Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему из олтаря: *мир тебе*. Лик отвечает: *и духови твоему*. Диакон возглашает: *Премудрость!* Лик гремит: *аллилуия*, возвещающее приближение Господа, идущего говорить народу устами Евангелия.

С кадильницей в руке идет диакон исполнить благоуханьем храм, навстречу идущего Господа, напоминая кажда́ньем о духовном очищении душ наших, с каким должны мы внимать благоуханным словам Евангелия. Священник в олтаре молится внутренней молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет Божественного благоразумия, и отверзлись бы наши мысленные очи в уразумение евангельских проповеданий. О воссиянии того же света в сердцах своих молится внутренне собрание, приготавливаясь к слушанию. Испросив благословения от иерея, получа от него в напутствие: *Бог молитвами всесвятаго, всехвальнаго апостола и евангелиста* (именуется его имя), *да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, Возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа*, диакон восходит на амвон, предшествуемый несомым светильником, знаменующим всепросвещающий свет Христов. Священник в олтаре возглашает к собранию: *Премудрость! Прости, услышим Святаго Евангелия! Мир всем!* Лик отвечает: *и духови твоему*. Диакон начинает чтение.

Благоговейно преклонив главы, как бы внимая Самому Христу, говорящему с амвона, все стараются принять сердцами семя Святого слова, которое устами служителя сеет Сам Сеятель Небесный, – не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути⁶, на которую хоть и упадают семена, но тут же бывают расхищены птицами – налетающими злыми помышлениями; – не теми также сердцами, которых уподобляет Он каменистой почве, только сверху прикрытой землею, которые хоть и охотно приемлют слово, но слово не водружает глубоко корня, ибо нет глубины сердечной; – и не теми также сердцами, которые уподобляет Он неочищенной земле, глу-

шимой тернием, на которой хоть дает семя всходы, но быстро вырастающие тут же вместе с ними терния, – терния трудов и забот века, терния обольщений, бесчисленные обаяния светской умерщвляющей жизни с ее обманчивыми удобствами, заглушают едва поднявшиеся всходы – и семя остается без плода; – но теми приемлющими сердцами, которых уподобляет Он доброй почве, дающей плод – ово сто, ово шестьдесят, ово тридесят, – которые все, принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают в домах, в семье, в службе, в труде, в отдохновеньях, в увеселеньях, с людьми в беседах и наедине с самим собою. Словом, всяк верный стремится быть тем, и слушающим и творящим вместе, которого обещает Спаситель уподобить мужу мудру, строящему храмину не на песке, но на камени, так что, если бы тут же, по выходе из церкви набежали на него дожди, реки и вихри всех бедствий, его духовная храмина осталась бы неподвижная, как твердыня на камени. По окончании чтеня священник в олтаре возвещает диакону: *Мир тебе благовествующему*. Приподымая главы, все предстоящие в чувствовании благодарности восклицают вместе с ликом: *Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!* Стоящий в царских дверях священник приемлет от диакона Евангелие и поставляет его на престол, как Слово, исшедшее от Бога и к Нему же возвратившееся. Олтарь, изображающий высшие горние селения, скрывается от глаз – врата царские затворяются, горняя дверь задергивается, знаменуя, что нет других дверей в Царство Небесное, кроме отверстых Христом, что с Ним только можно войти в них: *Аз есмь дверь*.

Тут обыкновенно в первоначальное время христиан было место проповеди; следовали изъяснения и толкованье прочитанных Евангелий. Но так как проповедь в нынешнее время говорится большею частию на другие тексты и, стало быть, не служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного порядка и связи священной Литургии, она отнесена к концу.

Изобразуя ангела, побудителя людей к молениям, диакон идет на амвон воздвигнуть собрание к молениям еще силь-

нейшим и прилежнейшим. *Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем!* – взывает он, подымля тремя перстами молитвенный орарь; и, стремя моления от всех помышлений, все восклицают: *Господи, помилуй!* Усугубля моления троекратным воззванием о помиловании, диакон призывает сызнова молиться о всех людях, находящихся на всех ступенях званий и должностей, начиная с высших, где трудней человеку, где ему больше преткновений и где ему нужней помощь от Бога. Каждый из соборья, зная, как много благоденствие многих зависит от того, когда высшие власти исполняют честно свои обязанности, молится сильно о том, чтобы Бог их вразумил, и наставил исполнять честно свое званье, и всякому подал бы силы пройти честно свое земное поприще. О сем молятся все прилежно, произнося уже не один раз: *Господи, помилуй!* – но три раза. Вся цепь этих молений называется сугубой эктенией, или эктенией прилежного моления, и священник в олтаре перед престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и самая молитва его называется молитвой прилежного моления.

И если в тот день случится какое-либо приношение об усопших, тогда вослед за сугубой эктенией возглашается эктения об усопших. Держа орарь тремя перстами руки, призывает диакон молиться об успокоении душ Божиих рабов, которых всех называет по именам, чтобы Бог простил им всякое преступление, вольное и невольное, чтобы водворил их души там, где праведные успокоаются. Тут всякий из предстоящих припоминает всех близких своему сердцу усопших и произносит в себе три раза на всякое воззвание диакона: *Господи, помилуй!* – молясь прилежно и о своих, и о всех почивших христианах. *Милости Божией,* – восклицает диакон: *Небесного Царствия и оставления грехов их у Христа, Бессмертного Царя и Бога нашего, просим!* Соборье взывает с хором поющих: *Поддай, Господи!* А священник молится в олтаре, чтобы Поправший смерть и Даровавший жизнь успокоил Сам души усопших рабов Своих в месте злачном, в месте покойном, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и, прося им в сердце своем

отпущения всех согрешений, возглашает громко: *Яко Ты еси воскресение, и жизнь, и покой усопших рабов Твоих, Христе, Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Утвердительно аминь* отвечает лик. Диакон начинает эктению об оглашенных.

Хотя и редко бывают теперь не принявшие святого Крещения и находящиеся в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой и делами от верных, удостоивавшихся соприсутствовать Трапезе Любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум слов Его, но не приводит их в исполнение, и еще холодно его верование, и нет огня всепрощающей любви к брату, поядающей душевную черствость, и что, крещенный водой во имя Христа, он не достигнул того возрождения в духе, без которого ничтожно его христианство, по слову Самого Спасителя: *кто не родится свыше, не внидет в Царствие Небесное*⁷, – соображая все сие, всякий из присутствующих сокрушенно поставляет себя в число оглашенных и на призванье диакона: *Помолитесь, оглашенные, Господу!* – от глубины сердца вызывает: *Господи, помилуй!*

Верные – вызывает диакон: *помолимся об оглашенных, чтобы Господь их помиловал, чтобы огласил их словом истины, чтобы открыл им Евангелие правды, чтобы соединил их Своей Святой Соборной и Апостольской Церкви, чтобы спас, помиловал, заступил и сохранил их Своею благодатью!*

И верные, чувствующие, как мало они стоят названия верных, молясь об оглашенных, молятся о самих себе, и на всякое отдельное призванье диакона восклицают внутренно вослед за поющим ликом: *Господи, помилуй!* Диакон вызывает: *Оглашенные, главы ваши Господу преклоните!* Все преклоняют свои главы, восклицая внутренно в сердцах: *Тебе, Господи!*

Священник втайне молится об оглашенных и о тех, которых смирение души поставило себя в ряды оглашенных. Молитва его в сих словах: *Господи Боже наш, живущий на*

*высоких, взирающий на смиренных, ниспославший спасенье человеческому роду – Своего Сына, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа! воззри на оглашенных рабов Твоих, подклонивших Тебе свои выи! Прибози их Церкви Твоей и сопричисли Твоему избранному стаду, чтобы и они славили вместе с нами пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Лик гремит аминь. А в на-
помянутое, что наступила минута, в которую древле выводились из церкви оглашенные, диакон возглашает громко: *Оглашенные, изыдите!* И вслед за тем, возвысив голос, возглашает в другой раз: *Оглашенные, изыдите!* И потом в третий раз: *Оглашенные, изыдите!* да никто от оглашенных, одни только верные, вновь и вновь Господу помолимся!*

От слов этих содрогаются все, чувствующие свое недостойнство. Взывая мысленно к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей⁸, обративших в торжище Его святыню, каждый предстоящий старается изгнать из храма души своей оглашенного, неготового присутствовать при святыне, и взывает к Самому Христу, чтобы воздвигнул в нем верного, причисленного к избранному стаду, о котором сказал Апостол: *Язык свят, люди обновления, камение, зиждущееся в храм духовен,* – причисленного к тем истинно верным, которые присутствовали при Литургии в первые века христиан, которых лики глядят теперь на него с иконостаса. И объемля их всех взорами, призывает их на помощь, как братьев, молящихся теперь на небесах, ибо предстоят священнейшие действия – начинается **Л и т у р г и я в е р н ы х**.

Литургия верных

В закрытом олтаре иерей распростирает на святом престоле антиминс, местопрестоліе, – плат с изображеньем Тела Спасителя, на котором должны быть поставлены приуготовленные им на Проскомидии Святой Хлеб и Чаша, исполненная вина и воды, и которые с бокового жертвенника перенесутся теперь торжественно в виду всех верных. Распростерши анти-

минс, напоминающий время гонения христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания и, не могши переносить с собою престола, стала употреблять сей плат с частицами мощей, и который остался как бы в возвешенье, что и ныне не прикрепляется она ни к какому исключительному зданию, городу или месту, но, как корабль, носится поверх волн сего мира, не водружая нигде своего якоря: ее якорь на небесах, — распростерши сей антиминс, он приступает к престолу так, как бы приступал к нему в первый раз и как бы только теперь готовился начинать настоящее служение: ибо в первоначальное время у христиан только теперь открывался престол, доселе остававшийся закрытым и занавешенным по причине присутствия оглашенных, и только теперь начинались настоящие моления верных. Еще в закрытом олтаре припадает он к престолу, и двумя молитвами верных молится он об очищении своем, о неосужденном предстоянии святому жертвеннику, об удостоении его приносить жертвы в чистом свидетельстве совести. А диакон, стоя на амвоне посреди церкви, изображая ангела, побудителя к молитвам, держа ораль тремя перстами, призывает всех верных к тем же молениям, какими началась Литургия оглашенных.

И так стараясь о приведении своих сердец в согласное настроение мира, теперь еще необходимейшего, все верные взывают: *Господи, помилуй!* и еще сильнее молятся о вышнем мире и о спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Божьих Церквей и соединении всех, о святом храме сем и о входящих в него с верою, благоговеньем и страхом Божиим, о том, чтобы избавиться от всякия скорби, гнева и нужды. И взывают еще сильнее в сердцах своих: *Господи, помилуй!*

Иерей из глубины олтаря возглашает: *Премудрость!*¹ — знаменуя сим, что Та же Самая Премудрость, Тот же Вечный Сын, исходивший в виде Евангелия сеять Слово, учившее жить, перенесется теперь в виде Святого Хлеба принестись в жертву за весь мир. Воздвигнутые сим напоминанием, все предстоящие устремляют мысли, приготавливаются к предстоящим священнейшим священнодействиям и служени-

ям. Иерей литургисающий втайне молится, припадая к престолу, сею возвышенной молитвой: *Никто из связавшихся чувственными пожеланьями² и наслаждениями недостойн приступать к Тебе, или приближаться, или служить Тебе, Царю Славы: ибо служенье Тебе велико и страшно и самим силам небесным. Но так как, по безмерному Своему человеколюбию, Ты непреложно и неизменно был человек, Сам был архиерей и Сам передал нам священнодействие сея служебных и бескровных жертвы, как Владыка всех, – ибо Ты один, Боже, владычествуешь и небесными, и земными, – носимый херувимски на престоле, Господь серафимов и Царь Израилев, Единый Свят и во святых почивающий, то молю Тебя, Единого Благого, воззри на меня, грешного и непотребного раба Твоего, очисти мою душу и сердце от совести лукавыя и удовли меня, облеченного благодатью священства, удовли меня силою Твоего Святаго Духа предстать Святой Твоей Трапезе и священнодействовать Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь! К Тебе же прихожу, преклоня мою выю, и молюсь Тебе: да не отвратишь лица Твоего от меня, ниже отринешь меня от отроков Твоих; но сподоби принестись Тебе, посредством меня недостойного, сим Дарам Твоим: ибо Ты еси и приносящий, и приносимый, и приемлющий, и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.*

Царские врата разверзаются на середине молитвы, так что иерей зрится еще молящийся с распростертыми руками. Диакон с кадильницею в руке исходит уготовить путь Царю всех, и, обильно распространяемым куреньем подъемля облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесется Носимый херувимами, напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадило пред Господом, – напоминает о том, чтобы все, будучи благоуханьем Христовым, по слову Апостола³, они вспомнили о том, что нужно им быть чистыми херувимами для поднятия Господа. А лики на обоих клиросах поднимают от лица всей церкви сию Херувимскую песнь: *Мы, тайно*

изобразующие херувимов и воспевающие Трисвятую песнь Животворящей Троице, отложим ныне всякое попечение, да Царя всех подыдем, невидимо копьеносимаго ангельскими чиньми.

Был у древних римлян обычай новоизбранного императора выносить к народу в сопровождении легионов войск на щите под осенением множества наклоненных над ним копий. Песню эту сложил сам император⁴, упавший в прах со всем своим земным величием пред величием Царя всех, копьеносимого херувимами и легионами небесных сил: в первоначальные времена сами императоры смиренно становились в ряды служителей при выносе Святого Хлеба.

Пенье сей песни устраивается ангельским, подобное тому, как в вышине пели незримые силы. Иерей и диакон, повторяя внутренно в себе ту же Херувимскую песнь, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась Проскомидия. Приступивши к Дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: *Возьми, владыко!* Иерей снимает воздух, и возлагает ему на левое плечо, и глаголет: *Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа.* Потом берет дискос с Агнцем и возлагает его на главу диакона; а сам берет Святую Чашу и, предходящему светильнику или лампаде, выходит боковой, или северной, дверью к народу. Если же служенье совершается собором, при множестве иереев и диаконов, то один несет дискос, другой – Чашу, третий – святую ложку⁵, которою приобщаются, четвертый – копье, прободшее Св. Тело. Все принадлежности выносятся, даже самая губка, которою собирались крупичицы Святого Хлеба на дискос и которая образует ту губу, омоченную в уксус и желчь, ею же напоили люди Творца своего. При пении Херувимской песни, подобясь небесным силам, выступает сей торжественный ход, называемый Великим Выходом⁶.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца, лежащего на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как бы копьями несчетных невидимых воинств и чиноначалий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами разбойника, завопившего к Нему на кресте: *Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Своем.* По-

среди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих Дары помянуть пред Господом имена всех христиан, начиная с тех, кому трудней и священней достались обязанности, от исполнения которых зависит счастье всех и собственное спасенье душ их, — заключая словами: *Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* Певцы оканчивают Херувимскую песнь троекратным пением: *А л л и л у и я*, возвещающим вечное хождение Господне. Ход вступает в царские врата. Впереди всех вшедший в олтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: *Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем.* Священник отвечает ему: *Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствие Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!* И поставляет Святую Чашу и Хлеб, представляющий Тело Христово, на престол, как бы на гроб. Врата царские затворяются, как бы двери Гроба Господня; занавесь над ними задерживается, как кустодия, поставленная на страже. Иерей снимает с главы диакона святой дискос, как бы он снимал Тело Спасителя со креста, поставляет его на расстланный антиминс как бы на плащаницу и сопровождает сие действие словми: *Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв, положи.* И вспоминая вездесущность Того, Кто теперь лежит пред ним во гробе, говорит в себе: *Во гробе Ты был плотски, во аде с душою, как Бог, в раю с разбойником и в то же время на престоле с Отцем и Духом, Христос, все Собою исполняй, неописанный!* И, вспоминая славу, в которую облекся сей гроб, говорит: *Как живоносец, как воистину краснейший рая и как светлейший всякаго царскаго чертога, явился нам Твой гроб, Христе, источник всякаго воскресенья.* И снявши покров от дискаса и от Чаши и воздух с плеча диакона, изображающий теперь уже не пелены, в которые повит был Иисус Младенец, но сударь и гробовые покровы, в которые повито было Его мертвое Тело, обкадив их фимиамом, покрывает он ими

снова дискос и Чашу, произнося: *Благообразный Иосиф, сняв со древа Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе новые закрыв, положи.* Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит Святые Дары, поклоняясь пред ними три раза, и, готовясь к предстоящему жертвоприношению, говорит в себе словами пророка Давида: *Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона⁶, и да созиждутся стены иерусалимская: тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твой тельцы:* ибо, пока Сам Бог не воздвигнет, не оградит душ наших иерусалимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах вознести Ему ни жертв, ни всесожжений, и не поднимется кверху пламень духовного моления, разносимый посторонними помышлениями, набегом страстей и выюгой возмущения душевного. Молясь об очищении своем для предстоящего жертвоприношения, отдавая кадильницу диакону, опустив фелонь и преклонив главу, говорит он ему: *Помяни меня, брат и сослужитель!* – *Да помянет Господь Бог твое священство во Царствии Своем!* – отвечает диакон и в свою очередь, помышляя о недостойнстве своем, преклоняет голову и, держа орарь в руке, говорит ему: *Помолись о мне, владыко святой!* Священник ему отвечает: *Дух Святой найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя. – Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего.* И, полный сознания своего недостойнства, диакон присовокупляет: *Помяни мя, владыко святой!* Священник ему: *Да помянет Тебя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* Диакон, произнеши: *аминь* и поцеловав ему руку, исходит боковой северной дверью призвать всех предстоящих к молитвам о перенесенных и постановленных на престол Святых Дарах.

Взшед на амвон, лицом к царским дверям, подняв орарь тремя перстами руки, в подобье поднятого крыла ангела, побудителя к молитве, возносит он цепь молений, уже непохожих на прежние. Начинаясь призыванием к молению о перенесенных на престол Дарах, они скоро переходят в те прошения, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу.

Дня всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим, – взывает диакон.

Собрание молящихся, соединяясь с хором поющих, взывает от сердца: *Подай, Господи!*

Ангела мирна, верна наставника хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Собрание: *Подай, Господи!*

Прощенья и оставленья грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Собрание: *Подай, Господи!*

Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Собрание: *Подай, Господи!*

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Собрание: *Подай, Господи!*

Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на Страшном Судилище Христове просим.

Собрание: *Подай, Господи!*

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

И в истинном желаньи подобно предать самих себя и друг друга Христу Богу, все восклицают: *Тебе, Господи!*

Эктения завершается возгласеньем: *Щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.*

Лик гремит: *Аминь.*

Олтарь все еще закрыт. Священник все еще не приступает к жертвоприношению: еще много долженствующего предшествовать Тайной Вечери. Из глубины олтаря посылает он приветствие Самого Спасителя: *Мир всем!*⁸ Ему ответ: *И духови твоему.* Стоя на амвоне, диакон, как было у первых

христиан, призывает всех ко взаимной любви словами: *Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедаем...* Окончание признания подхватывает лик поющих: *Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Единосушную и Нераздельную*, возвещающая, что, не полюбивши друг друга, нельзя полюбить Того, Кто весь – одна любовь, полная, совершенная, содержащая в Своей Троице и любящего, и любимого, и самое действие любви, которою любящий любит любимого: любящий – Бог Отец, любимый – Бог Сын и сама любовь, Их связующая, – Бог Дух Святой. Три раза поклоняется священник в олтаре, произнося в себе тайно: *Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь утверждение мое и прибежище мое*, и целует покрытые покровами святой дискос и Святую Чашу, целует край святой трапезы и, сколько бы ни случилось священников, с ним сослужащих, каждый делает то же, и потом все целуют друг друга. Главный говорит: *Христос посреди нас*. Ему отвечают: *И есть, и будет*. Диакон также, сколько бы их ни случилось, целует каждый вначале свой орарь в том месте, где на нем изображение креста, потом друг друга, произнося те же слова.

Прежде все предстоящие в церкви лобызали также друг друга, мужи – мужей, жены – жен, произнося: *Христос посреди нас*, и тут же отвечая: *и есть, и будет*; а потому и теперь всякий предстоящий, собирая мысленно пред собою всех христиан, не только присутствующих во храме, но и отсутствующих, не только близких к сердцу, но и далеких от сердца, спеша примириться с теми, против которых питал какую-нибудь нелюбовь, ненависть, неудовольствие, – всем им спешит дать мысленно лобзание, говоря внутренно: *Христос посреди нас* – и отвечая за них: *И есть, и будет*, – ибо без этого он будет мертв для всех следующих священнодействий, по слову Самого Христа: *Остави дар свой и иди прежде примири с своим братом⁹ и тогда принеси жертву Богу*, и в другом месте: *Аще кто речет: люблю Бога, а брата своего ненавижу¹⁰, ложь есть: ибо любяй брата своего, егоже виде, како может любить Бога, Егоже не виде?*

Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим, держа орарь тремя перстами, произносит диакон древнее возгласие: *Двери! Двери!* – древле обращаемое к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из язычников, имевших обыкновение нарушать христианские богослужения, не ворвался бы нагло и святотатственно в церковь, ныне же обращаемое к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец своих, где уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда враг любви, а двери уст и ушес отверзли бы к слышанию Символа Веры, во знаменование чего и отдергивает завеса над царскими дверями, или горнии двери, отверзающиеся только тогда, когда следует устремить внимание ума к таинствам высшим. А диакон призывает к слушанию словами: *Премудростию вонмем.* Певцы твердым мужественным пением, больше похожим на выговариванье, читают выразительно и громко: *Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.* И сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в мыслях у всех первое лицо Св. Троицы – Бог Отец, продолжают, возвышая голос: *И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечившася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки.* И сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в мыслях у всех третье лицо Св. Троицы – Бог Дух Святой, продолжает: *Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.*

Твердым, мужественным пением, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют певцы: твердо повторяет каждый вслед за ними слова Символа. Мужествуя сердцем и духом, иерей перед святым престолом, долженствующим изобразить Святую Трапезу, повторяет в себе Символ Веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе, колебля святой воздух над Св. Дарами.

И твердой стопой исходит диакон и возглашает: *Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносить*, то есть станем, как прилично человеку предстать перед Богом, с трепетом, со страхом и в то же время с мужественным дерзновением духа, славословящего Бога, с установившимся согласием мира в сердцах, без которого нельзя вознестись к Богу. И в ответ на призыв вся церковь, принося в жертву хваление уст и умягченное состояние сердец, повторяет вслед за хором певцов: *Милость мира, жертву хваления*. В первоначальной Церкви было в обычае приносить в это время елей, знаменующий всякое умягчение. Елей и милость в греческом языке тождественны.

Священник в олтаре снимает между тем воздух со Святых Даров, целует его и кладет на сторону, произнося: *Благодать Господа...* А диакон, взойдя в олтарь и взявши в руки веяло, или рипиду, веет ею благоговейно над Дарами.

Приступая к совершению Тайной Вечери, иерей посылает от олтаря к народу сие благовествующее возглашение: *Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами!* И ответствуют ему на то все: *и со духом твоим!* И олтарь, изображавший вертеп, теперь уже горница, в которой была уготована Вечеря. Престол, представляющий гроб, теперь уже трапеза, а не гроб. Напоминая о Спасителе, возведшем очи горе перед тем, как преподавать Божественную пищу ученикам, священник возглашает: *Горе имеем сердца!* И каждый из стоящих во храме помышляет о том, что имеет совершиться, — что в эту минуту Божественный Агнец идет за него заклаться, Божественная Кровь Самого Господа вливается в Чашу, в его очищение, и все

небесные силы, соединяясь с иереем, о нем молятся, — помышляя о том, стремя свое сердце от земли к Небу, от тьмы к свету, восклицает вослед за всеми: *Имамы ко Господу.*

Напоминая о Спасителе благодарившем, по возведении очей горе возглашает иерей: *Благодарим Господа.* Лик отвечает: *Достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосуцной и Нераздельной.* А священник молится втайне: *Достойно и праведно есть Тебя воспевать, Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты еси Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, такожде сый Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Ты от небытия в бытие нас привел еси и отпадшия вновь восстановил нас и не отступил еси, вся творя, дондеже на Небо нас возвел еси, и даровал нам Твое будущее Царство. О сих всех благодарим Тебя, и Единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, которых знаем и которых не знаем, о явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и о службе сей, которую из рук наших прияти изволил еси, хотя и предстоят Тебе тысячи архангелов, и тьмы ангелов, херувими и серафими шестокрылатые, многоочитые возвышающиеся пернатые, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоя!*

Эту победную Серафимскую песнь, которую слышали в святых виденьях своих пророки, подхватывает весь лик певцов, унося мысли молящихся к незримым небесам и заставляя их вместе с серафимами повторять: *Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,* и облетая вместе с серафимами престол Божественной славы. И так как в то же время вся церковь ожидает в эти минуты сошествия Самого Бога, грядущего принестись в жертву за всех, то к Серафимской песне, раздающейся в небесах, присоединяется песнь еврейских отроков, которою они встретили вшествие Его во Иерусалим, подстилая ветви по пути: *Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних.* Ибо Господь взойти готовится во храм, как в таинствен-

ный Иерусалим. Диакон продолжает веять веялом над Святыми Дарами, чтобы не могло упасть туда какое насекомое, изображая веяньем движение благодати; а священник продолжает молиться втайне: *С сими блаженными силами, Владыко Человеколюбче, и мы вопием и глаголем, Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако возлюбил еси, яко же Сына Твоего Единородного дати, да всяк, веруя в Него, не погибнет, но имать живот вечный, Который, пришед и все смотрение о нас исполнив, в ночь, в которую был предан, или, лучше, Сам Себя предал за жизнь мира, взявши хлеб в святых Своих, пречистых, непорочных руки, благодарив, благословив, освятив, преломив и давши святым своим ученикам и апостолам, сказал...* И громко возглашает иерей слова Спасителя: *Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.* И вся церковь вослед за ликом возглашает *аминь*. А диакон, держа ораль, указывает священнику на святой дискос, на котором положен Хлеб. Священник продолжает втайне: *Подобно и Чашу по вечере, глаголя...* – и также, по указанию диакона на Чашу, возглашает громко: *Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов.* И также громко возглашает вся церковь: *аминь*.

Священник продолжает молиться втайне: *И так воспомяная сию спасительную заповедь и все о нас бывшее: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное пришествие вновь* – и, произнеся это в себе, возглашает громко: *Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.* Отложив рипиду, диакон приподымает святой дискос и Святой Потир¹¹ – олтарь уже не горница Тайных Вечери, престол не трапеза: он уже теперь жертвенник, на котором приносится страшная жертва за весь мир – Голгофа, на которой совершилось закленье Божественной Жертвы. Эта минута есть минута и жертвоприношения, и напominанья всякому о жертве Творцу. Поклоненье отдается нами и земным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и

людям, но жертву – единому Творцу. Она не прекращалась от самого создания мира и, в каком бы виде ни приносилась, требовалась не самая жертва, но дух сокрушен, с которым она приносилась. Поэтому, всякий из предстоящих, вспомни, что в эту минуту священник, презрев все должное, оставивши все помыслы, все мысли о земном, подобно как Авраам, который, когда восходил на горы принести жертву, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, взявши с собой только дрова горького исповеданья прегрешений своих и сжегши их огнем раскаянья душевного, огнем и мечом духа и заколовши в себе всякое желанье земных стяжаний и блага земного. Но что пред Богом все наши жертвы, когда Он гласит устами пророка: *яко порт нечист вся дела ваша?*¹² В глубоком сознании, что нет Богу на земле ничего достойного жертвы, каждый из предстоящих обращается мысленно к той же Чаше, которую в олтаре подымлет служитель олтаря, и восклицает во глубине сердца своего: *Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.* Лик поет: *Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш!*

И наступает верховнейшая минута всей Литургии: пресуществление. В олтаре происходит троекратное призванье Святаго Духа на Святые Дары, – Того Самого Святаго Духа, Которым совершилось воплощение Христово от Девы, Его смерть, Воскресенье и без Которого не может пресуществиться хлеб и вино в Тело и Кровь Христову.

Упав ниц перед св. престолом, священник и диакон творят троекратно земные поклоны, произнося в себе: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся.* И каждый вослед за сим призываньем произносит в себе стих: *Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.* И во второй раз то же призвание: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся;* вслед за тем стих: *Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.* И в тре-

тий раз призвание: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Своим ниспославый, Того, Благий, Не отыми от нас, но обнови нас молящихся.* Подклонив главу, диакон указывает орарем на Святой Хлеб, произнося в себе: *Благослови, владыко, Святый Хлеб;* и знаменует его трижды иерей, глаголя: *И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего.* Диакон произносит: *аминь.* И Хлеб уже есть самое Тело Христа. И так же безмолвно указывает диакон орарем на Святую Чашу, произнося в себе: *Благослови, владыко, Святую Чашу.* И, благословляя, глаголет священник: *А еже в Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего.* Диакон произносит: *аминь* и, указав на обоя святая, глаголет: *Благослови, владыко, обоя.* Благословив, произносит священник: *Преложив Духом Твоим Святым;* троекратно произносит диакон: *аминь* – и на престоле уже Тело и Кровь: пресуществление совершилось! Словом вызвано Вечное Слово. Иерей, имея глагол наместо меча, совершил закланье. Кто бы он ни был сам, – Петр или Иван, – но в его лице Сам Вечный Архиерей совершил сие закланье, и вечно свершает Он его в лице Своих иереев, как по слову: *да будет свет,* свет сияет вечно; как по слову: *да произрастит земля былие травное,* произращает его вечно земля. На престоле – не образ, не вид, но самое Тело Господне, – то самое Тело, которое страдало на земле, терпело заушенья, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца. Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку, и что Сам Господь сказал: *Аз есмь хлеб.*

Церковный звон подымается с колокольной возвестить всем о великой минуте, чтобы человек, где бы он в это время ни находился – в пути ли, в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в доме своем, или занят другим делом, или томится на одре болезни, или в тюремных стенах – словом, где бы он ни был, чтобы он мог отовсюду вознести моление и от себя в эту страшную минуту. Все повергается ниц в виду Тела и Крови Господней, взывая ко Господу словами разбойника: *Помяни мя, Господи, во царствии Твоем!*

Подклонив главу священнику, диакон произносит: *Помяни мя, святой владыко!* Ему отвечает священник: *Помянет тебя Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* И приступает священник к поминанию всех пред лицом Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствующую, в том виде и порядке, как воспоминались все на Проскомидии, начиная с Богопресвятой, Пречистой Матери Господа, Которую тут же вся церковь ублажает, вместе с ликом, хвалебною песнью, как Предстательницу за весь род человеческий, как единственную удостоившуюся, за высокое смирение свое, понести в себе Бога, – чтобы каждый в эту минуту слышал, что высшая добродетель – смирение, и в сердце смиренного воплощается Бог. И вослед за Божиею Материю вспоминаются пророки, Апостолы, отцы Церкви в том же порядке, как изнимались за них части на Проскомидии; потом – все усопшие, которых помянник читает диакон, потом живущие, начиная с тех, на которых возложены важнейшие обязанности и высшие, с право правящих слово истины духовных и светских чинов, от государя: да пособит ему Господь на трудном его поприще во всяком деле общего добра, и да в союзном стремлении ко благу отвечает ему весь государственный корабль управления, палата власти, воинства, исполняя честно долг, *да и мы, в тишине их, тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.* И о всех предстоящих христианах до единого молится в это время иерей, чтобы Милостивый на всех излил Свои милости, сокровица их исполнил блага, супружества их соблюл бы в единомыслии и мире, младенцев воспитал бы, юность наставил, старость поддержал, малодушных утешил, расточенных собрал, прельщенных обратил и совокупил Святой Своей Соборной и Апостольской Церкви. И обо всех до последнего христианина в это время молится смиренно иерей, где бы такой христианин ни находился – в пути ли он, в дороге, в плавании, путешествии, страдает ли в недуге, томится ли в заточеньи, в рудах¹³ и пропастях земли. Обо всех до единого молится в это время вся церковь, и каждый из предстоящих, сверх этого общего моления обо всех, молится еще о всех сво-

их, близких своему сердцу, всех их поименовывая пред лицом Тела и Крови Господней. И возглашает громко священник из олтаря: *И даждь нам едиными усты и единым сердцем славить и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков.* Утвердительным *аминь* отвечает церковь. Священник возглашает: *И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами!* Ему отвечают: *и со духом твоим.* И сим оканчиваются моления о всех, составляющих Церковь Христову, совершаемые перед лицом самого Тела и самой Крови Христовой.

Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых Дарах, уже принесенных Богу и пресуществленных, да не в суд и в осуждение обратятся. Подъяв орарь тремя перстами десныя руки своей, так восперяет он всех к молитве: *Вся святая помянувшие, вновь и вновь миром Господу помолимся!* И воспевает лик: *Господи, помилуй!* – *О принесенных и освященных Честных Дарах Господу помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй!* – *Яко да Человеколюбец Бог наш, взывает диакон: приав их во святой превышенебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, вознисполет нам Божественную благодать и дар Духа Святаго, помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй!* – *О избавлении нас от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.* И воспевает лик: *Господи, помилуй!* – *Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!* И взывает лик: *Господи, помилуй!* – *Дня всего совершеннаго, всего святаго, мирнаго, безгрешнаго у Господа просим.* И воспевает лик: *Поддай, Господи!* – *Ангела мирнаго, вернаго наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.* И воспевает лик: *Поддай, Господи!* – *Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.* И воспевает лик: *Поддай, Господи!* – *Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим.* И воспевает лик: *Поддай, Господи!* – *Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.* И воспевает лик: *Поддай, Господи!* – *Христианския кончины живота нашего безболезненной, не-*

постыдной, мирной и доброго ответа на Страшном Судилище Христовом просим! И воспевают лик: Подай, Господи! И произносит диакон, уже не призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу: Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И воспевают все в полной и совершенной преданности: Тебе, Господи!

Священник же наместо троичного славословия возглашает: *И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно сметь призывать Тебя, Небеснаго Бога Отца, и глаголати. И все верные в эту минуту не как рабы, исполненные страха, но как дети, как чистые младенцы, доведенные самими молениями и всею службою и постепенным ходом ее святых обрядов до того небесно-умиленного, ангельского состоянья души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежнейшим отцом, произносят сию молитву Господню: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.*

Все обняла собою сия молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Прошением: *да святится имя Твое*, просится первое, о чем прежде всего мы должны просить: где святится Божье имя, там всем хорошо, там, значит, все в любви живут, ибо любовью только святится имя Божие. Словами *да придет Царствие Твое*, вызывается Царство правды на землю, ибо без прихода Божья не быть правде: ибо Бог есть правда. К словам: *да будет воля Твоя* – приводит человека и вера, и разум: чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше Самого Творца знает, что нужно Его творению? Кому же ввериться, как не Тому, Который весь есть благотворящее благо и совершенство? Словом: *даждь нам хлеб наш насущный*, просим мы всего, что нужно для дневного существования нашего, хлеб же наш есть Божья Премудрость, есть Сам Христос. Он Сам сказал: *Аз есмь хлеб, и ядый Меня не умрет*. Словом: *остави нам*

долги наша, мы просим и о снятии с нас всех тяжких грехов наших, на нас тяготеющих, – просим прощенья нам всего того, чем задолжали мы Самому Творцу в лице братьев наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надрывающим всю душу воплем, умоляя о милости и милосердии. Словом: *не введи нас во искушение* мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом: *но избави нас от лукавого* мы просим о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах.

Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которою молиться научила нас Сама Премудрость Божия, и кому же молиться? молиться Отцу Премудрости, породившему Премудрость Свою прежде веков. Так как все предстоящие должны повторять в себе молитву сию не устами, но самой чистой невинностью младенческого сердца, то и самое пенье ее на ликах должно быть младенческое: не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенческими, как бы лобзающими самую душу, должна воспеваться сия молитва, да весеннее дыхание самих небес в ней слышится, да лобзание самих ангелов в ней носится, ибо в молитве этой уже не называем мы и Богом Того, Кто сотворил нас, а говорим Ему просто: *Отче наш!*

Иерей приветствует из глубины олтаря как бы приветствием Спасителя: *Мир всем!* Ему отвечают: *И духови твоему!* Напоминая о сердечном внутреннем исповедании, которое должен всякий совершить внутри самого себя в сию минуту, диакон взывает: *Главы ваши Господеви приклоните!* И, преклонив главы свои, все до единого из предстоящих произносят в себе почти такую молитву: *Тебе, Господи Боже мой, преклоняю главу и во исповедании сердечно вопию: Грешен, Господи, и недостойн просить у Тебя прощенья, но Ты, как Человеколюбец, так же ни за что, как блудного сына, меня помилуй, как мытаря, меня оправдай, и удостой меня, как разбойника, Твоего Небесного Царства.* И когда все таким образом, пре-

клонив главы свои, пребывают в внутреннем сокрушении сердечном, иерей молится у олтаря за всех такими, внутри самого себя произносимыми словами: *Благодарим Тебя, Царю невидимый, Иже неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоя от небытия в бытие вся привел еси, Сам, Владыко, с небес призри на преклонивших Тебе главы своя, ибо подклонили они их не плоти и крови, но Тебе, Страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что предлежит нам, изравняй во благо нам, каждому по потребности его: плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия исцели, Врачу душ и телес!* И возглашает вслед за тем великолепное троичное славословие, обращенное к небесной милости Божией: *Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единородного Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков!* Лик возглашает: *аминь*. А священник, приуготовляя к приобщению себя самого и всех потом Тела и Крови Христовой, молится такою тайною молитвою: *Вонми, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, от святого жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего! Прииди освятить нас, горе с Отцем сидящий и здесь невидимо нам спребывающий, и сподоби державной рукой Твоей преподать нам священникам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь Твою, а нами всем Твоим людям.*

Во время глаголания сей молитвы диакон готовится к причащению: становится перед царскими вратами, опоясуя себя орарем и складывая его крестовидно на себе в подобье ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и закрывающих ими лица свои перед неприступным светом Божества. Поклоняясь три раза, так же как и священник, произносит он три раза в себе: *Боже, очисти меня грешного и помилуй меня!* Когда же священник прострет руки свои к святому дискосу, воздвигающим словом *вонмем* напоминает он всем во храме устремлению мысли на происходящее. Олтарь сокрывается от глаз народа, завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих иереев. Один только голос иерея, подъемлющего святой дискос: *Святая святым*, раздается из олтаря. Содро-

гаясь от сего возвещения, говорящего, что нужно быть святым для принятия святости, весь молящийся храм отвечает ему: *Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца*, и воспевае вслед за тем хвалебный гимн святому, его же день, в возвещенье, что можно быть святу человеку, так же как стал свят святой, которому гимн поется: стал свят он не своей святостью, но святостью Самого Христа. Пребыванием во Христе святится человек и в такие минуты пребывания свят, как Сам Христос, подобно как железо, когда пребывает в огне, становится и само огонь и потухает вмиг, как только изымается из огня, и становится вновь темным железом.

Священник раздробляет теперь Святой Хлеб, сначала по знаку, начертанному на Проскомидии, на четыре части, с благоговением произнося: *раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но освящаяй причащающиеся*. И сохранив одну из сих частей для приобщения себя и диакона Святого Тела в виде, не соединенном еще с Кровию, дробит потом части хлеба по числу приобщающихся, но не дробится в сем дроблении самое Тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа нераздельная и всецелая, как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в самом малейшем куске. Как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же единство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей его слышали¹⁴. Но в Чашу не погружаются все те части, которые были вынуты на Проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе: только частями, составляющими Тело и Кровь Господню, приобщается Церковь. В первоначальные времена Церкви причащались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни иереи, и каждый, приемля в руки Тело Господа, испивал потом сам из Чаши. Но когда, – бесчинством невежественных ново-

обращенных христиан, ставших только по имени христианами, – начали уносить Святые Дары в дома свои, употребляя их в суеверия и колдовства, или же бесчинно обращаться с ними тут же во храме, толкая друг друга, производя шум и даже проливая Святые Дары, когда нашлись в необходимости отцы многих Церквей отменить вовсе приобщение Крови для всего народа, заменив его хлебным знаком облатки, как сделала то у себя католическая Западная Церковь, – тогда святой Иоанн Златоуст, чтобы не случилось и в Церкви Восточной того, установил преподавать народу Кровь и Тело не порознь, но в соединенном виде, и не давать ему ни того, ни другого в собственные руки, но преподавать святой ложкой, имеющей образ тех клещей, которыми огненный серафим прикоснулся устам пророка Исаии, дабы напомнить всем, какого рода то прикосновение, которое готово прикоснуться к устам, дабы увидел ясно всяк, что сей святой ложкой держит иерей тот горящий уголь, который схватил таинственными клещами серафим от самого жертвенника Божия, дабы единым только прикосновением его к устам пророка отъять от него все грехи его. Тот же самый Златоуст, чтобы удалить с тем вместе всякую мысль о том, что сие соединение Тела и Крови воедино и вместе делается произвольно иереем, ввел в минуту самого соединения их вместе влитием теплой воды в сосуд, знаменующее теплотворную благодать Духа Святаго, изливаемую в разрешение такого соединения, почему и произносится при этом диаконом: *Теплота веры, исполнь Духа Святаго*. А на самое влитие теплоты призывается благословение Того же Духа Святаго, чтобы ничто не совершилось при этом без благословенья Самого Господа, чтобы в то же время и теплота послужила подобием теплоте Крови, давая самим вкушением ее чувствовать всякому, что не от мертвого тела, из которого не истекает теплая кровь, но от Живого, Животворящего и Животворного Тела Господня он ее приемлет, чтобы и здесь он слышал возвешенье того, что и от мертвого Тела Господня не отступила Божественная Душа, и было действ Духа оно полно, и Божество с ним не разлучалось.

Приобща вначале себя, потом диакона, служитель Христов предстоит новым человеком, как очищенный святынею приобщения от всех своих прегрешений, как святой истинно в эту минуту и как достойный приобщать других.

Врата царские разверзнутся, <возвещая разверзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру>; диакон возносит торжественный глас: *со страхом Божиим и верою приступите!* <В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении сих слов, изображается исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с Собою в дом Отца Своего.> И всем предстоит преображенный серафим с Святой Чашей в руках – иерей, во святых вратах стоящий. <Громом торжественного песнопенья гремит весь лик в ответ диакону: *Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явился нам!* И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь.>¹⁵

Горя желанием Бога, сгорая любовным пламенем к Нему, сложив руки крестом на груди своей, один за другим подступают к нему приобщающиеся и, преклоня главу, повторяет всяк в себе сие исповедание Распятого:

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко Сие самое есть Пречистое Тело Твое и Сия есть самая Честная Кровь Твоя, молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститься Пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. И оставившись на одно мгновение, дабы объять мыслию значение того, к чему приступает, продолжает глубиной сердца своего повторять последующие слова:

Вечери Твоя Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника меня прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, исповедую Тя: помяни меня,

Господи, во Царствии Твоем. И совершив один миг благоговейного молчания в себе, продолжает: Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела.

И прочитав сие исповедание, уже не так, как к иерею, но как к самому огненному серафиму, приступает каждый, готовясь раскрытыми устами принять с святой ложки тот огнепальный уголь святого Тела и Крови Господа, который долженствует в нем попалить, как тленный хворост, весь черный дрязг его прегрешений, изгнав вечную ночь из души его, превратив его самого в просветленного серафима. И когда, подъяв святую ложку над устами его и упомянувши его, произнесет иерей: *Причащается раб Божий Честныя и Святыя Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную*, приемлет он Тело и Кровь Господа, и в них приемлет минуту свиданья с Богом, становясь лицом к лицу к Нему Самому. В минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает Тот, Кто есть начало вечности. Прияв в Теле и Крови сию великую минуту, исполненный святого ужаса, стоит приобшившийся; святым воздухом осушаются уста его при повторении серафимских слов пророку Исаие: *Се прикоснуся устам твоим*¹⁶, *и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит*. Сам святой, возвращается он от Святой Чаши, поклоняясь святым, их приветствуя, и поклоняясь всем предстоящим, как ближайшим в несколько раз своему сердцу, чем дотоле, как связавшихся теперь с ним узами святого, небесного родства, и становится потом на свое место, исполненный той мысли, что принял в Себя Самого Христа и что Христос в нем, что Христос сошел Своею плотью, как во гроб, к нему в утробу, дабы, проникнув потом в тайное хранилище сердца, воскреснуть в духе его, совершая в нем самом и погребенье, и Воскресенье Свое. Сияет светом сего духовного Воскресенья вся церковь, и воспевают певцы сии ликующие песни¹⁷:

Воскресение Христово видевшие, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему поклоня-

емся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертью смерть разруши. И подобно ангелам, соединяющимся в это время:

Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе; Ты же Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. О Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися, в неведении дни Царствия Твоего!

В продолжение же того, как воскресными песнями оглашается ликующая церковь, священник в закрытом олтаре, поставив Святую Чашу на святую трапезу, которая так же, как и дискос, покрывается вновь покрывами, произносит благодарственную молитву Самому благодетелю душ Господу за удостоверение приобщиться небесных и бессмертных Его Таинств и заключает ее прошением, да исправит путь наш, утвердит нас всех в священном страхе к нему, соблюдет житие наше и соделает твердыми стопы наши¹⁸.

Священник, благословив предстоящих словами: *Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое*, – ибо предполагает, что все по чистоте в эту минуту обратились в собственное достояние Божие, – устремляется мыслью к вознесению Господню, которым завершилось его пребывание на земле: становится вместе с диаконом пред святым престолом, и, поклоняясь, кадит он в последний раз, и кадя, произносит в себе: *Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя*, между тем как лик восторгающим песнопением и звуками, сияющими весельем духовным, стремится просветленные души всех предстоящих к произнесению вослед за ним сих слов самой радости духовной: *Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельной Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть.*

Диакон показывается в святых дверях с святым диском на главе, не произнося ни одного слова: безмолвным воззрением своим на все собрание и уходом знаменует удаление от нас и вознесение Господне. Вослед за диаконом показывается в святых дверях иерей с Святою Чашею и возвещает пребывание с нами до скончания веков вознесшегося Господа словами: *Всегда, ныне, и присно, и во веки веков*, после чего и Чаша, и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась Проскомидия, который изображает теперь уже не вертеп, видевший Рождение Христово, но то верховное место славы, где совершился возврат Сына в лоно Отчее.

Здесь вся церковь, предводимая поющим ликом, соединяется в одно торжественно-благодарное пение душ своих; и сии суть слова ее восхваления: *Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститься Святым Твоим Божественным, Бессмертным и Животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей!* И воспевают троекратно вослед за тем хор певцов воздвигающее слово: *аллилуия*, говорящее им непрестанное хождение и всюду пребывание Божие. Диакон же восходит на амвон воздвигнуть в последний раз предстоящих к молениям благодарственным. Подъяв орарь тремя перстами руки своей, говорит он: *Прости, приими Божественных, Святых, Пречистых, Бессмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа*. И благодаря сердцами, воспевают все тихо: *Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!* – вызывает в последний раз диакон. И воспевают все: *Господи, помилуй!* – *День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивши, сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим*. И с покорностью кроткой младенца, в небесной доверенности к Богу, все восклицают: *Тебе, Господи!* А священник, складывая в это время антиминс и, с Евангелием в руках, ознаменовав <крест>, возглашает Троичное славословие¹⁹, которое, озаряв доселе, подобно всеозаряющему маяку, весь путь богослужения, и теперь вспыхивает

еще сильнейшим светом в просветившихся душах; и такое на сей раз обращение Троичного славословия: *Яко ты еси освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.*

Затем священник приступает к боковому жертвеннику, на котором постановлены Чаша и дискос. Все те частицы, которые оставались доселе на дискосе и были вынуты на Проскомидии в воспоминание святых, в упокой усопших и в душевное здравие живущих, теперь погружены во Святую Чашу и в сем действии их погружения приобщается Телу и Крови Христовой вся Церковь Его – и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах: Богоматерь, пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, за которых были вынуты части, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту минуту Телу и Крови Христовой. И священник, предстоя в такую минуту пред Богом, как представитель всей Его Церкви, испивает из Чаши сие причащение всех и, приемля в себя приобщение всех, молится о всех, да омыются грехи их, ибо за искупление всех принесена жертва Христом как за тех, которые жили до Его пришествия, так и за тех, которые жили по пришествии Его. И как бы ни была грешна молитва его, но священник возносит ее за всех, даже за самых святейших, ибо, как сказал Златоуст, общее предлежит очищение вселенных²⁰.

Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву; высокое значение такой молитвы и ее строгая надобность узнались не мудрецами мира и не совопросниками века, но теми верховными людьми, которые высоким духовным совершенством и небесно-ангельской жизнью дошли до познания глубочайших душевных тайн и видели уже ясно, что разлуки нет между живущими в Боге, что минутной тленностью нашего тела не прекращаются сношения, и что любовь, завязанная на земле, приходит в большую меру на небесах, как на родине своей, и брат, отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви. И все, что ни истекает из Христа, то вечно, как вечен Сам источник, из которого оно истекает.

Слышали также они высшими органами чувств своих, что и на небесах торжествующая Церковь долженствует молиться и молится также о странствующих на земле братьях своих; слышали они, что Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслаждение молиться, ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не делая участником в самом совершении и в самом благодеянии Своем Свое творение, да насладится оно высоким блаженством благотворения: несет ангел Его повеление и утопает в блаженстве уже оттого, что несет Его повеление. Молится на небесах святой о братьях своих на земле, и утопает в блаженстве уже оттого, что молится. И все соучаствует с Богом во всех высочайших Его наслаждениях и блаженствах: миллионы совершеннейших творений исходят из рук Божиих, дабы участвовать в высших и высших блаженствах, и нет им конца, как нет конца Божиим блаженствам. Испив из Чаши приобщение всех²¹ с Богом, иерей выносит народу те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы, и сим сохраняет высокий древний образ Трапезы Любви, исполнявшийся христианами первых времен. Хотя и не накрывается теперь для этого стол, по причине того, что невежественными христианами, безумным буйством их ликований, словами раздора, а не любви, давно была опозорена святыня этого трогательного небесного пиршества в самом доме Божием, на котором все пировавшие были святы, как одна душа были души их, и, чистые младенцы сердцем, вели они такую беседу, как бы у Самого Бога были на небесах; хотя сами Церкви увидели строгую надобность уничтожить это, и самое воспоминанье об этой трапезе исчезнуло во многих Церквях; но, несмотря на то, одна Восточная Церковь не могла решиться на уничтожение вовсе такого обряда, и в задаче Святого Хлеба²² посреди церкви всему народу совершает ту же Святую Трапезу Любви²³. А потому всяк приемлющий просфору и приемлет ее, как хлеб от того пиршества, за которым Сам Хозяин мира беседовал с людьми своими, а потому вкушал бы благоговейно, представляя себя окруженного всеми людьми, как нежнейшими братьями своими, и так же, как

было в обычае первоначальной Церкви, вкушает его прежде всякой другой пищи, или относит в дом свой домашним, или же отправляет больным, неимущим и тем, которые почему-нибудь не могли быть на то время в церкви.

Раздав Святой Хлеб, священник творит отпуст Литургии и благословляет весь народ словами: *Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, молитвами отца нашего архиепископа Иоанна Златоуста* (если Литургия Златоуста идет день в день), *молитвами святого* (и называет по имени святого, его же день) *и всех святых помилует и спасет нас яко Благ и Человеколюбец*. Народ, знаменуясь крестом и поклоняясь, расходится при громком пении лика, многолетствующего императора.

Священник в олтаре совлекается от одеяний своих, произнося: *Ныне отпущаеши раба Твоего*²⁴, и сопровождая разоблачение хвалебными тропарями, гимнами отцу и святителю церковному, которого служилась Литургия, и той Пречистой Святой Деве, в Которой совершилось вочеловечение Того, Кому служилась вся Литургия. Диакон в это время потребляет все оставшееся в Чаше и потом, налив в нее вина и воды и всполоснув внутренние стены ее, испивает, осушив тщательно губкой, дабы ничто не оставалось, слагает святые сосуды вместе, покрыв и обвязав их, и подобно священнику, говорит: *Ныне отпущаеши раба Твоего*, повторяя те же песни и молитвы. И оба выходят, наконец, из храма, неся сияющую свежесть в лице, радость ликующую в духе, благодаренье Господу на устах своих.

Заключение

Действие Божественной Литургии над душою велико: зримо и воочью совершается, в виду всего света, и скрыто. И если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призыванию диакона, – душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. По

выходе из храма, где он присутствовал при Божественной Трапезе Любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное течение своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было <звании>, сохраняет невольно в душе своей высокое начертанье любовного обращения с людьми, принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становится милостивей и любовней с подчиненным. Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинется, как Самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его более чем когда-либо располагается помогать, чувствует он больше наслаждения, с любовью дает он неимущему. Если он неимущий, он благодарно принимает малейшее даяние: растроганное сердце его теряется в благодарности, и никогда с такой признательностью не молится он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхождении с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках.

А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовью, при Священной Трапезе Любви. И если он чувствует, что недостойн принимать в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, как приобщаются другие, чтобы незаметно, нечувствительно становиться совершеннее с каждой неделей.

Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное.

Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно не одним и тем же

языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего.

Но если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершателя, или иерея. Если только он благоговейно совершал ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист, подобно сосудам, которые уже ни на что потом... пребывает ли он весь тот день в отправлении своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, – Сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос; и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на примиренье между собой враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного, или утешать скорбящего, или к терпению угнетенного, или... – слова его приобретут силу врачующего еля и будут на всяком месте словами мира и любви.

МОЛИТВЫ, ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ, ПРЕДСМЕРТНЫЕ ЗАПИСИ

На 1846 <год>

Господи, благослови на сей грядущий год! Обрати его весь в плод и в труд многотворный и благотворный, весь на служенье Тебе, весь на спасенье душ. Буди милостив и разреши руки и разум, осенив его светом высшим Твоим и прозрением пророческим великих чудес Твоих. Да Святый Дух снидет на меня и двигнет устами моими и да освятит во мне все, испепелив и уничтожив греховность и нечистоту и гнусность мою и обратив меня в святой и чистый храм, достойный, Господи, Твоего пребывания. Боже! Боже! не отлучайся от меня! Боже! Боже! вспомни древнюю любовь. Боже! благослови и

дай могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя, и возвести всех к хваленью святого имени Твоего.

Влеки меня к Себе, Боже мой, силою святой любви Твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня; соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир, да свершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя единого представляя день и ночь перед мысленные мои очи. Сделай, да пребуду в нем в мире, да обесчувствует душа моя ко всему, кроме единого Тебя, да обезответствует сердце мое к житейским скорбям и бурям, их же воздвигает сатана на возмущение духа моего, да не возложу моей надежды ни на кого из живущих на земле, но на Тебя единого, Владыко и Господин мой! Верю бо, яко ты един в силах поднять меня; верю, яко и сие самое дело рук моих, над ним же работаю ныне, не от моего произволения, но от святой воли Твоей. Ты поселил во мне и первую мысль о нем; Ты и возрастил ее, возрадивши и меня самого для нее; Ты же дал силы привести к концу Тобой внушенное дело, строя все спасенье мое: насылая скорби на умягченья сердца моего, воздвигая гоненья на частые прибеганья к Тебе и на получение сильнейшей любви к Тебе, ею же да воспламеняет и возгорится отныне вся душа моя, славя ежеминутно святое имя Твое, прославляемое всегда ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Боже, благослови!

Да появится в настоящем году созрелый и полный плод!

Господи, дай мне помнить вечно мое... мое неведение, мое незнание, недостаток образования моего, да не выведу ни о ком и ни о чем неосмотрительного мнения. (Никого не судить, и сторониться выводить мнение. Да помню ежеминутно слова Апостола Твоего. Не все да будет.)

Боже, содейлай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным, а возврат на родину счастливым и благополучным!

Преклони сердца людей к доставленью ему покровительства (повсюду, где будет проходить он); восстанови тишину морей и укроти бурное дыхание ветров!

Тишину же души его исполни, благодатных мыслей во время дороги его! Удали от него духа колебаний, духа помыслов мятежных и волнуемых, духа суеверия, пустых примет и малодушных предчувствий, ничтожного духа робости и боязни!

Дух же твердости и силы и несокрушимой надежды в Тебя, Боже, всели в него! Да окрепнет во всем благом и угодном Тебе!

Исправи молитву его и дай ему помолиться у Гроба Святого о собратях и кровных своих, о всех людях земли нашей и о всей отчизне нашей, о ее мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего, о водворении в ней любви и о воцарении Твоего царства, Боже!

Боже, не погляди на недостойнство его, но, ради молитв наших, усердных и горячих молитв, воссылаемых нами от глубины сердец наших, и ради молитв людей, Тебе угодных, о нем Тебе молящихся, удостой его, недостойного, грешного о сем помолиться и не возгнушайся принять сердечные прошения его, простя ему за все!

И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремление сердец наших к прославлению святого имени Твоего!

Господи! спаси и помилуй бедных людей. Умилосердись, Создатель, и яви руку Свою над ними. Господи, выведи нас всех на свет из тьмы. Господи, отгони все обольщения лукавого духа, всех нас обольщающие. Господи, просвети нас, Господи, спаси нас. Господи, спаси бедных людей Твоих.

Господи, удержи гнев Твой и ярость казней Твоих. Господи, преклонись немощью нашею и помоги нам возвестись нам, обрати к Тебе и <помоги> вознести умоляющий вопль к Тебе и рыданьем сердец наших умолить Тебя. Господи, не взирая на нечестивые наши дела и вопль неистовый, не ведут бо, что

творят, ради любящих Тебя, ради угождающих, пошли Духа Твоего Святого, вразуми и спаси нас. Спаси, спаси нас, спаси.

Господи, спаси и помилуй бедных людей Твоих. Не давай лукавому возвеселиться и овладеть нами. Не дай врагу поглотиться над нами и мрачному производить беспорядки и неустройства, возмутить стройность, знаменующую присутствие Твое с нами. Господи, яви, сотвори святое чудо Твое, устрой, устрой.

Господи, спаси.

Небесная стройность и мудрость Христа, соприсутствовавшая Богу при творении мира, без нея же ни что же бысть. Яви человеколюбие Свое ради Святой Крови Своей, ради жертвы, за нас принесенной. Внеси святой порядок, и разогнавши мысли нечестивые, вызови из хаоса стройность, и спаси нас, спаси, спаси нас. Господи, спаси и помилуй бедных людей Твоих.

Милосердия, Господи. Ты милосерд. Прости все мне, грешному. Сотвори, да помню, что я один и живу в Тебе, Господи; да не возложу ни на кого, кроме на одного Тебя, надежду, да удалюсь от мира в святой угол уединения.

Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем.

Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи, желанья и мольбы их. Спаси их, Боже. Прости им, Боже, как и мне грешному, всякое согрешенье пред Тобою.

Духовное завещание

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отдаю все имущество, какое есть, матери и сестрам. Советую им жить в любви совокупно в деревне и, помня, что, отдав себя крестьянам и

всем людям, помнить изречение Спасителя: «Паси овцы Моя!»¹ Господь да внушит все, что должны они сделать. Служивших мне людей наградить. Якима² отпустить на волю. Семена³ также, если он прослужит лет десять графу⁴.

Мне бы хотелось, чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц, которые бы отдали себя на воспитание сироток, дочерей бедных неимущих родителей. Воспитанье самое простое: Закон Божий да непрерывное упражненье в труде на воздухе около сада или огорода⁵.

Совет сестрам

Во имя Отца и Сына... Я бы хотел, чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились частые поминки по грешной душе моей. Для того кладу в основание половину моих доходов с сочинений. Если сестры не выйдут замуж, дом свой да превратят в обитель¹, выстроив посреди двора и открывши у себя приют бедным, живущим без места девицам. Жизнь должна быть самая простая, довольствоваться тем, что производит деревня, и ничего не покупать. Со временем обитель может превратиться в монастырь, если потом на старости дней сестры возымеют желание принять иноческий чин. Одна из них может быть игуменьей². Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались.

Друзьям моим

Благодарю вас много, друзья мои. Вами украсилась много жизнь моя. Считаю долгом сказать вам теперь напутственное слово: не смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас. Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе

влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы, законные всему. И человечество двинется вперед.

Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник¹.

Строки, написанные
за несколько дней до кончины

Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное¹.

Помилуй меня грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственной силою неистоведимого Креста!

Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? И страшная История Всех событий Евангельских...

КОММЕНТАРИИ

Настоящее издание включает в себя художественные, литературно-критические, публицистические и духовно-нравственные произведения Н. В. Гоголя, связанные темой русской государственности и духовного будущего России. Тексты кроме особо оговоренных случаев печатаются по изд.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. /Сост., подготовка текстов и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994.

В комментариях использованы записные книжки Гоголя, в частности «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия», словарь «Малороссийских слов, встречающихся в первом и втором томах» Сочинений 1842 г., различные подготовительные материалы писателя по истории, фольклору и этнографии, а также разыскания предыдущих комментаторов и исследователей творчества Гоголя (в первую очередь И. А. Виноградова). Отсутствующие в рукописи, но необходимые по смыслу слова, обозначены угловыми скобками.

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1. Написано в период с июля по август – сентябрь 1834 г. Дата, выставленная под статьей, – 1831, призвана, очевидно, указать на время, с которого идеи, изложенные в ней, стали занимать Гоголя. Название повторяет заголовок работы Д. В. Веневитинова, опубликованной впервые в альманахе «Серверная Лира на 1827 год».

¹...*тритоны несутся...* – *Тритон* – в греческой мифологии морское божество. Изображался в виде старца или юноши с рыбьим хвостом вместо ног.

²...сводами катедраля... – *Катедраль* – кафедральный собор.

³...спекулятор растеряет свои расчеты... – *Спекулятор* – торговец.

О ПРЕПОДАВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Впервые напечатано под названием «План преподавания всеобщей истории» и с подписью «Н. Гоголь»: Журнал Министерства Народного Просвещения». 1834. Ч. 1. № 2. С измененным названием и небольшой стилистической правкой статья вошла в первую часть сборника «Арабески» (СПб., 1835). Дата, выставленная здесь Гоголем, – 1832, указывает, вероятно, на время, к которому очерк всемирной истории (которую он с начала 1831 г. преподавал в Патриотическом институте) в главных чертах для него уже сложился. Написано в декабре 1833 г. Беловой автограф статьи опубликован И. А. Виноградовым (см.: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2001).

¹...кроме религии евреев, между коими сохранилось чистое, первобытное ведение истинного Бога. – Это замечание о Ветхозаветной Церкви принадлежит, по-видимому, редактору «Журнала Министерства Народного Просвещения» К. С. Сербиновичу. В начале 1834 г. Гоголь писал ему: «Все ваши и Сергея Семеновича (Уварова. – В. В.) замечания я нахожу очень справедливыми и, как видите, воспользовался ими... Я очень вам благодарен за ваше присовокупление о истинной религии. Оно очень хорошо, и я бы не выдумал так».

²...великий грек задумал гигантское дело: соединить Восток с Европою и разнестъ везде греческое просвещение... – Подразумевается Александр Македонский (356–323 до Р. Х.), один из величайших полководцев древности.

³...блестящий век, произведенный этим государем (Лудовиком XIV), когда Франция закипела изделиями роскоши, фабриками... – Людовик XIV (1638–1718) – французский король с 1643 г., из династии Бурбонов. Его правление – апогей французского абсолютизма.

⁴...гремит... в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы. – Питт Уильям Младший (1759–1806), премьер-министр Великобритании в 1783–1801 и 1804–1806 гг.; один из организаторов коалиций европейских государств против наполеоновской Франции.

⁵ *Освобожденные государства... утверждают снова союз и неприкосновенность владений.* – Имеется в виду образование Священного союза, заключенного европейскими монархами в 1815 г. после окончательного низложения Наполеона I.

⁶ *...Слово из Назарета обтекло наконец весь мир.* – Назарет – город в Галилее, где прошли детские и отроческие годы Иисуса Христа. Проповедание Евангелия всему миру является одной из примет приближения конца света: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24, 14); «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мк. 13, 10).

⁷ *Шлецер* Август-Людвиг – См. коммент. к статье «Шлецер, Миллер и Гердер».

⁸ *...цель моя – образовать сердца юных слушателей... чтобы... не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве – быть верными Отечеству и Государю.* – Эти строки Гоголь зачитывал 20 октября 1851 г. И. С. Тургеневу в доказательство неизменности своих взглядов, вопреки обвинениям А. И. Герцена в «отступничестве». «Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п., – вспоминал И. С. Тургенев, неприязненно относившийся как к ранним статьям Гоголя в «Арабесках», так и к «Выбранным местам из переписки с друзьями». – «Вот видите... я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве...» (Гоголь в воспоминаниях современников. Без м.изд., 1952. С. 534).

ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ

Впервые напечатано под названием «Отрывок из Истории Малороссии. Том I, книга 1, глава I» в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2) с подписью «Н. Гоголь» и подстрочным примечанием: «Автор избрал первую главу Истории Малороссии для помещения в Журнале, потому что она представляет нечто целое и вместе служит введением в саму Историю. Приложения и ссылки отлагаются за недостатком места». Впоследствии с измененным заглавием статья была включена в сб. «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (СПб., 1835. Ч. 1).

Историю Украины Гоголь осмысляет на фоне мировой истории. Воспетое в народных песнях-думах малороссийское казачество он называет «одним из замечательных явлений европейской истории», «оплотом для Европы от магометанских завоеваний», ставя его в один ряд со средневековым рыцарством. Такой взгляд служит ему прямым прологом к осмыслению современности. Мысль о конечном духовном поработлении Европы на исходе средних веков арабо-мусульманской культурой открывает Гоголю видение всемирно-исторического предназначения России – единственного мощного оплота Православия в мире. Реализовать замысел во всей его полноте (включая идею о промыслительной зависимости истории от географии, высказанную ранее в «Нескольких мыслях о преподавании детям географии», 1830) писателю удалось в эпопее «Тарас Бульба», законченной к середине 1834 г. Созданию статьи предшествовало также тщательное изучение Гоголем славянской и русской истории, причем одним из главных пособий в этом ему служила «История государства Российского» Н. М. Карамзина.

¹...ханские баскаки... – Баскаки – сборщики дани.

² *Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно размениваться...* – Ср. в заметке Гоголя «Собственные результаты о славянах»: «Что славяне не соединялись в одно, причина – несообщаемость земли. Только весной, при разлитии рек, усматривались некоторые сношения.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1.

В январе 1835 г. Гоголь писал А. С. Пушкину: «Посылаю вам два экземпляра Арабесков... Один экземпляр для вас, а другой разрезанный для меня. Вычитайте мой и сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки и никак не останавливайте негодование при виде ошибок, но тот же час их всех налицо. – Мне это очень нужно. Пошли вам Бог достаточного терпения при чтении!» Неизвестно, выполнил ли Пушкин просьбу Гоголя. Среди принадлежавших поэту книг находится разрезанный том «Арабесок» без пометок владельца. Других сведений об отношении Пушкина к статье Гоголя не сохранилось.

Характеристика Гоголем Пушкина как русского национального гения была подхвачена В. Г. Белинским. «Я не знаю, – писал критик в статье «Русская литература в 1841 году», – лучшей и определенной характеристики национальности в поэзии, как ту, которую сделал Гоголь в этих коротких словах, врезавшихся в моей памяти: «Истинная национальность состоит не в описании сарафана, а в самом духе народа...» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М., 1979. С. 310).

¹*Рисует... боевую схватку чеченца с козаком...* – Вероятно, имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Делибаш» (1829), включенное позднее Гоголем в список примеров «Учебной книги словесности для русского юношества».

АЛ-МАМУН

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1. Статья возникла, вероятно, из замысла «Трактата о правлении», упоминаемого в плане «Арабесок» конца августа – сентября 1834 г. Период, избранный Гоголем для статьи, соответствует разделу «Век аравийского просвещения от Карла и Гарун аль Рашида до крестовых походов» в его программе университетских лекций по истории Средних веков. В октябре 1834 г. Гоголь прочел статью в качестве лекции в Петербургском университете. Н. И. Иваницкий вспоминал: «...Однажды – это было в октябре – ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский... Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая («О средних веках». – В. В.). Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и поэтому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно»...» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 85).

¹*Ал-Мамун* – арабский халиф, перс по матери, правил в Багдаде с 813 по 833 г.

²...*волею необыкновенного Гаруна... – Гарун (Харун)-аль-Рашид – халиф Багдада, правил с 786 по 809 г. Прославлен в сказках «Тысячи и одной ночи».*

³...*которого Царьград назвал великодушным покровителем наук... – Царьград – древнерусское название города Константинополя (ныне Стамбул).*

⁴...*сохраняли в душе свой образ политеизма, облеченного христианскими формами... – Политеизм (греч.) – многобожие.*

⁵...*готовы были стать грудью за Аммония Саккаса, Плотина и других последователей новоплатонизма... – Аммоний Саккас (около 175 – около 242) – греческий философ, основатель неоплатонизма. Пытался согласовать учения Платона и Аристотеля и применить их к мифологиям и религиям Востока. Учитель Оригена и Плотина. «Верил во множество духов невидимых, видимых только душою. 240 <г.> Мешконосец, продавал хлеб» (заметка Гоголя по истории Древнего мира «Новоплатоническая школа. Александрия»). Плотин (204–270) – греческий философ, крупнейший представитель неоплатонизма. «Сочинения составляют 54 трактата, разделенные на шесть энеад (греч. девятка. – В. В.). Его странности. Говорил, что всё божественное души его хочет соединить<ся> с божествен<ною> душ<ою>. Трактат его о том, что душ не две, но одна, [что] мысленные предметы не вне разума» (там же).*

⁶...*глаз его должен иметь многосторонность Аргуса... – Аргус – в греческой мифологии великан, тело которого было испещрено множеством (сотней) глаз; неусыпный страж. Был убит Гермесом, после чего Гера перенесла его глаза на оперение павлина.*

⁷...*секту карматитов... – Ветвь шиитской мусульманской секты исмаилитов.*

⁸...*под именем Сирийских Убийц... – Подразумевается исмаилитская секта ассасинов (от перс. хашишин, то есть гашиш; ассасины-воины одурманивались гашишем).*

ЖИЗНЬ

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Статья открывала вторую часть сборника. Написана в августе – октябре 1834 г. Дату, выставленную под статьей при помещении в «Арабески» – 1831, следует, вероятно, рассматривать как время возникновения ее первоначального замысла.

Примечательно, что Оптинский старец Варсонофий истоки религиозности последних лет жизни Гоголя усматривал в его раннем творчестве. «Гоголя называли помешанным, — говорил он. — За что? — За тот духовный перелом, который в нем произошел и после которого Гоголь твердо и неуклонно пошел по пути богоугождения, богослужения. Как же это случилось? В душе Гоголя, насколько мы можем судить по сохранившимся его письмам, а еще больше по сохранившимся рассказам об его устных беседах, всегда жила неудовлетворенность жизнью, хотелось ему лучшей жизни, а найти ее он не мог. «Бедному сыну пустыни снился сон...» — Так начинается одна из статей Гоголя («Жизнь». — В. В.)... и сам он, и все человечество представлялось ему в образе этого бедного сына пустыни. Это состояние человечества изображено и в Псалтири, там народ Божий, алча и жаждая, блуждал в пустыне, ища Града обительного, и не находил. Так и все мы алчем и жаждем этого Града обительного, и ищем его, и блуждаем в пустыне» (Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми. Издание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. СПб. 1991. С. 50).

Широта замысла, отраженная в заглавии статьи, говорит о том, что представленные в «Жизни» Египет, Греция и Рим являются собой не столько образы древних исторических цивилизаций, сколько мыслятся Гоголем как обобщение дохристианских типов культуры — «...как будто бы царства предстали все на Страшный суд перед кончиною мира».

Начало этого Суда Гоголь, опираясь на слова Спасителя («Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет...»; Ин. 3, 19), относит к самому Его Рождеству: «...высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом».

Можно предположить также, что умаление и кончину языческих царств в «Жизни» перед лицом грядущего Царства Спасителя Гоголь осмысляет в свете одного из ветхозаветных пророчеств. Примечательно, что содержание статьи прямо перекликается с пророчеством 2-й главы Книги св. пророка Даниила. Здесь повествуется о видении вавилонского царя Навуходоносора. Во сне царю привиделся огромный истукан, составленный из золота, серебра, меди, железа и глины, который был разбит скатившимся с горы камнем. Даниил объяснял царю, что истукан прообразовал четыре языческих царства, которые все будут разрушены новым всемирным царством, воздвигнутым Богом навеки (Дан. 2, 31–45).

По распространенному святоотеческому толкованию сном этим была предвозвещена судьба четырех великих мировых держав – Вавилона, Персии, Греции и Рима, сокрушенных «камнем» – Иисусом Христом, отделившимся от «горы» – Пресвятой Богородицы и положившим начало нового Царства – Церкви Христовой. Подобным образом и в статье Гоголя все языческие царства как бы стоят на пороге своей кончины перед лицом только что явившегося в мир Спасителя, над Которым склонилась Его Непорочная Мать. Не случайно замысел «Жизни» оказывается как бы укорененным в первой песни канона Пресвятой Богородице 4-го гласа (в «Октоихе»): «Сотрясо́шася лю́дие, смято́шася язы́цы, ца́рствия же держа́вная уклони́шася, Чи́стая, от стра́ха Ро́ждества Твоего: прииде бо Ца́рь мой и низложи́ мучи́теля, и мир от тли́ избави́».

Позднее, в «Авторской исповеди», словно поясняя замысел своей ранней статьи, Гоголь писал: «Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда Один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что Он знает, что такое жизнь, когда этот Один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в Нем Его Божественности, тогда следует поверить Ему на слово, даже и в таком случае, если бы Он был просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь».

Очевидно, что и стремление Гоголя в Иерусалим, согласно этому автокомментарию, восходит к его юношеским годам: «Одною из главных причин моего путешествия к Святым Местам было желание искреннее помолиться и испросить благословений... на вступление в жизнь у Самого Того, Кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы Его...»

Особый ритмический строй «Жизни» позволяет отнести ее к жанру стихотворения в прозе. См.: Орлов А. С. «Призраки» Тургенева (Одоевский – Гоголь – Тургенев) // Родной язык в школе. М., 1927. Кн. 1; Плетнев Р. «Жизнь» – стихотворение в прозе (К 150-летию со дня рождения Н. В. Гоголя) // Грани. Париж, 1959. № 42.

¹ *Кинамон* (греч.) – корица (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

² ...с *тирсами*... – *Тирс* (греч.) – жезл.

³ *Тростник, связанный в цевницу*... – *Цевница* (др.-рус.) – лира, свирель.

⁴...*тимпаны, мусикийские орудия...* – Тимпаны (др.-рус.) – бубны, литавры. *Мусикийские орудия...* – То есть музыкальные (от др.-рус. мусикия – музыка), относящиеся к музам.

⁵...*близ Родоса и Корциры...* – Родос – греческий остров в Эгейском море и портовый город; Корцира (Керкира, Корфу) – греческий остров в Ионическом море и портовый город.

⁶...*Арарат, древний прапращур земли...* – Арарат – гора в турецкой части Армении (высота 5211 метров). Согласно Книге Бытия, «на горах Араратских» остановился по миновании Всемирного потопа ковчег праведного Ноя, потомками которого является современное человечество.

ШЛЕЦЕР, МИЛЛЕР И ГЕРДЕР

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя». СПб., 1835. Ч. 2. Написано в сентябре – октябре 1834 г.

Шлецер (Шлёцер) Август Людвиг (1735–1809) – немецкий историк и публицист, ученик Вольтера. На протяжении шести лет работал в Российской Академии наук в Петербурге, занимался изучением русских летописей, которые издал впоследствии в Гёттингене. Полагал, что все исторические эпохи и народы заслуживают научного изучения, без чего невозможно создание подлинно всемирной истории. Выступал с критикой сословных привилегий, феодальных порядков и крепостничества. В апреле 1791 г. первым в Германии опубликовал в своем журнале французскую «Декларацию прав человека и гражданина», однако с развитием революции во Франции занял по отношению к ней отрицательную позицию. В конце жизни написал исторический труд «Нестор», посвятив его Императору Александру I. **Одна из выписок Гоголя из этого сочинения** (переведенного на русский язык в 1809–1819 гг.) характеризует Шлецера именно как «оппозиционного гения».

С гораздо большей симпатией относится Гоголь к другому «зодчему всеобщей истории» – швейцарскому ученому Иоганну Миллеру (Мюллеру; 1752–1809). Примечательно, что в плане «Арабесок» конца августа – сентября 1834 г. последовательность имен в заглавии задуманной Гоголем статьи (а следовательно, и ее композиция) была иная – «Миллер, Шлецер и Гердер». Первое место, отданное здесь Миллеру, сохраняет свое значение и в окончательной редакции. Наряду со «всесокрушающим» гением Шлецера и слабым, с точки зрения Гоголя, в познании реальной

жизни отвлеченным гуманистом Гердером, он с восхищением называет Миллера «размышляющим мудрецом» и «философом-законодателем».

Характеристика третьего историка – Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803), немецкого ученого, поэта и философа, – избирающего, по словам Гоголя, для своей картины «только одно прекрасное и высокое», но являющегося при этом «младенцем» в познании человека, отчетливо напоминает тот тип «возвышенного» поэта («он поэт и этим резко отличается от Миллера... и Шлецера»), которому Гоголь противопоставил в «Мертвых душах» писателя, «дерзнувшего вызвать наружу... всю страшную... тину мелочей».

¹...в небольшой книжке, изданной им для студентов... – Имеется в виду «Представление всеобщей истории, сочиненное Лудвигом Шлецером, профессором в Геттингене, перевод с немецкого» (СПб., 1809).

²...не мог избежать и Герен... – Герен (Геерен) Арнольд Герман Людвиг (1760–1842) – немецкий историк; считал, что для изучения быта и государственного строя древних народов наиболее важным является анализ их торговых сношений.

³...как брамин природы... – Брамин – древнеиндийский жрец.

⁴...в исторических отрывках Шиллера, и особенно в «Тридцатилетней войне» – Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения; автор «Истории Тридцатилетней войны» (1793).

МЫСЛИ О ГЕОГРАФИИ

Впервые напечатано: Литературная Газета. 1831. 1 янв. № 1 (с названием «Несколько мыслей о преподавании детям географии» и подписью «Г. Янов», то есть Гоголь-Яновский) и редакционным примечанием. В конце статьи после пометы «Продолжение обещано» следовало: «Просим читателей смотреть на предложенную здесь статью, как на одно только начало. Автору, который совершенно посвятил себя юным питомцам своим, более всего желательно знать о сем предмете мнение ученых наших преподавателей. В последующих за сим мыслях читатели встретят, может быть, более нового, более относящегося к облегчению науки и приведению оной в ясность и понятность для детей».

Перед помещением в «Арабесках» статья была переработана. Появился ряд новых мест, изменилась композиция. Здесь же Гоголь указал и на время написания статьи – 1829.

Отмечено, что в статье Гоголь точно охарактеризовал состояние школьной географии в России в 1820-х гг. (См.: *Киселев С. Н.* Статья Н. В. Гоголя «Мысли о географии» (история создания и источники) // Вопросы русской лит. Межвузовский научный сборник. Симферополь, 1996. Вып. 2). В это время наибольшее распространение в гимназиях получили учебники Е. Ф. Зябловского и К. И. Арсеньева – последователей школы камеральной статистики, делавшей основной упор на изучении государства («дают им... грызть политическое тело»). Учебники отличались чрезмерной перегруженностью сведениями номенклатурного характера, краткостью или полным отсутствием физико-географических описаний. Уроки в школах стали в это время трудными и скучными; внимание учеников сосредоточивалось на бессистемном вызубривании географических названий из этих «магазинов для справок».

После написания статьи для детей и попытки создания детской книги по географии Гоголь задумывает такую же книгу для взрослых. «...Что не интересно в географии? Она такое глубокое море... что даже для взрослого представляет философически-увлекательный предмет», – замечал Гоголь. Об этой книге он пишет 1 февраля 1833 г. М. П. Погодину: «...обождите несколько времени: я вам пришлю, или привезу чисто свое, которое подготавливаю к печати. Это будет всеобщая история и всеобщая география в трех, если не в двух томах, под названием *Земля и Люди*». (Основу книги должны были составить лекции по истории, читанные Гоголем в Патриотическом институте благородных девиц в течение предшествующих двух лет.)

В конце жизни, занимаясь продолжением своего главного труда – поэмы «Мертвые души», Гоголь одновременно задумывает книгу по географии России для юношества. «Книга эта, – пишет он, – составляла давно предмет моих размышлений. Она зреет вместе с нынешним моим трудом и, может быть, в одно время с ним будет готова». Объединяющий оба эти произведения пафос – размышления о будущем России. В сентябре 1851 г. Гоголь получил благословение на написание книги по русской географии у Оптинского старца Макария (см. об этом во вступ. статье к наст. изд.). Сохранились некоторые подготовительные материалы к книге, в частности, сделанный Гоголем обширный конспект книги академика П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства в 1768–1773 гг.»

В 1938 г. В. П. Семенов-Тянь-Шанский, как бы выполняя завет Гоголя, написал книгу для чтения по общегеографическим

вопросам под названием «Географические арабески» (осталась в рукописи).

¹ *Гумбольдт* Александр (1769–1859) – немецкий географ, путешественник, естествоиспытатель. По предположению С. Н. Киселева, одним из поводов к написанию статьи послужило Гоголю прибытие немецкого ученого в апреле 1829 г. в Петербург, где ему был устроен пышный прием. По приглашению русского правительства А. Гумбольдт совершил тогда путешествие на Урал, Алтай, в юго-западную часть Сибири, посетил побережье Каспийского моря. Путешествие широко освещалось периодической печатью; интерес к визиту европейской знаменитости не утихал и после отъезда Гумбольдта из России в декабре 1829 г.

² *...Риттеревое барельефное изображение Европы...* – Как установил С. Н. Киселев, речь идет о карте рельефа Европы из книги К. Риттера «Карты, представляющие: I. Главные хребты гор в Европе, их связь и мысы; II. **Высоту гор в Европе...**», переведенной и изданной в 1828 г. в Москве М. П. Погодиным. В гоголевской «Книге всякой всячины...» есть также выписка «Распространение диких деревьев и кустов в Европе. (Из Риттера)», представляющая собой конспект третьего раздела книги (с. 25–29). Неудобство помянутой карты Риттера обусловлено тем, что при изображении рельефа горы, освещенные сверху, оставлены белыми, так же как и моря, поэтому наиболее ярко бросаются в глаза высшие и низшие точки поверхности и не создается эффекта выпуклости рельефа. *Риттер* Карл (1779–1859) – немецкий географ, основоположник общего землеведения; проводил мысль о зависимости истории человечества от природных условий. В «Мыслях о географии» имеются переклички с книгой К. Риттера.

³ *...горы сообщили форму всей земле...* – Ср. в книге К. Риттера «Карты, представляющие: I. Главные хребты гор в Европе...»: «Главныя горы со своими отраслями и ветвями во время переворотов древняго мира противостояли напору моря и сообщили странам их форму» (с. 1).

⁴ *...должно показать на карте лестницею градусов...* – В объяснениях карт диких и культурных растений Риттер описывает пределы их распространения и возделывания, указывая северную границу в градусах широты.

⁵ *Не мешало бы вырезать каждое государство особенно...* – По наблюдению С. Н. Киселева, в 1798 г. неким «И. Н.» был издан «Способ научиться самим собою географии». Он состоял из книжки и колоды из 37 карт. В книжке разъяснялся способ, «как

располагать географические карты порядочно и сходственно естественному государств местоположению». Подобный «Легчайший для детей способ к познанию землеописания любезного нашего отечества, пространнейшей в свете империи» с колодой из 60 карт был выпущен в 1823 г. маркшейдером Богословским в Казани. Карты представляли только текст с описаниями различных местностей России. По краям карт указывались соседние губернии и области. При раскладывании колоды ученик должен был расположить карты в соответствии с географическим положением губерний и областей России.

⁶ *Пале-Рояль* (фр. королевский дворец) – дворец в Париже.

⁷ *Фальконетов Петр* – памятник Петру I в Петербурге («Медный всадник») работы французского скульптора Этьенна Мориса Фальконе (1716–1791).

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 2. Статья написана под непосредственным впечатлением от картины К. П. Брюллова, которая была привезена в Петербург в конце июля 1834 г. и выставлена для обозрения в Эрмитаже между 12 и 17 августа.

Брюллов (Брюлло) Карл Павлович (1799–1852) – художник, воспитанник Петербургской Академии художеств, после окончания которой в 1822 г. Обществом поощрения художников был отправлен для продолжения обучения в Италию. «Гибель Помпеи», законченная в 1833 г. (с 1827 г. художник стал собирать подготовительные материалы к картине), открыла новую эпоху в развитии исторической живописи. За ней появились «Медный змий» Ф. А. Бруни и «Явление Мессии» А. А. Иванова. В Италии картина была объявлена «первой картиною золотого века»; более сдержанно была оценена в Париже (см.: *Савинов А. Н.* Карл Павлович Брюллов. М., 1966). Гоголь познакомился с К. П. Брюлловым в 1836 г. по возвращении художника из Италии; сохранился карандашный портрет Гоголя, сделанный тогда Брюлловым. Помимо исторической, К. П. Брюллов занимался также портретной и религиозной живописью. Современный исследователь оценивает опыты К. П. Брюллова в иконописи как произведения художника-«римокатолика» (см.: *Успенский Л. А.* Богословие иконы Православной Церкви. Париж, 1989).

¹ «Видение Валтазара» (точнее – «Пир Валтасара», 1821), «Разрушение Ниневии» (1829) – картины английского художника Дж. Мартина (1789–1854) библейского содержания.

² ...*семейство Витгенштейна*. – Картина К. П. Брюллова «Портрет детей гр. Л. П. Витгенштейна» (1832, местонахождение неизвестно).

ТАРАС БУЛЬБА

Впервые напечатано в сб.: Миргород. СПб., 1835. Ч. 1. Во втором томе своих Сочинений 1842 г. Гоголь дал повесть в новой, коренным образом переработанной редакции. Помимо тщательной стилистической отделки произведения, в нем появились новые эпизоды и персонажи. В результате переделки объем повести увеличился почти вдвое (вместо девяти глав первой редакции – двенадцать), существенно обогатился весь ее идейно-художественный замысел.

Начало работы над «Тарасом Бульбой» исследователи относят к концу 1833 г. В это время писатель увлеченно занимается изучением всеобщей истории, задумывает «Историю Украины и юга России» (письмо к А. С. Пушкину от 23 декабря 1833 г.). Идеинотематически повесть связана с двумя другими произведениями Гоголя из истории Украины и казацко-польских войн – повестью «Страшная месть», вошедшей в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», и оставшимся незавершенным историческим романом «Гетьман», над которым он работал в 1831–1833 гг.

При создании повести Гоголь широко использовал исторические источники своего времени: мемуары, летописи, научные труды. Особенно важное значение для него имела «История Русов, или Малой России», приписывавшаяся белорусскому архиепископу Георгию Конисскому. Составленная в конце XVIII или начале XIX в., она была впервые опубликована в 1846 г., однако задолго до этого получила широкую известность благодаря многочисленным спискам. Среди других источников следует назвать «Историю Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского (первое издание вышло в 1822 г.), «Описание Украины» Г. де Боплана, изданное в 1832 г., украинские летописи Самовидца, Грабянки. Работая над второй редакцией повести в 1839–1842 гг., Гоголь расширяет круг истори-

ческих источников, в частности обращается к «Истории о казаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся» князя С. И. Мышецкого. «История», впервые опубликованная в 1847 г., до этого времени имела широкое распространение в списках.

Помимо исторических Гоголь также привлекал фольклорные источники. Он пользовался такими изданиями, как «Запорожская Старина» И. И. Срезневского (Ч. 1. Вып. 1–2. Харьков, 1833), «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (М., 1827), «Украинские народные песни, изданные М. Максимовичем» (Ч. 1. М., 1834), «Малороссийские и червонорусские думы и песни, изданные П. Лукашевичем» (СПб., 1836) и др. Именно в песнях находил Гоголь отражение подлинной народной жизни. «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа», – писал он в статье «О малороссийских песнях». В повести Гоголь сознательно использует поэтику фольклора, из героических народных дум черпает образы, краски, приемы. Как показывает специальное исследование, в «Тарасе Бульбе» нет ни одного сколь-либо значительного эпического или лирического мотива, который не имел бы своей аналогии в украинских народных песнях и думах (см.: *Карпенко А. И.* О народности Н. В. Гоголя. Изд-во Киевского ун-та, 1973).

Создавая картину минувшей эпохи, Гоголь весьма свободно обращается с историческими фактами, мало заботится о хронологической точности. В начале повести события отнесены к XV в., затем встречаются указания на XVI в.; ряд деталей (обучение сыновей Бульбы в Киевской академии, осада Дубно и др.), а также исторические имена (коронный гетман Николай Потоцкий, Острица) позволяют приурочивать ее действие к середине XVII в. Столь же безуспешными оказались попытки исследователей отождествить главного героя повести с тем или иным конкретным историческим лицом. Тарас Бульба – художественный тип, собирательный образ казацкого героя, олицетворяющий собой многие лучшие черты национального характера.

В. Г. Белинский видел в «Тарасе Бульбе» образец художественного эпоса. В 1835 г. он писал о гоголевской повести: «Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!..» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 181). Позднее было отмечено, что картина битвы запорожцев под стенами Дубно (появляющаяся во второй редакции) написана во многом под влиянием перевода Н. И. Гнедича

«Илиады» Гомера (Брюсов В. Я. Испепеленный: К характеристике Гоголя // Сочинения: В 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 131–132).

¹ *И этак все ходят в академии?* – Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе... – *Академия* – здесь: Киевская Духовная академия, первое высшее учебное заведение в Южной России, основанное в 1632 г. Киевским митрополитом Петром Могилой; крупнейший образовательный и культурный центр Украины, Белоруссии и России в XVII–XVIII вв. В академию принимались главным образом дети казацкой старшины, шляхты, зажиточных горожан и духовенства. Курс обучения продолжался 12 лет и давал богословскую и общеобразовательную подготовку, знание языков. Гоголь не разделяет понятий «академия», «семинария» (среднее учебное заведение) и «бурса» (среднее или низшее учебное заведение с общежитием) и называет своих героев – выпускников Киевской академии, то семинаристами, то бурсаками. *Бульба (укр.)* – картофель.

² *...какие же длинные на вас свитки!* – Свитка – «род полукафтання» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

³ *Смотри ты, какой пышный!..* – *Пышный* – здесь: гордый, важный.

⁴ *А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?* – *Бейбас* (бельбас) – балбес, олух.

⁵ *...по сажени земли...* – *Сажень* – русская мера длины, равная 2,134 м.

⁶ *Э, да ты мазунчик, как я вижу!* – *Мазунчик* (от укр. мазать – баловать, ласкать) – маменькин сынок.

⁷ *...все это ка зна що, – я плевать на все это!* – *Ка зна що* – невесть что, чепуха.

⁸ *...отправляю на Запорожье.* – *Запорожье* – здесь: Запорожская Сечь – военная организация украинских казаков за Днепровскими порогами, в XVI–XVIII вв. называвшаяся по своему главному укреплению Сечью (сечь, или січь – лесная вырубка, завал из деревьев).

⁹ *Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков...* – *Пампушки* – пышки, «вареное кушанье из теста» (гоголевский словарь «малороссийских слов»). *Медовик* – медовый пряник. *Маковник* – лепешка с медом и маком. *Пундики* – сласти, лакомства, «род пышек, жареных в масле» (Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. СПб., 1809. Ч. 4. Словарь малороссийских слов. С. 17).

¹⁰ ...не с изюмом и всякими вытребеньками... – *Вытребеньки* – выдумки, причуды, затеи. «Здаться на витребеньки (быть балагуром, выдумщиком)» (гоголевская «Книга всякой всячины»).

¹¹ ...тихого треньканья бандуры... – *Бандура* – «инструмент, род гитары» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

¹² ...битвы на Украине за унию. – То есть из-за унии. *Уния* (лат. unio – союз, объединение) – здесь: соглашение части иерархов правобережной Украины об объединении Православной Церкви с римо-католической с признанием главенствующей роли папы и ряда католических догматов при сохранении православных обрядов и богослужения. Принятие унии на церковном соборе в Бресте в 1596 г. (Брестская уния) и ее насильственное распространение на Украине привели к закабалению украинского православного населения польскими помещиками и католическим духовенством. Часть украинского дворянства поддержала унию, тогда как простой народ и казачество оставались верными Православию.

¹³ *Красные отводы* – декоративный орнамент на окнах и дверях дома.

¹⁴ *Венецейский* – венецианский.

¹⁵ *Берестовые скамьи* – из береста (украинское название вяза).

¹⁶ ...велел созвать всех сотников... – *Сотник* – здесь: начальник сотни – территориально-войсковой единицы казаков в XVII–XVIII вв., располагавшейся в своем городке или местечке. Сотник обладал административной властью.

¹⁷ *Есаул* (от *тюрк.* ясаул – начальник) – выборная административно-войсковая должность (подразделялись на генеральных, полковых и сотенных), а также чин в казацком войске с 1576 г. В 1798–1800 гг. чин есаула был приравнен к чину ротмистра в кавалерии.

¹⁸ *Андрій* – Андрей (см. «Имена, даемые при крещении» в гоголевской «Книге всякой всячины»).

¹⁹ ...чтоб бусурманов били... когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. – *Бусурманы* – иноверцы, здесь: магометане (мусульмане). *Ляхи* – старинное название поляков.

²⁰ *Гораций, что ли?* – *Гораций* – Квинт Гораций Флакк (65–8 до Р. Х.) – римский поэт.

²¹ ...архимандрит не давал вам и понюхать горелки... – *Архимандрит* – церковный сан, даваемый настоятелям монастырей и другим монашествующим, занимающим важные административные должности; здесь: ректор Киевской академии.

²² *...пороли... не только по субботам...* – Суббота – традиционный день порки в старых учебных заведениях.

²³ *...возникли грозные селения, курени и околицы...* – *Курень* – «отделение военного стана запорожцев» (гоголевский словарь «малороссийских слов»), территориально-войсковое подразделение казаков (со слободами, селами и хуторами), часть сотни. *Околица* – здесь: объединение нескольких окрестных селений.

²⁴ *...гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки...* – *Гетман* (от нем. Hauptmann) – в Польше и Великом княжестве Литовском главнокомандующий и военный министр (с начала XVI в.). Предводители казацкого войска стали называться гетманами с 1570-х гг. Однако официально этот титул был дан польским правительством только в 1648 г. Богдану Хмельницкому. *Полк* – на Украине XVI–XVIII вв. территориально-войсковая единица, состоявшая из сотен (от 7 до 20). Полк именовался по названию города, где располагалась полковая старшина во главе с полковником.

²⁵ *...иноземцы... дивились...* – Имеется в виду в первую очередь французский путешественник Г. де Боплан, служивший в польских войсках в чине капитана артиллерии и военного инженера. В своих заметках при чтении «Описания Украины» Боплана (в рус. пер. СПб., 1832) Гоголь особо выделил универсальность ремесленных навыков казаков: «Все козаки умеют пахать, сеять, печь хлебы, готовить кушанье, варить пиво, мед, гнать водку». Здесь же Гоголь отметил: «Козаки добывают селитру и делают сами порох пушечный».

²⁶ *Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было... набрать целые толпы охочекомонных...* – *Рейстровые* (реестровые) казаки – часть украинского казачества, принятая в XVI – первой половине XVII в. на службу польским правительством и внесенная в особый список – реестр. «Рейстровый казак – казак, записанный на службу» (гоголевский словарь «малороссийских слов»). *Охочекомонные* (от др.-рус. комонь – конь) – конные добровольцы, являвшиеся на своих конях; «вольные кавалерийские войска» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

²⁷ *«Эй вы, пивники, броварники... гречкосеи...»* – *Броварники* (от нем. Brauer) – пивовары, винокуры. *Гречкосеи* – здесь: ленивые, нерадивые люди. Ср.: «...слово сие означает человека ленивого и нерадивого, вероятно, потому, что в Малороссии часто сеют гречиху на том же самом поле, на котором была рожь, не вспахи-

вая оного вновь, а только взборонив» (Князь Цертелев. Опыт собрания старинных малороссийских песней. СПб., 1819. С. 60).

²⁸...жаловались... на прибавку новых пошлин с дыма. – *Пошлина с дыма* – налог с отдельного жилья, дома (с каждой дымоходной трубы).

²⁹...когда комиссары не уважали в чем старшин... – *Комиссары* – здесь: польские сборщики налогов. *Старшины* – выборные должностные лица в казачьих войсках в XVI–XVIII вв.: атаманы, есаулы, писари, судьи и др.

³⁰...вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные... – из сафьяна – тонкой мягкой кожи высокого качества.

³¹...перетянулись золотым очкуром... – *Очкур* – шнур, которым стягивают шаровары в поясе.

³² *Казакин алого цвета... опоясался узорчатым поясом...* – *Казакин* – полукафтан на крючках со сборками сзади и стоячим воротником. *Узорчатый пояс* (шелковый или шерстяной, нередко затканый серебром или золотом) был на Украине предметом щегольства.

³³ *Молодые казаки ехали смутно...* – *Смутно* – здесь: грустно, печально.

³⁴...продержать его в монастырских службах целые двадцать лет... – *Монастырский служба* – послушник, собирающийся стать монахом и прислуживающий в монастыре.

³⁵ *Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами...* – *Консул* – здесь: старший из бурсаков (от названия высшей административной должности в Древнем Риме).

³⁶ *Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии... приказывал держать их построже.* – *Кисель Адам Григорьевич* (1580–1653) – польско-украинский магнат и политический деятель, сторонник польско-шляхетского господства на Украине; киевский воевода с 1650 г. Представлял интересы польского правительства на переговорах с восставшими казаками Богдана Хмельницкого. В 1652 г. бежал из Киева в Польшу.

³⁷...часто ликторы... пороли своих консулов... – *Ликтор* – здесь: помощник консула в бурсе, которому поручалось наказание провинившихся товарищей (от названия почетной стражи консулов в Древнем Риме).

³⁸...дочь... ковенского воеводы. – *Ковенский воевода* – правитель Ковенской области (воеводства). Ковно – прежнее название города Каунаса.

³⁹...накинула на него... шемизетку с фестонами... – Шемизетка (фр. chemisette) – дамская накидка, легкая блузка. Фестоны (фр. feston) – зубчатая кайма отделки.

⁴⁰Мы не чернецы... а люди грешные. – Чернец – монах.

⁴¹Берите в зубы люльки, да закурим... – Люлька – трубка (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

⁴²...весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию... – Новороссия – южная степная часть Европейской России, примыкающая к Черному морю. Во времена Гоголя под этим названием обыкновенно объединяли Бессарабию, Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую губернии и землю Войска Донского. Вошла в состав России после ряда войн с Турцией.

⁴³...синие и лиловые волошки; желтый дрок... – Волошки – здесь: васильки. Дрок – степной кустарник с желтыми цветками.

⁴⁴...Ели только хлеб с салом или коржи... – Корж – «сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом» (там же).

⁴⁵...варили себе кулиш... – Кулиш (кулеш) – густая пшенная похлебка с салом.

⁴⁶...блестящими искрами светящихся червей... – Светящиеся черви – светлячки.

⁴⁷...у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь... – Хортица – скалистый остров на Днепре напротив Александровска (ныне город Запорожье), где располагалась одно время Запорожская Сечь.

⁴⁸крамари под ятками сидели с кучами кремней... – Крамари – мелкие торговцы, лавочники. Ятка – «род палатки или шатра» (гоголевский словарь «малороссийских слов»). Кремень – твердый камень, употребляемый для высекания огня.

⁴⁹...татарин ворочал на рожнах бараньи катки... – Рожны – здесь: вертелы, железные прутья, на которых жарят мясо. Бараньи катки – куски бараньего мяса.

⁵⁰увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном... – Курень – здесь: легкое строение типа шалаша или землянки, «соломенный шалаш» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

⁵¹Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем... – Засака – оборонительное сооружение в виде ограждения из деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону неприятеля. Известно на Руси с XIII в. Не хранимые – То есть не охраняемые.

⁵² *Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада.* – *Рада* – здесь: верховный орган запорожцев (собрание, сходка), на котором выбиралась казацкая старшина и решались все важнейшие вопросы.

⁵³ *...в воздухе далече отдавались гопак и тропак, выбиваемые звонкими подковами сапогов.* – *Гопак* (от укр. гопати – прыгать, скакать) и *тропак* (от укр. тропати – топать, притопывать) – украинские народные танцы импровизационного характера. Гопак возник в запорожском войске.

⁵⁴ *Чуприна развевалась по ветру...* Чуприна – «чуб, длинный клочок волос на голове» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

⁵⁵ *...теплый зимний кожух был надет в рукава...* – *Кожух* – тулуп (там же).

⁵⁶ *...Бородавка повешен в Толопане... с Колопера содрали кожу под Кизикирменом.....* – *Толопан, Кизикирмен* – населенные пункты на Черноморском побережье Турции.

⁵⁷ *...добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей...* – *Шинкарь* – содержатель шинка, кабака. Шинок – питейный дом.

⁵⁸ *знали, что такое... Цицерон...* – *Цицерон* Марк Туллий (106–43 до Р. Х.) – римский политический деятель, славившийся красноречием.

⁵⁹ *Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках...* – То есть сражались на стороне поляков.

⁶⁰ *...множество образовавшихся опытных партизанов...* – *Партизан* – здесь: «приверженник, последователь» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка), сторонник какой-либо партии.

⁶¹ *Охотники до военной жизни, до... дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу.* – *Дукаты и реалы* – венецианские и испанские золотые монеты.

⁶² *Пришедший являлся только к кошевому...* – *Кошевой* (кош – казацкий лагерь, стан) – атаман запорожского войска, избиравшийся сечевою радой обычно сроком на один год.

⁶³ *У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата...* – *Саламата* – толокно. В гоголевском «Лексиконе малороссийском» из «Книги всякой всячины» со ссылкой на «Академический словарь» указано: «Саламата, мука ржаная или пшеничная, на кипящей воде разведенная, с прибавлением соли и вареная до тех пор, пока уварится наподобие густого киселя».

⁶⁴...*тащить богатые тони*... – *Тони* – здесь: неводы с уловом.

⁶⁵*можно пойти...на татарву*. – Имеется в виду Крымское ханство.

⁶⁶...*хранившихся всегда у довбиша*... – *Довбиш* – литавщик (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

⁶⁷...*кошевой с палицей в руке*... – *Палица* – здесь: жезл с серебряным вызолоченным шаром на конце, знак власти кошевого атамана.

⁶⁸...*есаул с жезлом*. – *Жезл* – здесь: знак власти есаула.

⁶⁹...*музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами*... – *Турбан* (торбан) – народный музыкальный инструмент, родственник бандуре.

⁷⁰*Вот старшины забайбачились наповал*... – *Забайбачились* (*байбак* – лежебока, лентяй) – разленились.

⁷¹...*панове добродийство*... – Господа благородные.

⁷²...*отказали в духовной ине казаки*... – То есть завещали.

⁷³...*пусть немного пошарпают берега Натолии*. – *Натолия* (Анатолия) – турецкая провинция на северном побережье Малой Азии. *Шарпать* – обирать, грабить.

⁷⁴...*и по Писанью известно, что глас народа – глас Божий*. – В Священном Писании этих слов нет; они представляют собой поговорку, известную со времен античности.

⁷⁵...*в войсковую скарбницу*... – *Скарбница* – казначеище.

⁷⁶...*кипятили в медных казанах смолу*... – *Казан* – котел (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

⁷⁷...*не слыхали о том, что делается в гетманщине?* – *Гетманщина* – здесь: территория Левобережной Украины вместе с Киевом, управлявшаяся гетманом, которого назначал польский король.

⁷⁸...*заткнул клейтухом уши*... – *Клейтух* – пыж из пакли, при помощи которого забивали пули в дуло ружья.

⁷⁹...*церкви святые... у жидов... на аренде*. – Сведения об аренде церквей евреями Гоголь почерпнул из источников, имевших в его время хождение в рукописях: «Истории Русов» (см.: История Русов, или Малой России. М., 1846. С. 41, 48–49, 56), казацких летописей (см.: Действия презельной и от начала поляков кравшой небывалой брани Богдана Хмельницкого... Г. Грабянки. Киев, 1854. С. 30; Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого. М., 1846. С. 5; и др.), а также из украинских дум (см.: Дума о жидовских откупах и о войне из-за них // Кулиш П. А. Записки о Южной Руси. СПб., 1856. Т. 1. С. 56–63).

См. об этом: *Гоголь Н. В.* Миргород. Повести. С приложением / Сост. и коммент. В.А. Воропаева, И.А. Виноградова. М., 1996. С. 503–505.

⁸⁰...*ксендзы ездят теперь по всей Украине в таратайках.* – *Ксендз* – польский католический священник. *Таратайка* – легкая двухколесная повозка.

⁸¹...*гетман, зажаренный в медном быке...* – По преданию, в Варшаве так был казнен руководитель крестьянско-казацкого восстания 1594–1596 гг. гетман Северин Наливайко, выданный казацкой старшиной польской шляхте.

⁸²...*мучения на Русской земле от проклятых недоверков!..* – *Недоверки* – здесь: принявшие унию, униаты.

⁸³ *Шлема* – уменьш. от имени Соломон.

⁸⁴ *Шмуть* – уменьш. от имени Самуил.

⁸⁵...*в изодранных ермолках...* – *Ермолка* – маленькая круглая шапочка без околыша, из мягкой материи, плотно прилегающая к голове.

⁸⁶ *Я ему восемьсот цехинов дал...* – *Цехин* – старинная венецианская золотая монета.

⁸⁷ *Янкель* – Иаков.

⁸⁸...*казацкие чайки...* – *Чайки* – здесь: длинные узкие лодки (мореходные челны) запорожцев.

⁸⁹ *Исправьте возы и мазницы...* – *Мазница* – «род ведра, в котором держат деготь в дороге» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

⁹⁰...*пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты себе на онучи.* – *Китайка* – хлопчатобумажная ткань синего, красного или зеленого цвета. *Оksamит* (аксамит) – бархат. *Онучи* – куски плотной материи, наматываемой на ноги при ношении лаптей; портянки.

⁹¹...*как собаку за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу...* – Выражение взято Гоголем из подлинного документа 1711 г. – послания гетмана Ивана Скоропадского к некоему Васылю Салогубу, не выполнившему поставки овец и утаившему выданные ему деньги: «...приказали: Тебе, як собаку за шияку взявши и в колоду забывши, присмыкнуты до обозу...» («Книга всякой всячины»). *Шеяка* (шияка; укр.) – шея.

⁹²...*размешайте заряд пороху в чарке сивухи...* – *Сивуха* – плохо очищенная водка.

⁹³ *Прелат одного монастыря...* – *Прелат* – католический епископ; здесь: настоятель монастыря.

⁹⁴...какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение. – *Рушение* – ополчение (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

⁹⁵...летавшими по ветру откидными рукавами епанчи. – *Епанча* – старинный широкий плащ.

⁹⁶*Войско решилось идти прямо на город Дубно... – Дубно* – древнейший город на Украине, известен в летописях с 1100 г.; в XV в. князьями Острожскими здесь был основан православный Спасо-Преображенский монастырь, где с XVI в. находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемой Дубенской. В середине XVII в. город осаждался казаками Богдана Хмельницкого.

⁹⁷...по кипарисному образу из Межигорского киевского монастыря. – *Кипарисный образ* – писанный на доске из кипариса. *Межигорский Киевский монастырь* – Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в 988 г. близ Вышгорода в 20 верстах от Киева; в первой половине XVII в. – один из центров антиуниатской борьбы на Украине. Отсюда в Сечь призывались священнослужители. Здесь погребен предок Гоголя, подольский полковник Евстафий (Остап) Гоголь (ум. в 1679 г.). О нем см.: Чухлиб Т. Тарас Бульба – предок Гоголя? // Родина. М., 2004. № 5.

⁹⁸...как суровый картезианский монах... – *Картезианский монах* – монах католического ордена картезианцев (по названию монастыря, основанного в 1084 г. близ Гренобля в местности Шартрез (лат. Cartusia).

⁹⁹...схватился невольно рукой за пицаль... – *Пицаль* – старинное тяжелое ружье, заряжавшееся с дула.

¹⁰⁰*Спустяся в яр... – Яр* – овраг.

¹⁰¹...дикий колючий бодяк... – *Бодяк* (будяк) – чертополох, репейник.

¹⁰²...скинула с себя черевики... – *Черевики* – башмаки (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

¹⁰³...остановились... перед наваленным хворостом и фашинником. – *Фашинник* (от лат. fascis – связка, пучок прутьев) – связки хвороста, используемые для закрепления земляного вала оборонительного сооружения.

¹⁰⁴*напоминали собою картины Герардо della notte... – Герардо* (Жирандо) della notte – голландский художник Геррит (ван Герард) Гонтгорст (1590–1656), любивший изображать ночные сцены, освещенные факелами, светильниками, и прозванный за это итальянцами «ночным» (della notte). Картины Г. Гонтгорста с эффектным ночным освещением находятся в Риме и во Флоренции.

¹⁰⁵...как и в пещерах Киевских... – Имеются в виду пещеры (др.-рус. – печеры), в которых первоначально располагалась Киево-Печерская Лавра – знаменитый мужской монастырь, основанный в 1051 г.

¹⁰⁶...два молодые клирошанина в лиловых мантиях, с белыми кружевными шемизетками и с кадилами в руках. – Клирошанин – церковнослужитель (причетник, дьячок), поющий в церковном хоре (на клиросе). Шемизетка – здесь: накидка, кружевной нагрудник.

¹⁰⁷...городовой магистрат... – Магистрат – городское управление.

¹⁰⁸...над ним вверху надстроен был в две арки бельведер... – Бельведер (ит. Belvedere – прекрасный вид) – вышка, надстройка над зданием, с которой открывается вид на окрестности.

¹⁰⁹...не нашли, чем пробавить жизнь?... – Пробавить – продлить, поддержать.

¹¹⁰...полковник, который в Бужанах... – Бужаны (Буджаки) – степная область между устьями рек Дуная и Днестра, южная часть Бессарабии. Город с таким названием упоминается в «Истории Русов».

¹¹¹...держались... за стоявшие подле них алебарды... – Алебарда – старинное оружие в виде копья с топориком или секирой на конце.

¹¹²...выпрямив весь прямой, как надречная осоколь, стан свой. – Осоколь – разновидность тополя, то же, что черный тополь.

¹¹³...если кто-нибудь... продаст казаку хоть один кухоль сивухи... – Кухоль – кружка (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

¹¹⁴...пробовали сабли и палаши... – Палаш – холодное рубящее и колющее оружие с прямым длинным клинком.

¹¹⁵...впереди отряда пан хорунжий... – Хорунжий (букв. знаменосец; от слова хоругвь – войсковое знамя) – в польско-литовской армии XVI–XVIII вв. командир хоругви, войскового подразделения, соответствующего роте.

¹¹⁶...до самого Шклова... – Шклов – город на Днепре, известен с XVI в.

¹¹⁷Ицка – Исаак.

¹¹⁸...теперь он такой важный рыцарь... далибуг, я не узнал. – Далибуг (от пол. Dalibog) – ей-Богу (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

¹¹⁹...Крепко курнули казаки... – Курнули – загуляли, напились.

¹²⁰ *И много было видно за ними всякой шляхты...* – *Шляхта* (от нем. *slachte* – род, происхождение) – мелкопоместное польское дворянство.

¹²¹ *Немало было и всяких сенаторских нахлебников...* – *Сенаторы* – здесь: члены Сената, высшего законодательного учреждения королевской Польши.

¹²² *...бывший под Адрианополем...* – *Адрианополь* – греческое название города Эдирне на северо-западе Турции, в Восточной Фракии.

¹²³ *...пустил за ухо оселедец...* – *Оселедец* – «длинный клочок волос на голове, заматывающийся за ухо; в собственном смысле – сельдь» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

¹²⁴ *...красные жупаны...* – *Жупан* – род кафтана (там же).

¹²⁵ *...отвязав от пояса целый черенок с червонцами.* – *Черенок* – «пояс, в который насыпали червонцы» (там же); кошель для монет, привязывавшийся к поясу.

¹²⁶ *...бросился напереймы.* – *Наперерез, наперехват.*

¹²⁷ *...выкинули хоругвь...* – *Хоругвь* – См. коммент. № 115.

¹²⁸ *...сели кругами все курени вечерять...* – *Вечерять* – ужинать.

¹²⁹ *...направили путь прямо к Перекопу.* – *Перекоп* – Перекопский перешеек, соединяющий Крымский полуостров с материком. В XV–XVIII вв. в Крыму находилось Крымское ханство, откуда татары совершали набеги на Россию и Украину.

¹³⁰ *...заколот мирзу...* – *Мирза* (мурза) – знатный татарин.

¹³¹ *...пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне...* – *Малая Азия* – полуостров на западе Азии; омывается Черным, Мраморным, Эгейским и Средиземным морями, проливами Босфор и Дарданеллы. *Смирна* – древнегреческое название города Измир в Турции на берегу Эгейского моря.

¹³² *...другая половина выберет себе наказного атамана.* – *Наказной атаман* – временно замещающий кошевого в его отсутствие.

¹³³ *Мосий* – уменьш. от имени Моисей.

¹³⁴ *...по всем заходам и днепровским островам...* – *Заходы* – здесь: заливы.

¹³⁵ *...бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле...* – *Волошская земля* – греческая земля.

¹³⁶ *...не раз драли на онучи дорогие паволоки...* – *Паволока* – нарядная шелковая ткань.

¹³⁷ *...не раз череши... набивали все чистыми цехинами.* – *Череша* – кошельки.

¹³⁸ *...и загадались обе седые головы.* – *Задумались.*

¹³⁹...пошাপковавшись еще раз с товарищами... – Пошাপковаться – попрощаться, снимая шапки с головы.

¹⁴⁰...дебелые колеса... – Здесь: тяжелые, массивные.

¹⁴¹...поле с облогами... – Облога (облог) – запущенная, заросшая травой пашня, пустошь, целина.

¹⁴²...обнесши их возами в виде крепостей... – В материалах по русской истории, в наброске «О славянах древних», Гоголь отметил: «Образ войны славян с телегами самый древний».

¹⁴³Семипядная пицаль – Пицаль – здесь: пушка длиной около полутора метров, в семь пядей (пядь – старинная русская мера длины, равная расстоянию между концами раздвинутых большого и указательного пальцев).

¹⁴⁴Глухов, Немиров, Чернигов – древние украинские города.

¹⁴⁵...и наплечники и зеркала погнулись у обоих от ударов. – Зерцало – здесь: металлические доспехи из колец и пластин, защищающие грудь и спину воина.

¹⁴⁶Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. – Самопал – старинное гладкоствольное ружье, заряжавшееся с дула.

¹⁴⁷...угощает ляхов, шеломя того и другого... – Шеломить – бить по голове, по шелому (шлему).

¹⁴⁸...дорогой турецкой габы, киндяков... – Габа – здесь: тонкое белое сукно. Киндяк – шелковая лента.

¹⁴⁹...на Покров... оклад из чистого серебра. – Имеется в виду икона Покрова Пресвятой Богородицы. Запорожцы почитали Матерь Божию как свою покровительницу.

¹⁵⁰Садись Кукубенко, одесную Меня!.. – Одесную – по правую руку, с правой стороны.

¹⁵¹...гатились мосты... – Гатить – класть гать, настил из хвороста или бревен для перехода через топкое место.

¹⁵²Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки... – Аргамаки – старинное название восточных породистых верховых лошадей.

¹⁵³Атукнул на него опытный охотник. – Атукать (в речи охотников) – кричать «ату», натравливая собаку на охоте.

¹⁵⁴...на расхищенье волкам-сыромахам... – Волк-сыромаха – традиционный эпитет волка в украинском фольклоре. Сыромаха – питающийся сырым мясом.

¹⁵⁵...поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой пива для рыцаря. – Корчик – «род деревянного ковша, которым пересыпают хлеб, совок» (гоголевский словарь «малороссийских слов»). Стопа – большая кружка.

¹⁵⁶...высыпал из кожаного гамана две тысячи червонных... – *Гаман* – «род бумажника, где хранится огниво, кремь, трут, табак, иногда и деньги» (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

¹⁵⁷...схватил себя обеими руками за пейсики... – *Пейсики* – жидовские локоны (там же).

¹⁵⁸...там все лакомки, ласуны... – *Ласун* – сластена, сладкоежка.

¹⁵⁹...посунувши рукава обшлагов... – *Посунуть* – здесь: оправить, подтянуть.

¹⁶⁰...разевались из-под жидовского яломка... – *Яломок* – «шапка, свалаянная из коровьей шерсти» (гоголевский «Лексикон малороссийский»), ермолка.

¹⁶¹Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. – *Левентарь* (искаж. региментарь) – командир войсковой части; здесь: начальник охраны, караула.

¹⁶²Ой, вей мир! (евр.) – О, горе мне!

¹⁶³Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе... – *Меркантильный* – занятый торговлей, корыстолюбивый.

¹⁶⁴У дверей подземелья... стоял гайдук... – *Гайдук* – здесь: солдат, ратник.

¹⁶⁵...а цурки, где только увидят военных... – *Цурка* (польск.) – девушка, дочь (гоголевский словарь «малороссийских слов»).

¹⁶⁶Он стоял с коханкою своею... – *Коханка* (от польск. кохать – любить) – любимая девушка.

¹⁶⁷На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. – *Балдахин* – здесь: нарядный шатер, навес над сиденьем.

¹⁶⁸Молодой, но сильный духом гетман Острианица проводил всею несметной казацкой силою. – *Острианица* (Остряница) – Острянин Яков (?–1641), гетман, руководитель антипольского крестьянско-казацкого восстания 1638 г. Потерпев поражение, Острианица с частью казаков и их семьями ушел в Россию под защиту русского царя. Он поселился на Чугуевском городище (ныне город Чугуев на Харьковщине). Убит во время волнений в связи с обострением отношений между рядовым казачеством и казацкой старшиной.

¹⁶⁹...престарелый, опытный товарищ его и советник, Гуня. – *Гуня* Дмитро Тимошевич – гетман; один из руководителей крестьянско-казацких восстаний против польской шляхты в 30-х гг. XVII в. После поражения восстания 1638 г. с частью войска отступил в пределы России. В 1640 г. возглавил совместный поход донских и запорожских казаков против Турции.

¹⁷⁰ *Два генеральные есаула и генеральный бунчужный ехали вслед за гетманом.* – *Генеральный есаул* – один из высших войсковых начальников в Запорожской Сечи, ведал вооружением и снаряжением казаков. *Генеральный бунчужный* – хранитель бунчука, знака власти атамана или гетмана. Бунчук – старинная воинская регалия в виде длинного древка с острием или шаром на верхнем конце, украшенном прядями конских волос и кистями; пожалован запорожскому войску польским королем в 1576 г. вместе с булавой и знаменем.

¹⁷¹ *Генеральный хорунжий предводил главное знамя...* – *Генеральный хорунжий* – хранитель войскового знамени; одна из высших войсковых должностей в Запорожской Сечи.

¹⁷² *Много также было других чинов полковых... войсковых товарищей...* – *Войсковые товарищи* – почетное звание, присваивавшееся казацкой старшине за боевые заслуги; подчинялись непосредственно полковнику.

¹⁷³ *Цигирин, Переяслав, Батури* – древние украинские города. В Батурине в XVII–XVIII вв. располагалась резиденция украинских гетманов.

¹⁷⁴ *...коронный гетман Николай Потоцкий...* – *Потоцкий Николай* (1594–1651) – граф, польский государственный и военный деятель; с 1646 г. – коронный (то есть назначенный пожизненно польским королем) гетман. Руководил подавлением крестьянско-казацких восстаний на Украине. В 1648 г. захвачен казаками Богдана Хмельницкого в плен, выдан крымскому хану, но освобожден за большой выкуп.

¹⁷⁵ *...в небольшом местечке Полонном...* – *Полонное* – древнейший украинский город, известный с XII в.

¹⁷⁶ *...в пастырской митре...* *Митра* – головной убор архиереев, надеваемый во время богослужения.

¹⁷⁷ *...не верьте ляхам: продадут, псяюхи!* – *Псяюха* – «польское бранное слово» (гоголевский словарь «малороссийских слов»); букв.: собачья кровь.

¹⁷⁸ *...набьют ее гречанюю поволою...* – мякиной, шелухой, остающейся после молотбы гречихи.

¹⁷⁹ *...под Каневом...* – *Канев* – древнейший город на Днепре, известный с XII в.

¹⁸⁰ *...и уже доходил до Кракова.* – *Краков* – древнейший польский город; в XI–XVI вв. столица польского государства.

¹⁸¹ *...оглашенное звонким ячаньем лебедей...* – *Ячанье* – лебединый крик. «Чи то гусы кричать, чи лебеди ячать...» (Дума о

Федоре Безродном // *Максимович М. Украинские народные песни.* Ч. 1. М., 1834. С. 6).

¹⁸²...и гордый гоголь быстро несется... – Гоголь – водоплавающая птица из семейства утиных. В гоголевской записной книжке 1842–1844 г. среди «уток нырков» дается описание «гоголя большого»: «В большую утку, белого цвета с красными перьями. Около головы вроде манжет, ноги в зад к самому хвосту. Трудно застрелить, потому что, едва завидевши, опускается всем телом вниз, и только одна шея поверх воды. Бегать на суше не может. Плышет гордо и быстро, поднявши длинный нос. Детей иногда кладет себе на спину и с ними плывет. Нырять далеко и под водою долго».

¹⁸³...краснозобых курухтанов... – Курухтан (турухтан) – птица из семейства бекасовых.

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ

Впервые напечатано: Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. СПб., 1847. В первом издании книги цензурой были исключены следующие письма: XIX. *Нужно любить Россию*; XX. *Нужно проезжаться по России*; XXI. *Что такое губернаторша*; XXVI. *Страхи и ужасы России*. XXVIII. *Занимающее место*. В конце жизни, задумав новое Собрание сочинений, Гоголь предполагал включить эти и другие письма в пятый том, дополнив их статьями из «Арабесок» (1835). Впервые полный текст «Выбранных мест из переписки с друзьями» издан Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

О замысле книги Гоголь впервые сообщает в письме к А. О. Смирновой из Франкфурта от 2 апреля (н. ст.) 1845 г.: «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих...» Год спустя, в письме к Н. М. Языкову от 21 апреля (н. ст.) 1846 г., он снова говорит о своем замысле: «Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться

книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах... Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе».

В это время Гоголь уже работает над книгой, что видно из письма к тому же Языкову от 5 мая (н. ст.) 1846 г.: «Я не оставляю намерения издать выбранные места из писем, а потому, может быть, буду сообщать тебе отныне почаще те мысли, которые нужно будет пустить в общий обиход». В записной книжке Гоголя 1841–1846 г. сохранился первоначальный план книги, в которой, как он надеялся, ему удастся разрешить свою важнейшую писательскую задачу:

«Предисловие.

Завещание.

Обязанности женщины.

О болезни.

О лиризме.

О науке.

О том, что <такое> слово.

О чтениях.

О помощи бедным.

О духовенстве.

В чем же наконец <существо русской поэзии>.

О театре.

Что может сделать <...>

Что такое губернаторша.

О предметах лирических.

Советы.

Карамзин».

Наиболее напряженное время работы над книгой – лето и осень 1846 г. (почти половина писем датирована этим годом). Гоголь переделывает письма (возможно, часть из них он сохранил в черновиках, другие были возвращены ему корреспондентами) и пишет новые главы. Одни представляют собой статьи, другие – послания, адресованные конкретным и неким обобщенным лицам. Среди немногих, посвященных в замысел, был В. А. Жуковский, которому Гоголь читал две последние главы.

Книга была написана быстро – как бы на одном дыхании. «Вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка труда» (из письма к П. А. Плетневу от 20 октября (н. ст.) 1846 г.). Здесь же Гоголь объясняет происхождение той легкости, с которой он на этот раз ра-

ботал: «...я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу Его святого имени взял перо, а потому и расступились перед мною все преграды...»

Посылая 30 июля (н. ст.) 1846 г. П. А. Плетневу в Петербург первую тетрадь рукописи, Гоголь требует: «Все свои дела в стору, и займись печатаньем этой книги под названием: «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, слишком нужна всем – вот что покамест могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга...» Гоголь настолько уверен в успехе, что советует Плетневу запастись бумагу для второго издания, которое, по его убеждению, последует незамедлительно: «...книга эта разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга».

Узнав о возникших цензурных затруднениях, Гоголь просит А. О. Смирнову, которая жила тогда в Калуге, съездить в Петербург и предпринять необходимые шаги для устранения препятствий, а Плетневу предлагает в случае осложнения с цензором представить книгу Государю на прочтение в корректурных листах: «Дело мое – правда и польза, и я верю, что моя книга будет вся им пропущена».

Первый и весьма ощутимый удар нанесла книге цензура: пять писем-статей были исключены вовсе, в других сделаны купюры и исправлены отдельные места. Встревоженный и огорченный Гоголь жалуется графине А. М. Виельгорской: «В этой книге все было мною рассчитано и письма размещены в строгой последовательности, чтобы дать возможность читателю быть постепенно введены в то, что теперь для него дико и непонятно. Связь разорвана. Книга вышла какой-то оглодыш» (из письма от 6 февраля (н. ст.) 1847 г.).

Гоголь решает представить непропущенные главы Государю и просит П. А. Плетнева устроить это через А. О. Смирнову и графа М. Ю. Виельгорского; составлено было даже письмо к царю, но Плетнев отговорил его от этого шага. Гоголь надеялся выпустить книгу вторым изданием, в полном виде, однако этим надеждам сбыться было не суждено.

Новая книга Гоголя вызвала небывалый общественный резонанс. В русской литературе трудно найти другое произведение, о котором было бы высказано столько резких суждений, пристрастных оценок и полемических заявлений, как о «Выбранных местах из переписки с друзьями». Уже февральский номер петербургского журнала «Финский Вестник» сообщал читателям: «Ни одна кни-

га в последнее время не возбуждала такого шумного движения в литературе и обществе, ни одна не послужила поводом к столь многочисленным и разнообразным толкам...» (Финский Вестник. 1847. № 2. С. 33). По свидетельству С. П. Шевырева, в течение двух месяцев по выходе книги «она составляла любимый, живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы, разумеется, в тех кругах, куда проникают мысль и литература, где бы не толковали об ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались бы из нее отрывки» (Москвитянин. 1847. № 1. С. 4).

В спорах быстро выявилась преобладающая тенденция – неприятие книги. Ее решительно осудили А. И. Герцен, В. Г. Белинский и другие люди западнического направления (Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, В. П. Боткин, П. В. Анненков). В славянофильских кругах книга Гоголя была принята по-разному. Так, А. С. Хомяков защищал ее, а семья Аксаковых разделилась в мнениях. Сергей Тимофеевич, глава этой семьи, выговаривал Гоголю: «Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить Небу и человечеству, – оскорбляете и Бога и человека» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 80). Впоследствии, уже после смерти Гоголя, С. Т. Аксаков раскаялся в своих резких высказываниях). Его сын Константин усмотрел в книге некую ложь: «Ложь не в смысле *обмана* и не в смысле *ошибки* – нет, а в смысле *неискренности* прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою...» (Там же. С. 95). Иван Аксаков, напротив, считал, что «Гоголь прав и является в этой книге как идеал художника-христианина...» (Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. С. 342).

Авторитетнейший из мыслящих москвичей П. Я. Чаадаев, как всегда, имел своеобразное мнение. «При некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, – писал он князю П. А. Вяземскому, – в книге его (Гоголя. – В. В.) находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся» (Чаадаев П. Я. Статьи и письма. Изд. 2-е, доп. М., 1989. С. 314).

На книгу Гоголя откликнулись почти все журналы и газеты. В мартовских номерах «Московского Городского Листка» была напечатана статья Аполлона Григорьева «Гоголь и его последняя книга» – первая по времени попытка истолкования «Выбранных мест...» Разбирая «странную», по его слову, книгу Гоголя, критик утверждал, что она есть болезненный момент в духовном развитии

автора, но самую болезненность считал характерной для эпохи и величайшей заслугой Гоголя находил мысль о необходимости для всякой личности «собирания себя всего в самого себя» (Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 115, 118).

Одним из первых Аполлон Григорьев выступил против деления Гоголя на раннего и позднего, гениального художника и слабого мыслителя, пытаясь показать новую книгу писателя как закономерный результат всего его предшествующего развития. Гоголь, однако, не нашел в этом выступлении ничего полезного. «Статья Григорьева довольно молодая, – писал он С. П. Шевыреву из Марселя 25 мая (н. ст.) 1847 г., – говорит больше в пользу критика, чем моей книги».

В конце апреля 1847 г. в «Санкт-Петербургских Ведомостях» появилась большая статья князя П. А. Вяземского «Языков. – Гоголь», посвященная двум событиям в литературном мире – смерти поэта Н. М. Языкова и выходу «Выбранных мест из переписки с друзьями». «Как ни оценивай этой книги, – писал Вяземский, – с какой точки зрения ни смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательная. Она событие литературное и психологическое» (*Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика.* М., 1984. С. 173).

В статье содержалось немало резких высказываний о Белинском (хотя имя его и не называлось), что не понравилось Гоголю. Благодаря князя за статью, он выразил неудовольствие резкостью его суждений о «нападателях» на книгу. «Ожидаю от вас статьи, – писал Гоголь, – в которой бы и я, и книга оставались в стороне, а выступил бы на сцену предмет» (то есть суть книги).

Подробному и язвительному разбору подверг «Выбранные места...» литератор Н. Ф. Павлов в «Московских Ведомостях» за март – апрель 1847 г. Примерно тогда же появились статьи Л. В. Бранта, барона Е. Ф. Розена, Ф. В. Булгарина, О. И. Сенковского и других. Это все была мелочная, придирчивая критика. Независимо от того, хвалили они Гоголя или ругали, их писания носили поверхностный характер.

Одним из первых на книгу отозвался В. Г. Белинский. В февральском номере «Современника» (вышел 7 февраля) появилась его рецензия, которая заканчивалась словами: «Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу...» (Бе-

линский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 238–239). Эта рецензия подверглась сокращению как со стороны редакции журнала, так и со стороны цензуры. В том же феврале 1847 г. Белинский писал В. П. Боткину: «Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошою, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству» (Там же. Т. 9. С. 623). Этим чувствам критик вполне предался в своем известном письме к Гоголю из Зальцбрунна от 15 июля (н. ст.) 1847 г. Он считал, что Гоголь изменил своему дарованию и убеждениям. Бросил ему обвинения в лицемерии и даже корысти, утверждая, что «гимны властям предержащим хорошо устраивают набожного автора» и что книга написана с целью попасть в наставники к сыну наследника престола; в языке книги он видел падение таланта и недвусмысленно намекал на умопомрачение Гоголя. Но главный пункт, на который нападал критик и который является центральным в книге, был вопрос о религиозном будущем народа.

«По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь!.. – писал Белинский. – Приглядитесь пристальнее и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности... Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем».

Гоголь был потрясен несправедливостью упреков. Поначалу он написал большое письмо, в котором ответил Белинскому по всем пунктам. «Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии, – писал, в частности, Гоголь, – и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем отзывается о Боге... Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятиях легкими журнальными статейками...»

Этого письма Гоголь, однако, не отправил. Он написал другое, короткое и сдержанное, заключив его словами: «Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без ко-

торого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще». А П. В. Анненкову, знакомому с письмом Белинского, Гоголь признавался, что оно огорчило его «не столько оскорбительными словами... сколько чувством ожесточенья вообще».

Среди немногих безоговорочно принявших книгу был П. А. Плетнев. 1 января 1847 г. он писал Гоголю: «Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 1. С. 271–272).

Книга Гоголя действительно оказала положительное воздействие на небольшой круг людей. Среди них были И. С. Аксаков, известная детская писательница А. О. Ишимова, супруги Глинки – оба литераторы, Н. В. Неводчиков (впоследствии архиепископ Кишиневский Неофит). Оптинский иеромонах Климент (Зедергольм), сын лютеранского пастора, рассказывал еще до своего пострижения Льву Кавелину, тогда послушнику в скиту Оптиной Пустыни, а впоследствии архимандриту, наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры, что «Выбранные места...» стали началом его обращения к Православию (См.: РГБ. Ф. 214 (Летопись скита Оптиной Пустыни). № 361. Л. 129 об.).

Духовенство отнеслось к книге сдержанно – оно традиционно не вмешивалось в дела светской литературы. С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану в январе 1847 г. передал мнение святителя Филарета, митрополита Московского, который сказал, что «хотя Гоголь во многом заблуждается, но надобно радоваться его христианскому направлению» (Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем М., 1960. С. 168). Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов), которому Гоголь послал книгу, свое отношение к ней высказал в письме к М. П. Погодину: «...скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностью: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то чтоб он молчал. Голос его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 1. С. 419). Гоголь отвечал преосвященному Иннокентию (в июле 1847 г.), что не хотел «парадировать набожностью», то есть выставлять ее напоказ: «Я

хотел чистосердечно показать некоторые опыты над собой, именно те, где помогла мне религия в исследовании души человека, но вышло все это так неловко, так странно, что я не удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой подняла моя книга».

Другой владыка, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский Ириней (Нестерович), в письме к князю П. А. Вяземскому от 13 сентября 1847 г. отзывался о сочинении Гоголя в целом неблагоприятно, но добавил, что всю книгу окупает глава «О лиризме наших поэтов»: «Это статья классическая» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1968. Л. 4). Преосвященный Ириней был не одинок в неприятии «светского богословия». По всей вероятности, отрицательное мнение о «Выбранных местах...» имел ржевский протоиерей Матфей Константиновский, которому Гоголь послал книгу по рекомендации графа А. П. Толстого. Отзыв его не сохранился, но мы можем судить о нем по ответу Гоголя, который писал ему 9 мая (н. ст.) 1847 г. из Неаполя: «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу».

По-видимому, отец Матфей упрекал Гоголя в непрошеном учительстве, а также в увлечении светскими темами (в частности, он нападал на статью «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», как уводящую общество от Церкви). Гоголь пытался защищаться тем, что «закон Христов можно внести с собой повсюду... Его можно исполнять также и в званьи писателя» (из письма от 24 сентября (н. ст.) 1847 г.). И далее – в этом же письме – знаменательная фраза: «Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполнение всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас...»

На «Выбранные места...» откликнулся и святитель Игнатий (Брянчанинов), в ту пору архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга, а впоследствии епископ Кавказский и Черноморский, один из авторитетнейших духовных писателей XIX века. Он отзывался о книге Гоголя критически: «...она издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия не определены, движутся по направлению сердечного вдохновения, неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного... Книга Гоголя не может быть принята целиком и за чистые глаголы истины. Тут смешано. Желательно, чтоб этот человек, в котором заметно

самоотвержение, причалил к пристанищу истины, где начало всех духовных благ» (Цит. по авторизованной копии, опубликованной И. А. Виноградовым. См.: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2001. С. 420). В заключение святитель советовал своим друзьям читать святых отцов, «стяжавших очищение и просвещение, как и Апостолы, и потом написавших свои книги, из коих светит чистая истина и кои читателям сообщают вдохновение Святаго Духа».

Отзыв святителя Игнатия Гоголю был известен. По выходе книги П. А. Плетнев отправил два экземпляра друзьям Гоголя Балабиным. М. П. Балабина, бывшая ученица Гоголя (которой он давал уроки в бытность свою в Петербурге), один из них передала для прочтения архимандриту Игнатию, и тот возвратил книгу со своим отзывом. Поблагодарив Плетнева за присланный отзыв, Гоголь в письме из Неаполя от 9 мая (н. ст.) 1847 г. признал справедливость упреков, но утверждал, что для произнесения полного суда над книгой «нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страдание той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня неудивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома...»

Следует иметь в виду, что говоря о «страдание той половины современного человечества, с которой не имеет и случаев сойтись монах», Гоголь подразумевал людей неверующих, тех, кто не ходит в церковь, которым он, собственно, и адресовал свою книгу. В тот же день, что и Плетневу, Гоголь писал отцу Матфею Константиновскому: «Мне кажется, что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».

Наиболее благоприятный отзыв о «Переписке с друзьями» из духовных лиц принадлежал архимандриту Феодору (Бухареву). Он вылился в целую книгу, увидевшую свет через двенадцать лет после своего создания. Отец Феодор стремился связать «Выбранные места...» со всем творчеством Гоголя и в особенности с «Мертвыми душами», главную идею которых видел в воскрешении души павшего человека. «Помнится, – писал он в позднейшем примечании, – когда кое-что прочитал я Гоголю из моего

разбора «Мертвых душ», желая только познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы, то и его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович? Гоголь как будто с радостью подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма» (*Феодор (Бухарев)*, архимандрит.> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860. С. 138). На вопрос, воскреснут ли другие герои первого тома, Гоголь отвечал с улыбкой: «Если захотят».

Архимандрит Феодор читал Гоголю отрывки из своей книги. «Из его речей, — свидетельствует он, — мне можно было с грустью видеть, что не мешало бы сказаться и благоприятному о его «Переписке» голосу: мне виделся в нем уже мученик нравственного одиночества...» (Там же. С. 138–139).

Надо заметить, что все отзывы духовных лиц носили частный характер — они были переданы в письмах (за исключением книги архимандрита Феодора, вышедшей уже после смерти Гоголя). Напротив, шквал светской критики, обрушившийся на «Выбренные места...» с журнальных страниц, создал в обществе по преимуществу неблагоприятное мнение о книге. В ней видели отказ Гоголя от художественного творчества и самонадеянные попытки проповедничества. Распространилось даже убеждение, что Гоголь помешался, и оно держалось до последних дней жизни писателя. И. С. Тургенев, посетивший вместе с М. С. Щепкиным Гоголя в октябре 1851 г., вспоминал, что они «ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... Вся Москва была о нем такого мнения» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 532).

Гоголя огорчала не столько журнальная критика, сколько нападения друзей. «Душа моя изныла, — писал он С. Т. Аксакову 10 июля (н. ст.) 1847 г., — как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным... Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями!»

Гоголь стремился выработать в себе христианское чувство смирения. В этом свете следует понимать и его признание в письме к С. Т. Аксакову от 28 августа (н. ст.) того же 1847 г.: «Да, книга моя нанесла мне поражение, но на это была воля Божия... Без этого поражения я бы не очнулся и не увидел бы так ясно, чего

мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них, так же, как и в вашем, есть своя справедливая сторона».

Это свое понимание христианского смирения, почерпнутое из писаний святых отцов, Гоголь сжато изложил в «Правиле жития в мире»: «От споров, как от огня, следует остерегаться, как бы ни сильно нам противуречили, какое бы неправое мнение нам ни излагали, не следует никак раздражаться, ни доказывать напротив; но лучше замолчать и, удалясь к себе, взвесить все сказанное и обсудить хладнокровно... Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет». В том же письме к С. Т. Аксакову, где Гоголь говорит о своем поражении, он высказывает убеждение, что никто не смог дать верного заключения о книге, и прибавляет: «Осудить меня за нее справедливо может один Тот, Кто ведает помышления и мысли наши в их полноте».

В результате всех критических выступлений создалось в целом крайне неблагоприятное к «Выбранным местам...» общественное мнение. Гоголь вынужден был отказаться от второго издания книги. Отдельные главы ее он намеревался включить в пятый том задуманного им в конце жизни нового собрания сочинений; сюда же должны были войти и статьи из «Арабесок». Однако это не означало отказа от книги в ее настоящем виде. Г. П. Данилевский, посетивший вместе с О. М. Бодянским Гоголя осенью 1851 г., вспоминает, что на вопрос о «Переписке» Гоголь ответил: «Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 439).

Предисловие

¹ *Я был тяжело болен...* – Весной – летом 1845 г.

² *...приготовляясь к отдаленному путешествию...* – Подразумевается паломничество в Иерусалим, которое Гоголь совершил в начале 1848 г.

³ *...в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем...* – Гоголь опасался умереть от морской болезни, которой всегда страдал. В письме из Неаполя от 7 декабря (н. ст.) 1847 г. он признавался М. П. Погодину: «...замирает малодушный

дух мой при одной мысли о том, какой длинный мне предстоит переезд, и все почти морем, которого я не в силах выносить и от которого страдаю ужасно». Оттуда же Гоголь писал и Н. Н. Шереметевой: «Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды, а я бываю сильно болен морскою болезнью даже и во время малейшего колебания». Прибыв на Мальту, он сообщал графу А. П. Толстому 22 января (н. ст.) 1848 г.: «Рвало меня таким образом, что все до едины возымели о мне жалость...»; и на следующий день графине А. М. Виельгорской: «Если бы еще такого адского состоянья были одни сутки, меня бы не было на свете».

I. Завещание

По предположению Н. С. Тихонравова, поддержанному современными исследователями, написано в начале июля 1845 г. Публикация «Завещания» вызвала многочисленные нарекания в адрес Гоголя даже со стороны безусловных поклонников книги. 7 февраля 1847 г. графиня А. М. Виельгорская писала ему из Петербурга: «...вообще все хвалят ваши письма, но не одобряют «Предисловия» и особенно духовного завещания, видя в нем, как они говорят, «уничужение паче гордости». Признаюсь вам откровенно, я сама сожалею, что вы напечатали ваше духовное завещание, не оттого, что оно мне не нравится, но оттого, что оно не может понравиться публике и что она не может понять его» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 232). Князь П. А. Вяземский, разбирая «Выбранные места...», указывал: «Иному в этой книге, как, например, *завещанию*, не следовало бы войти в состав ее. Что разрешается мертвому, то может быть превратно перетолковано в живом» (*Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика*. М., 1984. С. 179).

Исследователи отмечали литературный характер «Завещания». При переиздании книги Гоголь намеревался заменить его письмом к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г. под названием «Искусство есть примирение с жизнью».

В письме к матери от 25 января (н. ст.) 1847 г. Гоголь так объяснял ей и сестрам причины, побудившие его опубликовать свое завещание: «Завещание мое, сделанное во время болезни, мне нужно было напечатать по многим причинам в моей книге. Сверх того, что это было необходимо в объяснение самого появления такой книги, оно нужно затем, чтобы напомнить многим о смерти, о

которой редко кто помышляет из живущих... Если бы вы истинно и так, как следует, были наставлены в христианстве, то вы бы все до единой знали, что память смертная – это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. В Священном Писании сказано, что тот, кто помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит... По тех пор, покуда человек не сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра его ожидающею, он никогда не станет жить так, как следует, и все будет откладывать от дня до дня на будущее время».

¹...завещаю... мое сочинение, под названием «Прощальная повесть». – Судьба этого произведения неизвестна. См.: Барабаш Ю. Гоголь. Загадка «Прощальной повести» («Выбранные места из переписки с друзьями». Опыт непредвзятого прочтения). М., 1993; Михед П. О загадке «Прощальной повести» Н. В. Гоголя // Вопросы лит. М., 1999. Вып. 2; Манн Ю. В. О тайне «Прощальной повести» Гоголя // Вестник истории, литературы и искусства. М., 2005. Т. 1.

²...подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкой... – Ср. в письме Гоголя к протоиерею Матфею Константиновскому от конца апреля 1850 г.: «Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнью, как игрушкой, что жизнь – не игрушка».

³...что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни. – Ср. в Послании св. апостола Павла к Евреям: «...где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя... оно не имеет силы, когда завещатель жив» (гл. 9, ст. 16–17).

⁴VI. – Этот пункт завещания не был включен Гоголем в книгу. 14 ноября (н. ст.) 1846 г. он писал матери из Рима: «Посылаю вам выпущенный в печати отрывок из завещания, относящийся собственно к вам и к сестрам. Хотя, благодаря неизреченную милость Божию, я еще раз спасен, и живу, и вижу свет Божий, но вы все-таки прочитайте это завещание и постарайтесь исполнить (как вы, так и сестры) хотя часть моей воли при жизни моей».

Полный текст VI пункта Завещания гласит: «Завещаю доходы от изданий сочинений моих, какие ни выйдут по смерти моей, в собственность моей матери и сестрам моим на условии делиться с бедными пополам. Как бы ни нуждались они сами, но да помнят вечно, что есть на свете такие, которые нуждаются еще более их. Из бедных же должны они помогать только таким, которые возымеют желание искренне переменить жизнь и сделаться лучшими,

для чего им следует подробно входить в обстоятельства и положение каждого бедняка и помогать не прежде, как совершенно его узнавши; деньги эти приобретены не без труда, а потому и не должны быть брошены на воздух. Все же мое недвижимое имущество, какое я имел, отдано мною уже давно моей матери. Если же акт, утверждавший сию дачу и сделанный назад тому пятнадцать лет, не покажется довольно утвердительным, то я подтверждаю это вновь здесь, дабы никто не дерзнул у ней оспаривать ее право. Прошу как мать, так и сестер моих, перечестъ сызнова после моей смерти все мои письма к ним, писанные в последние три года, особенно не исключая тех, которые, по-видимому, относятся к одному хозяйству: многое поймется по смерти моей лучше. По кончине моей никто из них уже не имеет права принадлежать себе, но всем тоскующим, страждущим и претерпевающим какое-нибудь жизненное горе. Чтобы дом и деревня их походили скорей на гостиницу и странноприимный дом, чем на обителище помещика; чтобы всякий, кто ни приезжал, был ими принят как родной и сердцу близкий человек, чтоб радушно и родственно расспросили они его обо всех обстоятельствах его жизни, дабы узнать, не понадобится ли в чем ему помочь или же, по крайней мере, дабы уметь ободрить и освежить его, чтобы никто из их деревни не уезжал сколько-нибудь не утешенным. Если же путник простого звания привыкнул к нищенской жизни и ему неловко почем-либо поместиться в помещичьем доме, то чтобы он отведен был к зажиточному и лучшему крестьянину на деревне, который был бы притом жизни примерной и умел бы помогать брату умным советом, чтобы и он расспросил своего гостя так же радушно обо всех его обстоятельствах, ободрил, освежил и снабдил разумным напутствием, донося потом обо всем владельцам, дабы и они могли, с своей стороны, прибавить к тому свой совет или вспомоществование, как и что найдут приличным, чтобы таким образом никто из их деревни не уезжал и не уходил сколько-нибудь не утешенным».

В письме к матери от 14 ноября (н. ст.) 1846 г. Гоголь добавлял: «Сестрам моим советую особенно прочитать покрепче приложенный при этом листок из завещания. И присоединяю им, сверх того, еще несколько слов, которые прошу их так свято исполнить, как бы последнюю волю уже умершего брата:

«Чтобы с этих пор увеличили они ко всем ласковость и приветливость, гораздо в большей степени, чем прежде. У Лизы было что-то похожее на кокетничество, когда ей случалось говорить с молодыми мужчинами или просто быть при них. Чтобы это было

выброшено из головы. Чтобы на всех молодых людей глядели они так, как сестра глядит на брата; чтобы были с ними искренни, простодушны, говорливы и говорили так просто, как бы со мною, как бы век были знакомы со всеми ими. Чтобы на всякого пожилого и старого человека глядели бы, как на родного и как на весьма любимого дядю, если не как на отца; чтобы прислуживали ему и показывали такое внимание и так упреждали бы малейшее желан<ие> его, чтобы ему показалось действительно, как бы перед ним его племянницы или внуки. Словом, чтобы повсюду вокруг распространялась даже молва о радушном угощении всякого гостя хозяйками деревни Васильевки и чтобы все знали, что есть действительно такое место, где всякий гость есть брат и наближайший сердцу человек, несмотря на то, какого бы он состояния и звания ни был».

⁵...*без моей воли и позволения опубликован мой портрет.* — В № 11 журнала «Москвитянин» за 1843 г. М. П. Погодиным была помещена литография П. Зенькова с портрета Гоголя работы А. А. Иванова (1841). Другая литография с портрета Гоголя работы К. П. Мазера (1840) напечатана в альманахе «Молодик» (Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. Вып. 4. СПб., 1844). По этому поводу Гоголь писал Н. М. Языкову из Франкфурта 26 октября (н. ст.) 1844 г.: «...скажу тебе откровенно, что большего оскорбления мне нельзя было придумать. Если бы Булгарин, Сенковский, Полевой, совокупившись вместе, написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует к моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим». Н. Г. Машковцев высказал предположение, что публикация в «Москвитянине» портрета Гоголя, где он был выставлен на всеобщее обозрение, по его собственным словам, «забудыгой» — «неряхой, в халате, с длинными, взъерошенными волосами и усами» (из письма к С. П. Шевыреву от 14 декабря (н. ст.) 1844 г.), противоречила замыслу Гоголя явиться впервые перед русской публикой в ином облике, а именно в образе одного из персонажей картины А. Иванова «Явление Мессии» — кающегося грешника, так называемого «ближайшего к Христу» (см.: Машковцев Н. Г. История портрета Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 2. Л., 1936).

⁶ *Художник этот уже несколько лет трудится в Риме...* — Имеется в виду русский гравёр Федор Иванович Иордан (1800–1883), который с 1834 по 1850 г. работал в Риме над гравюрой по картине Рафаэля «Преображение». О его встречах с Гоголем,

А. А. Ивановым, Ф. А. Моллером, Ф. В. Чижевским, Н. М. Языковым см.: Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана. М., 1918. Выполняя завещание Гоголя, Иордан гравировал его портрет (работы Ф. А. Моллера) для изданных П. А. Кулишом «Сочинений и писем Н. Гоголя» (СПб., 1857. Т. 1).

⁷...вместо портрета... эстамп «Преображенья Господня»... – Объясняя в письме к С. П. Шевыреву от 14 декабря (н. ст.) 1844 г. причины своего недовольства публикацией портрета М. П. Погодиным, Гоголь пишет, что «у многих» из молодежи «бывают чистые стремления; но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов. Если в эти идолы попадет человек, имеющий точно достоинства, это бывает для них еще хуже. Достоинств самих они не узнают и не оценят как следует, подражать им не будут, а на недостатки и пороки прежде всего бросятся: им же подражать так легко! Поверь, что прежде всегда будут подражать мне в пустых и глупых вещах». «...Вместо того, – продолжает Гоголь, – чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир, и перед Которым побледнеют сами собою даже лучшие из нас...» «...Еще лучше, – размышляет далее Гоголь, уже непосредственно подходя к мысли о *преображении*, – если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей...» Примечательно также признание Гоголя в письме к Н. П. Демидову начала 1839 г.: «...я убегал старательно встречи с вами. Мне не хотелось, чтобы вы переменили обо мне ваше доброе мнение. Мы обыкновенно воображаем видеть писателя чем-то более... чем он есть, и увидевши пошлую, даже слишком обыкновенную его фигуру, мы никак не можем соединить с ней то лицо, которое нам представлялось в мыслях. Вот почему мне не хотелось, чтобы вы меня когда-либо увидали, хотя очень хотел вас увидеть».

II. Женщина в свете

Адресат письма неизвестен. Некоторые современники Гоголя, например С. Т. Аксаков, считали, что оно адресовано Аполлинии Михайловне Веневитиновой (рожд. Виельгорская; 1818–1884). Н. С. Тихонравов полагал, что письмо обращено к Софье Михайловне Соллогуб (рожд. Виельгорская; 1820–1878); последнее представляется более вероятным.

Князь П. А. Вяземский отмечал, что в этом письме много «глубокого верования в назначение женщины в обществе. Нужно иметь большую независимость во мнениях и нетронутую чистоту в понятиях и в чувстве, чтобы облечь женщину в подобные краски...» (*Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика*. С. 182). Архимандрит Феодор (Бухарев) заметил по поводу настоящей главы: «Понятна сама по себе верность и той глубокой в своих основаниях мысли Гоголя, что особенно христиански настроенная женщина может и должна служить к незаметному смягчению и освещению жесткости духовной в обществе» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860. С. 259).

¹...*большая часть... несправедливостей... чиновников... произошла от расточительности их жен...* — Ср. в Толковании блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, на Первое послание св. апостола Павла к Коринфянам (гл. 7, ст. 32–33): «...удотить жене и особенно такой, которая любит украшения и требует золота... это и располагает жалких мужей к несправедливости и душевредным распоряжениям вещами». Это Толкование было прочитано Гоголем в т. 2 «Христианского Чтения» за 1843 г.).

III. Значение болезней

Письмо адресовано графу Александру Петровичу Толстому (1801–1873). Гоголь относил его к категории людей, «которые способны сделать много у нас добра при нынешних именно обстоятельствах России, который не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здоровой середины видит вещь» (из письма к Н. М. Языкову от 12 ноября (н. ст.) 1844 г.). О нем см.: *Воропаев В. А.* Один из немногих избранных (К 200-летию со дня рождения графа Толстого) // Историческая газета. М., 2001. Март. № 3. Апрель. № 4; *Его же.* Толстой Александр Петрович // Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. М.: Православное изд-во «Энциклопедия русской цивилизации», 2003.

В данном письме Гоголь развивает общую для христианских писателей мысль о значении болезней и страданий человека для его духовного возрождения. Эту идею он намеревался воплотить во втором томе «Мертвых душ».

¹...*Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух.* — Реминисценция слов Спасителя, переданных св. апостолом и евангелистом Матфеем: «...дух бодр, плоть же немощна» (гл. 26, ст. 41).

²..труд мой, на котором основана вся моя значительность... – «Мертвые души».

³...и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... – Подразумевается притча Спасителя о талантах (Мф. 25, 14–30).

IV. О том, что такое слово

Адресат письма неизвестен. Настоящая глава перекликается с выдержкой из толкования св. Иоанна Златоуста на 140-й псалом, содержащейся в гоголевском сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Церкви, составленном зимой 1843 /44 г. Она названа Гоголем «О слове»:

«Язык есть такой член, которым мы беседуем с Богом, чрез который возносим Ему хвалу. Такое блюдение имел Иов, посему и не произнес ни одного непристойного слова, напротив, большею частию молчал; когда же надлежало ему говорить с женою, то произнес слова, исполненные любомудрия. Ибо должно говорить тогда только, когда разговор полезнее молчания. Потому и Христос сказал: *всяко слово праздно, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово*. <Мф. 12, 36>. И Павел: *слово гнило да не исходит из уст ваших* <Еф. 4, 29>. А как можно содержать эту дверь в безопасности и иметь над нею точное наблюдение, об этом вот что говорит <другой> (Сирах): *вся повесть <рассказ, разговор> твоя <да будет> в закон Вышняго* <Сир. 9, 20>. Ибо если ты приучишь себя ничего не говорить лишнего, напротив, непрестанно будешь беседою о Божественном Писании ограждать и мысль, и уста свои, то стража твоя будет тверже адаманта» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 512–513).

К статье имеет также отношение выписка Гоголя из «Св. Иоанна Златоустого Беседы о том, какое попечение должен иметь каждый Христианин о своем ближнем, впадшем в грех», следующая за выпиской «О слове»:

«И ты, когда увидишь, что кто-либо нуждается в душевном или телесном врачевании, не говори сам себе: почему такой-то и такой-то не излечил его? но сам избавь больного от недуга и не требуй от всех отчета в их небрежении о нем. Ведь если ты заметишь, что лежит золотая монета, то не говоришь, зачем такой-то и такой-то не подняли ее, но спешишь схватить ее прежде всех. Так рассуждай и о падших братиях и заботливость о них считай за на-

ходку сокровища. Ибо если ты прольешь на него, как масло, слово учения, если обяжешь его кротостию, если уврачуешь терпением, то он обогатит тебя более, нежели какое-либо сокровище. *Аще изведеши честное от недостойного, яко уста Моя будеши*, говорит Господь (Иер. 15, 19)» (Там же. С. 513).

¹ «*Приятель наш П.....н*» – Михаил Петрович Погодин (1800–1875), известный историк, писатель и журналист, который своим бестактным поведением по отношению к Гоголю не однажды доставлял ему огорчения. Характерна дарственная надпись Гоголя на экземпляре «Выбранных мест...»: «Неопратному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близорукому и грубому аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом еще неопратнейший его самого». Этот автограф Погодин вклеил в свой дневник за 1847 г. (ныне хранится в Российской государственной библиотеке). В первом издании книги несколько резких строк о Погодине были исключены цензурой. Многие друзья Гоголя, в том числе С. Т. Аксаков и С. П. Шевырев, были возмущены выпадами Гоголя. Шевырев отказался заниматься вторым изданием «Выбранных мест...», требуя исключения из них всего, что компрометирует Погодина. В ответ на это Гоголь решил поместить в новом издании книги статью под названием «О достоинстве сочинений и литературных трудов Погодина». Замысел этот остался неосуществленным. 1 апреля (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал Н. Н. Шереметевой, что своей книгой он не желал «нанести поражение» Погодину, но имел «намерение более объяснить неприкосновенность прав собственности писателя».

² *...в великом человеке все достойно любопытства...* – Вероятно, Гоголь оспаривает здесь суждение А. С. Пушкина из статьи «Вольтер» (Современник. 1836. Кн. 3): «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначашие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов».

³ *Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек...* – Анахронизм, допущенный Гоголем в этих словах, от-

мечен Н. С. Тихонравовым: в 1814 г. (за тридцать лет до написания настоящей статьи) М. П. Погодин был еще учеником гимназии (Сочинения Н. В. Гоголя /Под ред. Н. С. Тихонравова. 10-е изд. Т. 4. М., 1889. С. 483).

⁴*Слово гнило да не исходит из уст ваших!* – Послание св. апостола Павла к Ефесеянам (гл. 4, ст. 29).

⁵*«Наложи дверь и замки на уста твои...»* – Гоголь цитирует Книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова (гл. 28, ст. 28–29): «Сребро твое и золото твое свяжи; и словесем твоим сотвори вес и меру, и устам твоим сотвори дверь и завору». «Завора, слав<янское>, засов» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Каким переводом пользовался Гоголь – неизвестно. Возможно, это его собственный перевод.

V. Чтения русских поэтов перед публикою

Адресат письма неизвестен. В 1843 г., во время Великого поста, в Москве по инициативе М. С. Щепкина были устроены публичные чтения произведений русских писателей. Помимо Щепкина, участие в них принимали П. М. Садовский, П. С. Мочалов и другие актеры. Читались главным образом сочинения Гоголя: «Старосветские помещики», отрывок из «Тараса Бульбы», «Тяжба», «Утро делового человека», отрывок из «Мертвых душ» («Повесть о капитане Копейкине»), «Театральный разъезд после представления новой комедии». См. об этом: *Ригельман Н. А.* Вечера для чтения // Москвитянин. 1843. № 5.

VI. О помощи бедным

Письмо адресовано Александре Осиповне Смирновой (рожд. Россет; 1810–1882), фрейлине Императрицы Александры Феодоровны. Ее воспоминания о Гоголе см.: *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. Об их взаимоотношениях см.: *Колосова Н. Н.* Россети черноокая. М., 2003 (глава «Друг... ближайший моему сердцу». Н. В. Гоголь и А. О. Смирнова).

В статье нашла отражение переписка Гоголя со Смирновой в 1844 г., в частности, письма Смирновой от 18 и 30 декабря 1844 г. (Русская Старина. 1888. № 10) и письмо Гоголя от 28 декабря. См. также письмо Смирновой к Гоголю от 1 марта 1845 г. (Северный Вестник. 1893. № 1).

¹*...кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини, сто рублей за кресло в театре... – Рубини Джованни Батиста (1794 или 1795–1854) – итальянский певец (тенор), выступавший с концертами в России в 1843–1845 и в 1847 г. О его гастролях в Москве С. П. Шевырев писал в «Москвитянине» (1843. № 4. Московская летопись): «Рубини за три концерта повез из Москвы 70 000 р<ублей> ассигнациями. В последнем собрано им было 10 000 р<ублей>, по причине ограниченности мест театра, который был, однако, полон».*

VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским

Письмо адресовано Николаю Михайловичу Языкову (1803–1846). Гоголь познакомился с ним в июне 1839 г. за границей. В дальнейшем их связывали тесные дружеские отношения. Через Языкова и его братьев Гоголь получал из России книги, в том числе духовного содержания. Посылая П. А. Плетневу настоящую статью, Гоголь писал ему 4 июля (н. ст.) 1846 г.: «Покаместь тебе маленькая просьба... Жуковскому нужно, чтобы публика была несколько приготовлена к принятию «Одиссеи». В прошлом году я писал Языкову о том, чем именно нужна и полезна в наше время «Одиссея» и что такое перевод Жуковского. Теперь я выправил это письмо и посылаю его для напечатания вначале в твоём журнале, а потом во всех журналах, которые больше расходятся в публике, в виде статьи, заимствованной из «Современника»...»

Статья была опубликована в «Современнике» (1846. № 7) и, при посредстве Н. М. Языкова, в «Московских Ведомостях» (1846. 25 июля. № 89) и в «Москвитянине» (1846. № 7). «Одиссея» была издана В. А. Жуковским в 1849 г.

¹*...слово живо... – Выражение взято из книг Нового Завета (см. Деян. 7, 38; Евр. 4, 12).*

²*«Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение... – В связи с этим суждением архимандрит Феодор (Бухарев) писал, обращаясь к Гоголю: «Вы сказали глубокую истину, – такую, которую за пятнадцать веков изрек великий отец Церкви, величайший мыслитель и поэт св. Григорий Богослов. Он сказал об Одиссее, что она вся похвала добродетели» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 52). Вероятно, имеются в виду слова св. Василия Великого из его беседы «К юношам о*

том, как пользоваться языческими сочинениями»: «...Слышал я у одного искусно изучившего мысли стихотворца, что... все стихотворение Омирово есть похвала добродетели, и все у Омира... ведет к сей цели...» (Творения Святых Отцов. Т. 8. Творения Святого Василия Великого. М., 1846. С. 350).

³...в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд... – Имеются в виду персонажи греческой мифологии. *Посейдон* – один из главных олимпийских богов, повелитель морей; сын титана Кроноса (Крона) и Реи, брат Зевса и Аида. *Кронионы* – дети Кроноса, объявившие войну титанам и победившие их. *Гефест* – бог огня, покровитель кузнечного ремесла; сын Зевса и Геры. *Гелиос* (Гелий) – бог Солнца. *Киприда* (Афродита) – богиня любви и красоты; у Гомера она появляется из воздушной морской пены вблизи острова Кипр (откуда имя – «кипророждённая»).

⁴...немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер – миф... – Имеются в виду ученые, принадлежавшие к школе Ф. А. Вольфа и К. Лахманна. О современных Гоголю теориях по «гомеровскому вопросу» см.: Лосев А. Ф. Гомер. М., 1960.

⁵...с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате... – Гоголь воспользовался выражением В. А. Жуковского из письма к нему от 31 марта (н. ст.) 1846 г., где тот, имея в виду крыловский перевод начала первой песни «Одиссеи» (присланный Гоголем), говорит: «Наш дедушка Крылов не подмел горницы: убрал ее прекрасно, да на полу валяются бумажки» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 1. С. 192).

⁶...за пировою критерой... – *Критера* (кратер) – у древних греков большой сосуд для смешивания жидкостей, преимущественно вина с водой.

⁷...отрытой из земли Помпее. – *Помпеи* – город в Южной Италии у подножия вулкана Везувий. Представление об античном городе Помпеи, засыпанного при извержении вулкана в 79 г., навеяно Гоголю картиной К. П. Брюллова «Последний день Помпеи», которой он посвятил статью, напечатанную в «Арабесках» (1835).

VIII. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве

Адресовано графу А. П. Толстому. Публикация этого и следующего письма («О том же») встретила препятствие в духовной цензуре. «Нельзя пропустить, – сделал заключение цензор, – ибо у сочинителя понятия о сих предметах конфузны» (из письма

П. А. Плетнева к С. П. Шевыреву от 1 ноября 1846 г. См.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 164). Синод разрешил публикацию писем (с сокращениями) только после обращения П. А. Плетнева к обер-прокурору Синода графу Н. А. Протасову. В настоящее время автографы статей Гоголя хранятся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. См.: *Виноградов И. А.* Неизвестные автографы двух статей Н. В. Гоголя о Церкви и духовенстве. К истории издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сборник научных трудов. Вып. 4. Петрозаводск, 2005. В рукописи оба письма датированы Гоголем 1845 г. В печатном издании книги эти даты отсутствуют.

Гоголь создавал огромное нравственное и культурное значение духовенства. Он был знаком со многими церковными иерархами и русскими священниками за границей, среди которых было немало широко образованных людей. Что касается сельского духовенства, то Гоголь, видя его не всегда высокий культурный уровень, тем не менее настойчиво стремился внушить прихожанам уважение к любому пастырю. В этом он следовал заветам святоотеческой литературы. В сборнике выписок Гоголя из творений св. отцов и учителей Церкви содержится выписка из св. Иоанна Златоуста – «О почитании священника, хотя бы и погрешающего»: «Кто чтит священника, тот будет чтить и Бога. Но кто научился презирать священника, тот скоро дойдет до того, что будет хулить и Самого Бога» (*Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 485).

¹ «*Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!*» – Рассказывая в письме к графу А. П. Толстому от 10 июля 1850 г. о своем посещении Оптиной Пустыни, Гоголь заметил о ее иноках: «Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все».

IX. О том же

Письмо адресовано графу А. П. Толстому.

¹ *Рококо́* (фр. гососо <*rac(aille)* раковина>) – стиль в архитектуре и декоративном искусстве, сложившийся в XVIII в. во Франции и характеризующийся изысканной сложностью форм и при-

чудливыми орнаментами. Общую характеристику этого стиля см. в статье Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» (1834).

Х. О лиризме наших поэтов

Обращено к Василию Андреевичу Жуковскому (1783–1852). Это второй вариант письма, что явствует из начальных строк статьи (первый был написан в 1845 г.). Посылая П. А. Плетневу 16 октября (н. ст.) 1846 г. заключительную тетрадь «Выбранных мест...», Гоголь писал, имея в виду настоящую главу: «Нужно выбросить все то место, где говорится о значении власти монарха, в каком оно должно явиться в мире. Это не будет понято и приметя в другом смысле. К тому же сказано несколько нелепо, о нем после когда-нибудь можно составить умную статью. Теперь выбросить нужно ее непременно, хотя бы статья была и напечатана, и на место ее вставить то, что написано на последней странице тетради». Плетнев выполнил просьбу Гоголя. Первоначальный вариант см. в коммент. № 17.

Некоторые современники усмотрели в статье искательство перед царем. В записной книжке Гоголя 1845–1846 гг. содержится набросок, помогающий уяснить его представление о назначении монарха: «Соединяя в лице <своем> звание верховного хранителя и блюстителя Церкви, из которой исходит свет просвещения и которая неумолкаемо молится о свете просвещения, Государь у нас <1 нрзб.> стремится к свету. И если только он вполне христианин, если первый выполнит долг свой в том духе, какой повелевает ему Церковь, и как строгий христиан<ин> будет взыскательнее всех к самому себе, ничего не может произвести он худого, ибо Сам Дух Божий двинет его повеленья<ми>».

Цитаты в настоящей статье не всегда точны, так как приводятся Гоголем большей частью по памяти.

¹...Плетневу в «Современник»... – Плетнев Петр Александрович (1791–1865), поэт, критик, издатель «Современника» (1838–1846).

²...мои сказания о русских поэтах... – Речь идет, по-видимому, о первоначальной редакции статьи «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность».

³...то высшее состояние лиризма, которое чуждо движению страстных и есть... верховное торжество духовной трез-

востии. — Здесь, как и в главе XXXI. *В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность*, слышны отзвуки древнего учения исихастов («безмолвников»), известного также под именем «трезвения» или «умного делания». Оно восходит к истокам монашества, ко временам св. отцов Антония Великого, Макария Великого, Иоанна Лествичника и др. В позднейшие века учителями «умного делания» были преподобный Григорий Синаит (умер в 1346 г.), Солунский архиепископ св. Григорий Палама (1296–1359) и др. подвижники Восточной Церкви, а затем преподобные Нил Сорский (около 1433–1508) и Паисий Величковский (1722–1794). Эта традиция получила развитие у старцев Оптиной Пустыни. Подробнее см.: *Концевич И. М.* Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М., 1994.

⁴...к пастырю Церкви... — Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830). История его создания такова. В 1828 г. Пушкин написал стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...» Святитель Филарет, митрополит Московский, ответил Пушкину стихотворным посланием «Не напрасно, не случайно...», которое распространялось в списках. Впервые опубликовано С. А. Бурачком в его статье «Видение в царстве духов» без указания на авторство святителя Филарета (Маяк. 1840. Ч. 10):

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Господа дана!
Не без цели Его тайной
На тоску осуждена!
Сам я своенравной властью
Зло из бездн земных воззвал;
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забытый мною!
Просияй средь смутных дум —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум!

Пушкин ответил на это стихотворением «В часы забав иль праздной скуки...» (напечатано в «Литературной Газете» 25 февраля 1830 г.).

В марте 1845 г. Гоголь, живший тогда во Франкфурте, обращается к своему парижскому знакомому Ф. Н. Беляеву с просьбой,

чтобы отец Димитрий Вершинский, настоятель русской посольской церкви в Париже, списал для него «стихи Филарета в ответ Пушкину». Беляев через графа А. П. Толстого переслал стихотворение Гоголю.

⁵...этот таинственный побег из города... – Подразумевается стихотворение А. С. Пушкина «Странник» (1835; впервые опубликовано в т. 9 посмертного Собрания сочинений Пушкина в 1841 г. под заглавием «Отрывок»). Сохранилось свидетельство П. И. Бартенева, касающееся этого стихотворения: «Припомним также загадочное стихотворение «Отрывок», которое Гоголь в статье о лиризме наших поэтов назвал таинственным побегом из города. По словам Гоголя, которые удалось узнать мне частным образом, Пушкин за год до смерти действительно хотел бежать из Петербурга в деревню; но жена не пустила...» (цит. по: Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 78). Это сообщение подтверждается записью в дневнике Е. А. Хитрово, передавшей слова Гоголя о Пушкине: «Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться» (Гоголь в Одессе. 1850–1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 554).

⁶Елисей – ветхозаветный пророк.

⁷...как наступил было на нее Баторий... – Баторий Стефан (1533–1586) – польский король, в 1581–1582 гг. осаждал Псков, «навел ужас и нашему Грозному» (отрывок «Происшествия на Севере» лекции Гоголя 1832–1833 гг. в Патриотическом институте).

⁸...Повелительный Стефан... – Из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826).

⁹И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг... – См. в Третьей книге Царств (гл. 22).

¹⁰Что пел я россов ту царицу... – Из стихотворения Г. Р. Державина «Мой истукан» (1794).

¹¹Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет... – Из стихотворения Г. Р. Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества» (1812).

¹²«Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех...» – Здесь и далее Гоголь, по-видимому, передает слова А. С. Пушкина, сказанные в личной беседе. Приводимое высказывание Пушкина о Соединенных Штатах находит подтверждение в мемуарах В. И. Анненковой, видевшей поэта в январе 1837 г. у великой княгини Елены Павловны: «Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там

слишком забывают, что человек жив не единым хлебом»» (цит. по: Андроников И. Лермонтов: Исследования и находки. М., 1964. С. 175).

¹³ *Тулумбас* – старинный ударный музыкальный инструмент вроде литавр.

¹⁴ Отрывок *Это внутреннее существо... личность императора Николая и* – в первом издании был исключен цензурой. (Впервые опубликован П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» за 1866 г.) К словам «уподобить его» была сделана сноска: «В стихотворении, начинающемся:

*С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали – и проч».*

¹⁵...*об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***».* – Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «К Н***» (1834), опубликованное в т. 9 посмертного Собрания сочинений поэта (1841). Современники считали адресатом стихотворения Н. И. Гнедича. Так, В. Г. Белинский в пятой статье пушкинского цикла упоминает его под заглавием «К Гнедичу» (Отечественные Записки. 1844. № 2). С. П. Шевырев писал Гоголю 30 января 1847 г.: «Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому «ты проклял нас»?» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 345). Шевырев цитирует стихи Пушкина по первой публикации. Между тем в автографе стихотворения указанная строка читается: «Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей...» В ответ Гоголь посылает Шевыреву исключенный цензурой отрывок статьи и в приписке сообщает: «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я. С моих слов повторили это «Отечественные Записки»» (*Миллер О. Ф. Неизданные письма Гоголя // Русская Старина. 1875. № 12. С. 661*). Люди с чуткой поэтической душой не испытывали сомнений относительно адресата пушкинского послания. Так, например, Афанасий Фет писал поэту Константину Романову (К. Р.) в декабре 1887 года: «В глубине души я вынужден признать, что, невзирая на верноподданнические убеждения, я не был бы так предан памяти Императора Николая, если бы не знал его глубокого сочувствия всем свободным искусствам вообще, сочувствия, так ярко выставленного Пушкиным стихом: «С Гомером долго ты беседовал один»» (*К. Р. Избранная переписка. СПб., 1999. С. 261*). Черновые строки стихотворения (неизвестные Гоголю) также ука-

зывают на Государя Николая Павловича: «...Могучий властелин С Гомером долго ты беседовал один».

В советском литературоведении, однако, утвердилось мнение, что данное стихотворение обращено к Н. И. Гнедичу как переводчику «Илиады» (историю вопроса см.: *Мейлах Б. С.* «С Гомером долго ты беседовал один...» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974). Тем не менее многие вопросы остаются без ответов. Если Пушкин имел в виду Гнедича, то почему Жуковский не назвал адресата? Кто написал «К Н***» в белой рукописи и кто скрыт под этим названием? Откуда Белинский мог знать то, чего не знали Плетнев и Жуковский? Зачем Гоголь распространял слух, что стихотворение адресовано Гнедичу? Создается впечатление, что Гоголь знал нечто такое, чего не знали друзья Пушкина. Подробнее см.: *Воропаев В. А.* Значение великих истин. Пушкин и Гоголь о вере и Государстве Российском // А. С. Пушкин и Православие. Сборник статей о творчестве А. С. Пушкина. М., 2007.

¹⁶ *Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты...* – При первой публикации стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (в т. 9 посмертного Собрания сочинений поэта) в нем были сделаны (очевидно, В. А. Жуковским) исправления, в частности, выражения «Александрийского столпа» на «Наполеонова столпа».

¹⁷ *Поэты наши прозревали... слово царь.* – В первоначальной редакции вместо этих слов было: «Полномощная власть монарха не только не упадет, но возрастет выше по мере того, как возрастет выше образование всего человечества. Чем более всякое звание и должность станут входить в свои законные пределы и отношения между собою всех станут определяться точней, тем более окажется потребность верховодящей силы, которая, собравши в себе всю силу отдельных единиц, показала бы в себе доблести высшие, приближающие человека прямо к Богу, – те верховные собирательные качества и свойства, которых не могут иметь отдельные единицы. Поллюбить весь миллион как одного человека трудней, чем полюбить немногих из этого миллиона; восскорбеть болезнями всех людей в такой силе, как болезнью наближайшего друга, и мыслить о спасении всех до единого, как бы о спасении своей собственной семьи, может вполне только тот, которому это постановлено в непременный закон и который слышит, что за неисполнение его он подвергнется такому же страшному ответу пред Богом, как и всякая отдельная единица за неисполнение своего

долга на своем отдельном поприще. Не будь этой верховодящей силы, обнищает дух человечества. Полномощная власть государя потому теперь оспаривается в Европе, что ни государям, ни подданным не объяснилось ее полное значение. Власть государя явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле. При всем желаньи блага он спутается в своих действиях, особливо при нынешнем порядке вещей в Европе; но, как только почувствует он, что должен показать в себе людям образ Бога, все станет ему ясно и его отношения к подданным вдруг объяснятся. В образцы себе он уже не изберет ни Наполеона, ни Фридриха, ни Петра, ни Екатерину, ни Людовиков и ни одного из тех государей, которым придает мир название Великого и которым определено было, вследствие обстоятельства и времени, сверх должности государя сыграть роль полководца, преобразователя, нововводителя, словом, показать с блеском одну какую-нибудь в себе сторону, вводящую в такие заблуждения подражателей и так соблазняющую многих государей. Но возьмет в образец своих действий действия Самого Бога, которые так слышны в истории всего человечества и которые еще видней в истории того народа, который отделил Бог затем именно, чтобы царствовать в нем Самому и показать царям, как царствовать. И как Он небесно царствовал! Как умел возлюбить Свой народ пуще всех других народов! С какой любовью Отца учил его и с каким долготерпением небесным ждал исправленья его! Как неохотно подымал карающий бич Свой! Как даже и тогда, когда вопли нечестия и грехов достигали самих небес, не спешил наказаньем, но умел сказать: «Дай сойду Сам на землю и рассмотрю, точно ли так велика неправда!» <Быт. 18, 20–21>. И Кто же это говорит? Всезнающий и Всепровидящий, напоминающий об осмотрительности земным царям! Как и самые казни насылал Он не затем, чтобы уничтожить человека, которого не трудно уничтожить, но затем, чтобы спасти его, потому что трудно спасти человека, чтобы средством потрясающим разбудить его бесчувственную природу и, показавши ему весь ужас того, к чему он в неведении стремится, напомнить, что есть еще время спастись ему! Как, зная неподкупность ничем не одолимой правды Своей, употреблял Он все для того, чтобы не подпал под нее бессильный и немощный человек: засылал от Себя пророков, которые, исполнившись любви к своим братьям и нашедши язык им доступный, образумили бы их; и наконец, видя, что все уже тщетно, и ничто не в силах образумить их, и нет средств укрыть людей от Его неотразимой правды, Сам ре-

шится Самого Себя принести в жертву за всех, чтобы ценой такой жертвы победить и самую правду Свою, показав людям, что такая любовь есть уже выше всего, что ни есть, и сама по себе есть уже верховнейшее правосудие небесное! Все сказал Бог, как нужно действовать в отношении к людям тому, кто захочет показать им Его образ в себе. А чтобы показать в то же время царю, как он должен действовать относительно Его Самого, Творца всех видимых и невидимых, Он оставил им образцы в помазанных Им же царях Давиде и Соломоне, которые пребывали всем существом своим в Боге, как бы в собственном доме своем, и которые в царской власти своей показали мудрое соприкосновение двух властей – и духовной и светской, в таком виде, что не только одна из них не мешает другой, но еще взаимно одна другую утверждает и возвышает. Так, в Книге Божьей содержится полное и совершенное определение монарха, этого отделенного от нас существа, которому достался такой трудный жребий на земле: исполнив прежде все, что должен исполнить всякой человек, уподобясь Христу в малейших действиях своей частной жизни, уподобиться сверх того еще Богу-Отцу в верховных действиях, относительно всех людей. В этой Книге полное определение монарха, а не где-либо в ином месте. Оно еще не приходило в ум европейским правоведцам, но у нас его уже слышали поэты, оттого и звуки их становились библейскими».

¹⁸...дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве... – Подразумевается Петр I.

¹⁹Ни один царский дом не начинался... как начался дом Романовых. – Первый русский царь из династии Романовых – Михаил Феодорович (1596–1645), сын Ф. Н. Романова (позднее патриарха Филарета), двоюродный племянник царя Феодора Иоанновича, был избран всенародно на Земском Соборе 21 февраля 1613 г. В числе других претендентов на престол были упоминаемые далее Гоголем князь Димитрий Михайлович Пожарский (1578–1642) и князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой (умер в 1625 г.).

²⁰Последний и низший подданный в государстве... – Здесь говорится об Иване Сусанине, крестьянине из костромского села Молвитино, который зимой 1613 г. спас царя тем, что завел отряд поляков в непроходимые места.

²¹...родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле... – Подразумевается Иоанн Грозный.

²²Только по смерти Пушкина обнаружались его истинные отношения к государю... – По-видимому, Гоголь имеет в виду пре-

жде всего письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину (отцу поэта) от 15 февраля 1837 г., где говорится о последних днях жизни Пушкина и, в частности, приводятся его предсмертные слова о Государе: «Скажи, что мне жаль умереть; был бы весь его» (*Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе. 10-е изд. СПб., 1901. С. 907*).

²³...*тайны двух его лучших сочинений...* – Гоголь, вероятно, имеет в виду стихотворения А. С. Пушкина «К Н***» («С Гомером долго ты беседовал один...») и «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»). О первом из них см. коммент. № 15. История создания второго такова. После опубликования в 1826 г. «Стансов» («В надежде славы и добра...»), обращенных к Императору Николаю I, Пушкина обвинили в заискивании перед царем. С. П. Шевырев, вспоминая о пребывании поэта в Москве в 1826–1827 гг., писал: «Москва неблагородно поступила с ним: после неумеренных похвал, лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве и наушничестве и шпионстве перед Государем» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1985. С. 50). В ответ на подобные обвинения Пушкин написал «Друзьям» (1828) и представил стихотворение царю как своему цензору. Тот остался доволен им, но не разрешил печатать. Впервые оно было опубликовано в т. 7 Сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова (1857).

²⁴ *Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Паризу...* – *Мицкевич* Адам (1798–1855) – польский поэт. В 1840–1844 гг. занимал кафедру славянских литератур в Коллеж де Франс и прочел здесь четыре курса лекций о русской культуре, в которых с большим уважением отзывался о русских писателях. Среди откликов на эти лекции было стихотворение Ф. И. Тютчева. «От русского, по прочтению отрывков из лекций г-на Мицкевича» (см. об этом: Лит. наследство. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М., 1988. С. 173–175). Гоголь встречался с Мицкевичем неоднократно, в том числе летом 1843 г. в Карлсруэ.

²⁵ *И долго буду тем народу я любезен...* – Гоголь цитирует стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» по первой публикации. См. коммент. № 16.

²⁶ *Небесами Клянусь: кто жизнь свою...* – Из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830; впервые опубликовано М. П. Погодиным в 1831 г. без имени автора; впоследствии перепечатано в № 5 «Современника» (1837) с сопроводительным письмом Погодина: «Посылаю вам стихотворение Пушкина «Герой». Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему. Пушкин прислал мне

оное во время холеры в 1830 году из Нижегородской своей деревни... Я напечатал стихи тогда в «Телескопе»... Кажется, должно перепечатать их теперь. Разумеется, никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением, после многозначительного: *утешься!* – 29 сентября 1830 года, – есть день прибытия Государя Императора в Москву во время холеры»). Об этом стихотворении см.: <Моров В. Г.> Н. Н. «Апокалиптическая песнь» Пушкина. Опыт истолкования стихотворения «Герой». М., 1993.

²⁷ *Вспомни стихотворенье «Пир на Неве»...* – Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «Пир Петра Первого» (1835). Приводимая далее Гоголем цитата из этого стихотворения неточна.

²⁸ *Там... радуются обращению грешника... более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога.* – Вспоминаются притчи Спасителя о потерянной овце, потерянной драхме и блудном сыне, переданные св. апостолом и евангелистом Лукой: «...так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии... Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся... станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (гл. 15, ст. 7, 10, 23–24).

XI. Споры

Адресат письма не установлен.

XII. Христианин идет вперед

Письмо адресовано, по всей видимости, Степану Петровичу Шевыреву (1806–1864), поэту, критику, историку литературы, одному из ближайших друзей Гоголя. Ф. В. Чижов в т. 3 Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя (М., 1867) утверждает, что под обозначением «Щ....ву» следует понимать «Шевыреву». 2 марта (н. ст.) 1843 г. Гоголь писал Шевыреву по поводу его статьи «Об отношении семейного воспитания к государственному»: «Ты... и не подозреваешь, что в этой статье твоей есть много, много того, к чему стремятся мои мысли, но когда выйдет продолжение «Мертвых душ», тогда ты узнаешь истину и значение слов этих, и ты увидишь, как мы сошлись...»

Содержание настоящей статьи Гоголя во многих положениях перекликается с педагогической концепцией Александра Петровича – наставника Тентетникова из первой главы второго тома «Мертвых душ» (с той лишь существенной оговоркой, что при всем достоинстве взглядов наставника ему, в соответствии с гоголевским замыслом, недостает главного – просвещенности «светом Христовым»).

¹ *Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок.* – Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ; умер в состоянии старческого слабоумия.

² *...если только возмнит... что ученье его кончено... останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни.* – Упоенный роскошью и негой царь Соломон в старости был совращен своими иноплеменничьими женами к поклонению идолам. См. Третью книгу Царств (гл. 10–11). Принеся покаяние, он написал: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы...» (Еккл. 4, 13).

XIII. Карамзин

Письмо обращено к Н. М. Языкову. В основе его лежит письмо Гоголя от 5 мая (н. ст.) 1846 г. Единственное существенное дополнение к нему – слова о талантах (см. коммент. № 2). В бумагах Гоголя сохранилось множество выписок из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

¹ *...похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным...* – «Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в собрании симбирского дворянства, академиком М. Погодиным» (М., 1845). В 1833 г. Гоголь принял участие в сборе пожертвований на сооружение памятника Н. М. Карамзину, установленного в Симбирске. Гоголь, А. С. Пушкин и П. А. Плетнев пожертвовали по 25 рублей (см.: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 347).

² *...ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять.* – Гоголь напоминает притчу Спасителя о талантах (Мф. 25, 14–30).

³ *...что в России нельзя сказать полной правды...* – Это место статьи вызвало возражение С. П. Шевырева, который писал Гоголю 30 января 1847 г.: «Странно еще говоришь ты, что в наше время можно сказать вслух всякую правду, и в доказательство

приводишь Карамзина, которого «Записка о древней Руси» до сих пор не напечатана...» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 345). Следует, однако, иметь в виду, что сочинение «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзин для печати не предназначал.

XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности

Адресовано графу А. П. Толстому.

Древняя христианская Церковь в лице св. отцов и Соборов никогда не признавала благотворного нравственного влияния сценических представлений на общество и всегда считала этот вид искусства развлечением предосудительным и недостойным христианина. Отцы и учителя Церкви, каковы Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, обличали христиан, которые посещали зрелища, и угрожали им отлучением от Церкви. В XIX в. Православная Церковь относилась к театру не так строго в отношении мирян, но безусловно воспрещала посещение его лицам духовного звания. Не скрывали своего несочувствия к театру такие авторитетные иерархи Русской Православной Церкви, как святитель Филарет, митрополит Московский, и святитель Феофан, Затворник Вышинский, а позднее – св. праведный Иоанн Кронштадтский.

Гоголь на собственном опыте убедился в ничтожно малом нравственном воздействии сценического искусства на общество. 3 декабря (н. ст.) 1842 г. он писал М. С. Щепкину из Рима: «Я не могу и не буду писать ничего для театра». «Я даже думаю, что публичные чтения со временем заместят у нас спектакли», – замечал он позднее в письме *V. Чтения русских поэтов перед публикою*.

Настоящая статья вызвала возражение ржевского протоиерея Матфея Константиновского, которому Гоголь послал книгу по рекомендации графа А. П. Толстого. «Статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра... – отвечал Гоголь отцу Матфею 9 мая (н. ст.) 1847 г. – Нельзя отнять совершенно от общества увеселений... но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось само собою желание после увеселения идти к Богу». И далее Гоголь так объяснял причины появления данной главы: «Письмо о театре я писал, имея в виду публику, пристрастившуюся к балетам и операм, пожирающим ныне страшные сум-

мы денег, и в то же самое время имел в виду издателя журнала «Маяк» С. А. Бурачка, который, судя по статьям его, должен быть истинно почтенный и верующий человек, но который, однако ж, слишком горячо и без разбора напал на всех наших писателей, утверждая, что они безбожники и деисты, потому только, что те не брали в предмет христианских сюжетов». Гоголь говорит здесь о статьях С. А. Бурачка, упрекавшего А. С. Пушкина в безверии и безнравственности и утверждавшего, в частности, в статье «Видение в царстве духов»: «Переберите все восемь томов его (Пушкина. — В. В.) сочинений: (кроме слабых общих мест, и то очень, очень редко) нет ни одной высокой мысли, о Боге, о вере, о Иисусе Христе Господе Искупителе нашем, о Православной Руси, о героях, прославивших русское имя» (Маяк. 1840. Ч. 10. С. 61).

¹ *Вот почему так сильно гремел против них Златоуст.* — Гоголь имеет в виду обличения театралных зрелищ св. Иоанном Златоустом, архиепископом Константинопольским (около 350–407) в его «Толкованиях на Святого Матфея Евангелиста». См., например, следующее характерное место: «В самом деле, скажи мне, отчего нарушается супружеская верность? Не от театра ли? Отчего оскверняются брачные ложа? Не от этих ли зрелищ? Не по их ли вине жены не терпят мужей? Не от них ли мужья презируют жен своих? Не отсюда ли множество прелюбодеев? И если кто ниспровергает все и вводит жестокую тиранию, то это тот, кто посещает театр... Вредные для общества люди бывают именно из числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мятежи» (Беседа XXXVII). В письме к Н. М. Языкову от 2 апреля (н. ст.) 1844 г. из Дармштадта Гоголь просит прислать ему «беседы Златоуста», то есть «Иоанна Златоустого Беседы на Евангелиста Матфея» (М., 1839. Ч. 1–3).

В записной книжке Гоголя 1842–1850 гг. есть запись «О театре»: «Искусство упало. Высокие доблести, величие духа, все, что способно поднять, возвысить человека, являются редко. Все или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной, или выдуманная чудовищная страсть, близкая к опьянен<ию>, которой авто<р> старается из всех <сил> дать право гражд<анства>, составляют содержание нынешних пиэс». Еще раньше, в статье «Петербургские записки 1836 года», Гоголь писал о современном ему театре: «Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок...»

²...*Димитрий Ростовский... слагал у нас пьесы для представления в лицах.* – Св. *Димитрий Ростовский* (в мире Даниил Саввич Туптало; 1651–1709) – выдающийся агиограф и проповедник, писал также стихи и пьесы. (Память его совершается 21 сентября ст. ст.) Будучи митрополитом Ростовским и Ярославским, создал в Ростове школьный театр, на сцене которого ставились пьесы духовного содержания, написанные главным образом им самим («Успенская драма», 1680-е гг., «Рождественская драма», 1702 г., и др.). По оценке современного богослова, протоиерея Георгия Флоровского, школьные драмы св. Димитрия (уже ростовского периода) носят «западнический характер» (*Флоровский Г. Пути русского богословия.* Вильнюс, 1991. С. 54).

³ *Реньяр Жан Франсуа* (1655–1709) – французский драматург.

⁴...*тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуважение к святыне.* – Подразумеваются французские философы-материалисты XVIII в.

⁵...*незримые ступени к христианству...* – Эти слова в целом характеризуют понимание Гоголем роли искусства в жизни человека.

⁶ *Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин станут играть те роли, которых никогда до того не играли!* – *Щепкин* Михаил Семенович (1788–1863) – комический актер, реформатор сцены; один из друзей Гоголя. В московском Малом театре исполнял роли городничего (в «Ревизоре»), Кочкарева и Подколесина (в «Женитьбе»), Утешительного (в «Игроках»). Был инициатором публичных чтений сочинений Гоголя (см. коммент. к главе V. *Чтения русских поэтов перед публикою*). Под «первым комическим актером» в статье подразумевается Щепкин. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802–1853) – ведущий актер-трагик Александринского театра в Петербурге.

⁷...*драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем налюбимейшая музыкальная опера.* – Этой мысли соответствует подготовительная заметка в записной книжке Гоголя 1845–1846 гг.: «Пятьдесят раз должно ездить на одну и ту же пьесу. Музыку, чем слышишь более, тем глубже входишь в нее. Картина, чем более в нее вглядываешься, тем хочется более глядеть, и с этим никто не спорит, хотя редко понимает. А слово, высшее всего, считается ничтожным».

⁸...*самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую*

и выгодную для автора сторону... – Возможно, Гоголь узнал об этих предписаниях из опубликованной в т. 3 «Современника» (1836) статьи А. С. Пушкина «Мнение М. А. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», где, в частности, говорилось: «Вопреки мнению г. Лобанова цензура не должна *проникать все ухищрения пишущих*. «Цензура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора *и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону*» (Устав о цензуре, § 6)». Имеется в виду цензурный устав 1828 г.

⁹*...уголовном преступлении, каково есть непризнание Бога в том виде, в каком повелел признавать Его Сам Божий Сын... дело это страшное.* – Парафраз слов св. апостола Павла в Послании к Евреям: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия... Страшно власть в руки Бога живаго!» (гл. 10, ст. 28–31). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов сделал помету: «Если отвергавший Закон Моисея умирал, колми паче Закон Христа»; «Страшно впасть в руки Бога Живаго» (Виноградов И. А., Воропаев В. А. Карандашные пометы и записи Н. В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 249).

¹⁰*...его величественные стихи пастырю Церкви...* – Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830). См. коммент. №4 к письму Х. О лиризме наших поэтов.

¹¹*...выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства!* – Известно, что Гоголь высоко ценил ум А. С. Пушкина. По свидетельству Е. А. Хитрово, он говорил: «Пушкин был необыкновенно умен. Если он чего и не знал, то у него чутье было на все» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 554).

XV. Предметы для лирического поэта в нынешнее время

В основу статьи положены письма к Н. М. Языкову от 2 и 26 декабря (н. ст.) 1844 г. В ответном письме к Гоголю от 17 января

1845 г. Языков замечал: «Твои два письма, писанные тобою, как ты сам говоришь, под влиянием моего стихотворения «Землетрясение», доставили мне много удовольствия, услаждения и пользы. Жаль, что их нельзя напечатать: я бы сделал это непременно, не спросившись тебя и взяв ответственность на свою совесть...» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 408).

¹ *Твое стихотворенье «Землетрясение» меня восхитило.* – Стихотворение Н. М. Языкова было опубликовано в «Москвитянине» (1844. № 10). Вошло в сборник «HS <56> стихотворений Н. М. Языкова», вышедший в том же году и посланный Языковым Гоголю за границу с князем П. А. Вяземским. Собственноручный список стихотворения Гоголь приложил к письму графине Луизе Карловне Виельгорской и ее дочери Анне Михайловне от 24 декабря 1844 г. из Франкфурта (См.: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И.А. Виноградов). В тот же день он писал А. О. Смирновой: «Вы пропустили и не прочитали одной прекрасной вещи, именно стихотворения Языкова: Землетрясение. Прочтите его зато несколько раз. Оно так возвышенно, просто и прекрасно и так кстати в нынешнее время, что его многим нужно читать, особенно тем, которые рождены ободрять других, стало быть, и вам». По свидетельству Л. И. Арнольди, в 1849 г. Гоголь называл «Землетрясение» Языкова «лучшим русским стихотворением» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 477).

² *...начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Вальтасара...* – Имеется в виду эпизод из библейской Книги пророка Даниила (гл. 5, ст. 1–8).

³ *На днях попалась мне книга «Царские выходы».* – Речь идет об изданной П. М. Строевым книге «Выходы Государей Царей и Великих Князей, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Феодора Алексиевича, всея Руси Самодержцев (С 1632 по 1682 год)» (М., 1844). Из письма Гоголя к Н. М. Языкову от 2 декабря (н. ст.) 1844 г. следует, что он познакомился с книгой по заметке о ней в «Отечественных Записках» (1844. № 5), где были помещены выдержки из нее. Позднее в свою записную книжку Гоголь занес выписки непосредственно из самой книги. Одной из этих выписок он и воспользовался при написании статьи.

⁴ *...что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома...* – Единственное упоминание Гоголя, касающееся содержания третьего тома «Мертвых душ».

XVI. Советы

Адресат письма, вероятно, С. П. Шевырев. См. коммент. к главе XII. *Христианин идет вперед*. В записной книжке Гоголя 1841–1846 гг. содержится отрывок, представляющий собой, по-видимому, набросок к данной статье: «Всегда почти выходит, что тот совет и упрек, которы<й> сделаем другим, как раз придется к тебе само<му>. Так что это вдвойне проясняет <?>. С тех пор я положил себе в урок никому не давать совета без того, чтобы искрен<не не> обратить самому себе, никому не делать упрека без того, чтобы внутренне не обратить его самому себе. Поверь, что советы и тебе нужны, и делай так же, <упрекни> в том себя, в чем упрекнул друго<го>. И если это кажется неправд<ой>, то не потому, чтоб это было неправд<ой>, но потому, что плохо видим себя. Я сделал это себе правило<м>, советую и тебе то же. Не думай, что ты бессилен и не мож<ешь> учиться, но учи, учась, действуй обоюдо<остро>».

В статье нашло также отражение содержание выписки Гоголя из Кормчей книги – IV. *Вступление. Из послания Св. Василия Великого к Амфилохию*: «...Я становлюся сведущее и рассудительнее самого себя, из самого вопроса научаяся многому, чего прежде не знал. Забота об ответе делается для меня учителем» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 473).

¹ *Уча других, также учишься*. – Возможно, отклик на опубликованное в т. 3 «Современника» (1836) «Письмо к издателю» А. С. Пушкина, где подверглась критике статья Гоголя «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году», помещенная в первой книжке журнала. Свое «Письмо...» Пушкин начинает цитатой из Георгия Конисского: «...учители добрые и нелукавые себе первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедуют, нежели чужим». Эта мысль восходит к словам св. апостола Павла из Послания к Римлянам: «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» (гл. 2, ст. 21).

XVII. Просвещение

Адресовано В. А. Жуковскому.

¹ *Веруй, и да не смущается твое сердце!* – Парафраз слов Спасителя, переданных св. апостолом и евангелистом Иоанном

Богословом: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Евангелие от Иоанна, гл. 14, ст. 1). В октябре 1846 г. В. А. Жуковский подарил Гоголю записную книжку, на обороте переплета которой написал: «До свиданья. Франкфурт на Майне, 8/20 октября. Да не смущается сердце ваше. Иоанн XIV». В своих «Рассуждениях и размышлениях» (1846–1847) Жуковский писал: «*Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте*. В этом слове все возможные утешения, данные наперед человеку на все беды житейские. Сперва веруй, потом уже сердце твое будет тихо и мирно само собою. Из сердечных смущений истекает вера, из веры истекает мир» (Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе. С. 934).

² *В Москву ты приедешь, как в родную свою семью.* — В. А. Жуковский собирался вернуться в Россию и поселиться в Москве, где жили почти все его родные и друзья.

³ *...труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом.* — В середине 1840-х гг. В. А. Жуковский задумал написать книгу для духовного руководства молодых людей, по жанру и по тематике напоминающую «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголю, по-видимому, были известны наброски, созданные в 1844–1847 гг. и опубликованные позднее (в 1857 г.) под названием «Рассуждения и размышления». В книгу должны были войти и письма к Гоголю. В 1850 г. рукопись была приготовлена к печати, но не пропущена духовной цензурой. В последний год жизни Жуковский поручил П. А. Плетневу раздать рукописи ненапечатанных статей друзьям, в том числе князю П. А. Вяземскому и А. О. Смирновой. Новое (подготовленное по автографам) издание набросков Жуковского см.: Жуковский В. А. Мысли и замечания // Наше наследие. М., 1995. № 33.

⁴ *...одной — подобно скромной Марии... другой же — подобно заботливой хозяйке Марфе...* — Вспоминается евангельское повествование о посещении Спасителем дома Марфы и Марии (Лк. 10, 38–42). Сравнение Западной Церкви с Марфой и Восточной — с Марией Гоголь заимствовал из статьи Иоанна Яхонтова «О православии Российской Церкви»: «Тонко, благородно и остроумно сравнивает Стефан Яворский жалобы двух Церквей друг на друга с жалобами Марфы на Марию. Как нельзя сказать, которая из сих жен оставила другую: Марфа ли Марию, или обратно: «так и между сими двумя сестрами взаимное есть оставление. Восточная оставила Западную в союзе соединения; Западная же оставила Восточную в растлении, в поврежденности

и новости Символа» (см. ответ его Сорбоннской Академии в 3-й части особо собранных его сочинений. Москва, 1805)» (Христианское Чтение. 1843. Т. 3. С. 58). (Проект Сорбонны о соединении церквей был привезен в Россию Петром I в 1718 г.)

Позднее, в августе 1847 г., Гоголь в письме к графу А. П. Толстому (постоянному своему собеседнику по вопросам инославных исповеданий) высоко отозвался о трактате А. С. Хомякова «Церковь одна» (конец 1844 – начало 1845 г.): «Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы». Этот трактат Гоголь переписал для себя в отдельную тетрадь и считал, что он получит отклик во многих странах (Подробнее см.: *Воропаев В.* «Катехизис необыкновенно замечательный» // Москва. 2002. № 2). Не прошел также Гоголь и мимо известного письма П. Я. Чаадаева к французскому публицисту графу Адольфу де Сиркуру по проблеме Россия и Запад. «Наша... Церковь по существу – Церковь аскетическая, – писал Чаадаев своему парижскому корреспонденту 15 января 1845 г., – как ваша по существу – социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете» (цит. по: *Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. С. 296). Гоголь, по всей вероятности, познакомился с этим письмом зимой 1845 г. в Париже. Проживавший здесь А. И. Тургенев записал в своем дневнике 26 февраля 1845 г.: «У меня были Гоголь, гр. Толстой и Циркур (*Гиллельсон М. Н.* В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева // Русская литература. 1963. № 2. С. 142).

⁵ *Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас.* – Перебирая далее переводы возможных соответствий слову «просвещение» в других языках, Гоголь не находит в них оттенка, который отражал бы воздействие и на нравственную природу человека. Поэтому А. Григорьев, обративший внимание в статье «Гоголь и его последняя книга» на значение этого гоголевского слова, конечно, ошибался, когда полагал, что немецкое *Aufklärung* значит «решительно то же самое». Впрочем, утверждая это, он замечал тут же, что ему «непонятно в высшей степени... что Гоголь называет просвещением» (Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 124). Гоголь употребляет это слово в его литургическом значении.

⁶ *Недаром архиерей, в торжественном служении своем...* – *Архиерей* (греч. первосвященник) – общее название высших церковных иерархов (епископов, архиепископов, митрополитов).

⁷...произнося: «Свет Христов освещает всех!» – Точнее: «Свет Христов просвещает всех!» – возглас священника на Литургии Преждеосвященных Даров, совершаемой Великим постом по средам и пятницам. При этом возгласе полагается повергаться ниц.

XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

Адресаты писем неизвестны. Содержание первого письма развито Гоголем в предисловии «К читателю от сочинителя» второго издания «Мертвых душ» (1846).

¹ В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте... – Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) журналист, прозаик, критик, издатель газеты «Северная Пчела». Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (псевдоним Барон Брамбеус; 1800–1858) – журналист, критик, прозаик, редактор и издатель журнала «Библиотека для Чтения», профессор Петербургского университета. Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), прозаик, журналист, историк. Упреки Гоголю в плохом знании русского языка были общим местом современной ему критики. Так, Ф. В. Булгарин писал о «Мертвых душах», что «ни в одном русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме...» (Северная Пчела. 1842. № 119), а Н. А. Полевой утверждал, что язык Гоголя «можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики...» (Русский Вестник. 1842. № 5–6. С. 41). В. Г. Белинский соглашался, что язык Гоголя «точно неправилен, нередко грешит против грамматики», но в то же время отмечал, что «у Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка – есть слог».

²...исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов... – С. Т. Аксаков, передавая в письме к Гоголю от 3–5 июля 1842 г. разные толки и замечания о «Мертвых душах», в частности писал: «Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и предсе-

датель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 23–24).

³...*уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека...* – В. Г. Белинский оспорил пушкинское определение «дара» Гоголя. Особенность таланта Гоголя, утверждал критик, «состоит не в исключительном только даре живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений жизни... Ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный» (*Белинский В. Г. Собр. соч.*: В 9 т. Т. 8. М., 1982. С. 313). Суть дела, однако, заключается в том, что «пошлость» у Гоголя – это свидетельство духовного убожества, которое можно найти в каждом человеке. Герои Гоголя пошлы, т. к. они мертвы духовно. В понимании «мертвой» души как духовно умершей название гоголевской поэмы безусловно восходит к новозаветной традиции и святоотеческой литературе. Гоголевский замысел созвучен христианскому нравственному закону, сформулированному св. апостолом Павлом в Первом послании к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут...» (гл. 15, ст. 22).

⁴...*подвигнет моих читателей указать все промахи...* – Вышедшее в конце 1846 г. второе издание «Мертвых душ» Гоголь сопроводил предисловием «К читателю от сочинителя», где просил присылать ему замечания на книгу.

⁵...*я не люблю моих мерзостей... и изгоню их, и мне в этом поможет Бог.* – Эти слова Гоголя связаны, вероятно, с евангельским повествованием об изгнании Спасителем легиона бесов из одержимого в стране Гадаринской (См.: Мк. 5, 12–13). 18 декабря (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву: «Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя».

⁶...*сожжен второй том «Мертвых душ»...* – Н. С. Тихонравов приурочивает сожжение второго тома к началу июля 1845 г. Основанием для такой датировки служат слова самого Гоголя: «Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее». Однако Гоголь, по всей видимости, уничтожил не законченную рукопись, а первоначальный вариант. Е. А. Хитрово в своем дневнике передает разговор одной дамы с Гоголем (в январе 1851 г.), спросившей его, скоро

ли выйдет окончание «Мертвых душ». На что тот ответил: «Я думаю – через год». «Так они не сожжены?» – «Ведь это только начало было...» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 551).

⁷ «*Не оживет, аще не умрет*», – *говорит апостол*. – Слова св. апостола Павла из Первого Послания к Коринфянам (гл. 15, ст. 36).

XIX. Нужно любить Россию

Адресовано графу А. П. Толстому. Данное письмо, как и следующее, XX, было запрещено цензурой. Впервые напечатано Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867. 22 февраля (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: «Вся цензурная проделка для меня покамест темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор (А. В. Никитенко. – В. В.) был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появление моей книги».

¹...*как полюбить Того, Которого никто не видал?.. в любви к братьям получаем любовь к Богу*. – Реминисценция слов св. апостола Иоанна Богослова в Первом Соборном послании: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (гл. 4, ст. 20). Доктор А. Т. Тарасенков, наблюдавший Гоголя во время его предсмертной болезни, вспоминает в своих записках: «Однажды зашел у нас разговор о любви к Богу. Я припомнил ему слова из Нового Завета: «не любяй брата своего, его же виде, Бога, его же не виде, како может любити?»... и пожелал узнать от него: не думает ли он, что любовь к Богу можно выражать только любовью к человечеству? Он отвечал, что любовь к Богу есть еще высшее развитие любви христианской, прекрасно объясненное у писателей Церкви» (Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. 2-е доп. изд. М., 1902. С. 13).

²...*не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете...* – Граф А. П. Толстой был Тверским губернатором (1834–1837), а потом Одесским генерал-губернатором (1837–1842). *Капитан-исправник* – начальник уездной полиции, избиравшийся из дворян.

XX. Нужно проездиться по России

Письмо адресовано тому же лицу. Впервые напечатано Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

¹ *Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч...* – Монахи Свято-Троицкой Сергиевой лавры Родион Ослябя (в мире Роман, умер после 1398 г.) и Александр Пересвет по благословению преподобного Сергия Радонежского (около 1321–1392) приняли участие в Куликовской битве 1380 г. Пересвет погиб в поединке с татарским богатырем Темир-мурзой (Челибеем).

² *Бывши губернатором в двух... губерниях...* – См. коммент. к предыдущему письму.

³ *Спаситель... прямо называет миротворцев сынами Божиими.* – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). В сборнике выписок Гоголя из творений св. отцов и учителей Церкви есть посвященный этой заповеди Спасителя отрывок под заглавием: «О Божестве миротворцев (св. Григория Нисского)». Слова Гоголя о том, что Спаситель оценил подвиг миротворцев «едва ли не выше всех других», прямо соотносятся с первыми строками этого отрывка: «Если зреть Бога есть высочайшее благо, то быть сыном Божиим, конечно, есть такое счастье, которое выше всякого счастья» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 532).

⁴ *Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведение земли нашей...* – Третейский суд – суд, избираемый по взаимному соглашению спорящими сторонами. Известен на Руси с XIV в.

⁵ *...живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников...* – Ср. в записной книжке Гоголя 1845–1846 гг.: «Не эгоист в душе, но эгоист жизнь<ую>, ведущий роскошную жизнь потому только, что не для кого оставлять состояния: детей всего только один».

⁶ *...чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу...* – Гамбс Эрнст (1805–1849) – владелец модного мебельного магазина в Петербурге. Он упомянут во втором томе «Мертвых душ» в рассуждении Гоголя о разорительности роскоши: «Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется... тот крадет у детей своих ради

какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебели Гамбса...»

XXI. Что такое губернаторша

Адресовано А. О. Смирновой (см. о ней коммент. к письму VI. *О помощи бедным*), муж которой, Н. М. Смирнов, в 1845–1851 гг. был Калужским губернатором. В основе статьи лежит письмо Гоголя к Смирновой от 6 июня (н. ст.) 1846 г. Глава была запрещена цензурой. Впервые опубликована в газете «Современность и Экономический листок» (1860. № 1), перепечатана под названием «Письмо Н. В. Гоголя» в журнале «Домашняя Беседа» (1866. Вып. 6).

¹ *Предшественница ваша Ж**** ... – Подразумевается Елизавета Николаевна Жуковская (1803–1856), жена Калужского губернатора Н. В. Жуковского, сведения о которой Гоголь почерпнул из письма к нему А. О. Смирновой от 14 января 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 172).

² *...княгиня ...О**** ... – Имеется в виду княгиня Аграфена Юрьевна Оболенская (рожд. Нелединская-Мелецкая; 1789–1828), жена князя А. П. Оболенского, бывшего в 1825–1831 гг. Калужским губернатором. Сведения об А. Ю. Оболенской Гоголь также берет из указанного письма к нему Смирновой от 14 января 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 171–172).

³ *Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К*** узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь.* – 16 декабря 1845 г. А. О. Смирнова писала Гоголю из Калуги: «В этом месяце узнала я более о России и человечестве вообще, чем во все мое пребывание во дворце» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 167).

⁴ *Ваш поступок... с уездным судьей М*** уезда...* – Имеется в виду мещовский уездный судья Клементьев, о котором А. О. Смирнова рассказала в письме к Гоголю от 21 февраля 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 182 – 183). Позднее, 18 января 1851 г., она писала Гоголю: «У нас были в Калуге выборы, я увиделась с мещовским судьей Клементьевым; он всему уезду показался так горек, что его чуть не забаллотировали, однако он удержался на своем месте. Он любит свою должность, его дорожит и говорит, что без нее не может жить... Что

будет далее с ним, не знаю; но он, конечно, очень замечателен» (Русская Старина. 1890. № 12. С. 662).

⁵...*point d'honneur...* (фр.) – Вопрос чести.

⁶*Но не бросайте никакого человека... иногда с горя, с отчаяния... впадает он еще в большие преступления.* – Совет Гоголя восходит к словам св. апостола Павла во Втором послании к Коринфянам: «...вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью...» (гл. 2, ст. 7).

⁷*...беседовать об этом почаще с архиереем...* – Имеется в виду преосвященный Николай (Соколов), в 1834–1851 г. епископ Калужский. О нем А. О. Смирнова писала Гоголю 14 января 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 174).

⁸*...другую от полицмейстера, если потрудитесь с ним хорошенько разговориться...* – *Полицмейстер* (полицеймейстер) – начальник полиции губернского города.

⁹*«Грустно и даже горестно видеть вблизи...»* – Гоголь приводит строки из письма к нему А. О. Смирновой от 14 мая 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. С. 186).

XXII. Русской помещик

Адресат письма не установлен.

¹*...потому что нет власти, которая бы не была от Бога.* – Имеются в виду слова св. апостола Павла из Послания к Римлянам: «...ибо нет власти не от Бога» (гл. 13, ст. 1).

²*...Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб...* – Речь идет о выражении из Библии: «В поте лица твоего будешь есть хлеб...» (Бытие, гл. 3, ст. 19). В сохранившихся главах второго тома помещик Костанжогло так обосновывает «законность» хлебопашества: «Возделывая землю в поте лица своего. Это нам всем сказано; это недаром сказано. Опыт веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами».

³*Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится».* – Имеются в виду следующие слова из Евангелия: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33; см. также: Лк. 12, 31). В первом издании вместо «всем» стоит «вам» (поправка П. А. Плетнева). Е. А. Хитрово рассказывает в своем дневнике, как Гоголь в январе 1851 г. в

Одессе читал у Репниных проповедь святителя Филарета, митрополита Московского, на стих: «Ищите Царствия Божия...» При этом Гоголь говорил: «Когда внутренне устроен человек, то у него все ладится. А внутренне чтоб устроенным быть, надобно искать Царствия Божия, и все прочее приложится вам» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 551).

⁴...там мужики лопатами гребут серебро. – Этот фольклорный образ (ср. эпизод святочного гадания в пушкинском «Евгении Онегине»: «И вынулось колечко ей Под песенку старинных дней: Там мужички-то все богаты, Гребут лопатой серебро...») использован Гоголем во втором томе «Мертвых душ» при описании деревни Костанжогло: «Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой».

⁵...полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов... – Мариенбад – европейский город-курорт с минеральными водами (ныне город Марианске-Лазне в Чехии). Гоголь лечился в Мариенбаде в июле – августе 1839 г.

⁶ Разбогатеешь ты как Крез... – Крез (Крёз, 595–546 до Р. Х.) – последний царь Лидии. Богатство его вошло в поговорку.

XXIII. Исторический живописец Иванов

Письмо адресовано графу Матвею Юрьевичу Виельгорскому (1794–1866), известному виолончелисту и музыкальному деятелю, который в то время был вице-председателем Общества поощрения художников и имел влияние – в смысле помощи артистам и художникам – на герцога Максимилиана Лейхтенбергского, занимавшего пост президента Академии художеств. Гоголь был знаком как с герцогом, так и с его супругой – великой княгиней Марией Николаевной, известной меценаткой. В конце июля (н. ст.) 1847 г. Гоголь сообщал графу М. Ю. Виельгорскому: «Я к вам написал письмо об Иванове, но, рассудивши, как трудно толковать о деле малопонятном, и зная то, что у нас по тех пор никакие хлопоты не возымеют надлежащего действия, пока общий крик и общий голос не станут за то<го> человека, о котором хлопочут, я рассудил мое письмо напечатать просто в книге, которую вы теперь держите в руках. Потом я услышал, что Иванову вышло некоторое вспоможение. Нет нужды. Все-таки сделайте к тому прибавле-

ние, а напечатанное письмо предложите на прочет как моей прекрасной благодетельнице Марии Николаевне, так и герцогу Лейхтенбергскому. Все-таки недурно, если по поводу этого дела узнают, что бывают такие положения людей, на которые следует иногда обращать внимание, хотя они сами и не издадут во всеуслышанье воплей и криков».

Александр Андреевич Иванов (1806–1858) входил в круг ближайших друзей Гоголя; с 1831 г. он жил в Италии, работая над картиной «Явление Мессии». Гоголь принимал непосредственное участие в разработке замысла и композиции картины, которая осталась незаконченной. В 1858 г. она была выставлена в Петербурге под названием «Явление Христа народу». Н. Г. Машковцев полагал, что это название подсказано гоголевской статьей (*Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955. С. 90). К «Выбранным местам из переписки с друзьями» Иванов в целом отнесся одобрительно, но был недоволен тем, что Гоголь сделал его «известным», вывел «на трескучую мостовую» (из записной тетради А. А. Иванова 1845–1851 гг.).

¹...она больше картин Брюллова и Бруни... – Имеются в виду «Последний день Помпеи» (1827–1833) Карла Павловича Брюллова (Брюлло, 1799–1852) и «Медный змий» (1827–1841) Федора Антоновича Бруни (1799–1875). В. С. Аксакова 11 ноября 1841 г. писала М. Г. Карташевской по поводу картины «Медный змий»: «...Жаль, что ты не видала картины Бруни. Я спрашивала об ней Гоголя. Он говорит, что в картинах Бруни виден талант более зрелый, нежели в картинах Брюллова, но что у этого последнего более гения; что картина эта, впрочем, прекрасна и что каждая группа отдельно может служить для изучения...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 608).

²Из евангельских мест взято... доселе еще не бранное никем из художников... – В начале 1833 г. А. А. Иванов писал о замысле своей картины в Обществу поощрения художников: «Предмет сей никем еще не делан, следовательно, будет интересен уже и по новизне своей» (*Боткин М. П.* Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб., 1880. С. 30).

³«Се Агнец, вземляй грехи мира!» – «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29).

⁴...«От Назарета пророк не приходит». – Контаминация слов апостола Нафанаила (перед его призванием): «от Назарета может ли что добро быти?» (Ин. 1, 46); и фарисеев: «пророк от Галилеи не приходит» (Ин. 7, 52).

⁵ Спасен я был государем. – Речь идет о помощи, оказанной Гоголю Государем Николаем Павловичем в 1837 г. Подробнее см. об этом: *Виноградов И.* «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Н. В. Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Литература в школе. М., 1998. № 7.

⁶ ...многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах... – Подразумевается прежде всего М. П. Погодин, требовавший от Гоголя статей в «Москвитянин».

XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России

Адресат письма неизвестен. В первом издании часть заглавия – «при нынешнем порядке вещей в России» – была вычеркнута цензором. Содержание настоящей главы прямо перекликается с письмами Гоголя А. О. Смирновой и графине С. М. Соллогуб от 24 сентября (н. ст.) 1844 г. В гоголевской записной книжке 1846–1851 гг. есть набросок <О браке>, представляющий собой начальный этап переработки данного письма. По-видимому, он должен был в дальнейшем вылиться в статью «Женщина в семье», означенную в «Оглавлении <V тома Собрания сочинений>» Гоголя (См.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 485–486).

¹ «Молись и к берегу гребись», – говорит пословица. – Ср. в «Пословицах русского народа» В. И. Даля: «Богу молись, а к берегу гребись!»

² ...приход и расход чтобы был в ваших руках... – Ср. соответствующие советы Гоголя в письме к матери от 10 июля 1834 г.

³ ...comme il faut... (фр.) – Комильфó – буквально: как надо, как следует; прилично, в соответствии с правилами светского приличия.

⁴ ...мадам Сихлер. – Имеются в виду сестры Сихлер, или Циклер (Sichler), портнихи, владелицы модных магазинов в Петербурге и Москве. В первой редакции повести «Портрет» (1835) Гоголь, имея в виду этих законодательниц петербургской моды, упоминал, в частности, о нетерпеливом желании молодой дочери светской дамы встретиться с приятельницей, чтобы рассказать ей, «какую мадам Сихлер сделала уборку к платью княгини Б.»

⁵ *Распределите ваше время... Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность... Чтобы... через то встретились бы весело перед обедом...* – Совет Гоголя восходит к словам св. апостола Павла в Первом послании к Коринфянам о временном воздержании супругов: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе...» (гл. 7, ст. 5).

⁶ *...помните, что жена должна быть помощницей мужа.* – Подразумевается библейское изречение: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Бытие, гл. 2, ст. 18).

⁷ *...один мой приятель... которого... знает вся Россия...* – Имеется в виду В. А. Жуковский, который в заметке «Что есть свобода» (1846) высказывает сходную мысль: «Что есть свобода? Способность произносить слово «нет» мысленно или вслух» (Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе. С. 936). 24 октября (н. ст.) 1846 г. Гоголь писал М. С. Щепкину: «...для русского человека нет невозможного дела... нет даже на языке его и слова *нет*, если он только прежде выучился говорить всяким собственным страстишкам: *нет*».

⁸ *Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.* – Гоголь напоминает здесь апостольскую заповедь: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви...» (Ефес. 5, 22–23). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов отметил: «таинство брака» (Виноградов И. А., Воробьев В. А. Карандашные пометы и записи Н. В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания. С. 245).

XXV. Сельский суд и расправа

Адресат письма не установлен.

¹ *...зачем не простил своему брату, как повелел Христос...* – Ср.: «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф., 18, 21–22); «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу

и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол., 3, 12–13). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов написал: «Как облечься в Нового человека» (*Виноградов И. А., Воропаев В. А.* Карандашные пометы и записи Н. В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания. С. 246).

²...зачем он обидел Самого Христа в своем брате... – Подразумеваются слова Спасителя: «...истинно говорю вам: поелику вы не сделали сего одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф., 25, 45).

³...что не примирились сами собою и пришли на суд... – Ср.: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу» (Мф., 5, 25); «И то уже весьма унижительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1-е Кор., 6, 7). Сформулированная здесь христианская мысль определяет главную идею «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834). Мысль эта подчеркнута Гоголем тем, что герои продолжают враждовать и в самой церкви. (Последняя сцена повести происходит в храме во время праздничной службы.) Причем из жалобы Ивана Ивановича на своего соседа известно, что это церковь Трех Святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, устранивших распрю о них среди православных христиан в Константинополе в XI веке.

XXVI. Страхи и ужасы России

Обращено к графине Луизе Карловне Виельгорской (рожд. герцогиня Бирон; 1791–1853), жене графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Письмо было запрещено цензурой. Впервые напечатано П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» (1866).

¹...*sauve qui peut...* (фр.) – Спасайся, кто может.

² *Вспомните Египетские тьмы, которые с такой силой передал царь Соломон...* – Имеется в виду Книга Премудрости Соломона (гл. 17). В 1846 г. В. А. Жуковский сделал стихотворный перевод этой главы, назвав его «Египетская тьма». В других выражениях Гоголь ближе к славянской Библии.

³...растрепанный, неопрятный гнев... малодушная способность падать на всяком шагу в уныние... – См. коммент. к трактату «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии».

⁴...начиная с ваших дочерей... – У М. Ю. и Л. К. Виельгорских было три дочери: Аполлинария Михайловна (в замужестве Веневитинова; 1818–1884), Софья Михайловна (в замужестве графиня Соллогуб; 1820–1878) и Анна Михайловна (в замужестве княгиня Шаховская; 1822–1861).

XXVII. Близорукому приятелю

Адресат письма не установлен.

¹...молот, когда упадет на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его. – Парафраз стихов из «Полтавы» А. С. Пушкина (1828): «Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат».

²О настоящем велит нам заботиться Бог. – Ср.: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы» (Мф., 6, 34).

³О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха! – Происхождение этой фразы связано с содержанием новеллы П. Мериме «Души в чистилище», к русскому переводу которой Гоголь написал в начале 1840-х гг. специальную заметку. См.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 511–513.

XXVIII. Занимающему важное место

Адресовано графу А. П. Толстому. Письмо было запрещено цензурой. Впервые напечатано Ф. В. Чижовым в кн.: Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

Отдельные места этой главы имеют текстуальные совпадения с гоголевской записью «Дела, предстоящие губернатору», сделанной со слов графа А. П. Толстого (записная книжка 1841–1844 гг.). В черновом письме к нему, служащем, по всей ви-

димости, наброском данной статьи, Гоголь писал: «Я вас очень благодарю, что вы объяснили должность генерал-губернатора; я только с ваших слов узнал, в чем она истинно может быть важна и нужна в России. Прежде мне казалось, что и без нее организм управления губернии совершенно полон» (Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 7. СПб., 1896. С. 451). Отдельные мысли статьи перекликаются с суждениями генерал-губернатора в одной из сохранившихся глав второго тома «Мертвых душ». В образе этого генерал-губернатора многие угадывали графа А. П. Толстого.

¹...или по-прежнему занять место генерал-губернатора... – См. коммент. к с. 85. *Генерал-губернатор* – начальник одной или нескольких губерний, обладавший высшей военно-административной властью. В записной книжке 1841–1844 гг. в наброске «Дела, предстоящие губернатору» Гоголь отметил: «Генерал-губернатор может много иметь влияния нравственного как лицо совершенно первенствующее и стоящее выше личностей...»

²...для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, – все легко. – Ср. «Ибо иго Мое благо, и бремя мое легко» (Мф., 11, 30).

³...расспросите и цициановцев, и ермоловцев... – Имеются в виду офицеры, воевавшие на Кавказе под командой генералов князя Павла Дмитриевича *Цицианова* (1754–1806) и Алексея Петровича *Ермолова* (1777–1861).

⁴Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги... – Е. А. Хитрово 22 января 1851 г. записала разговор с Гоголем: «Говорили об открытиях. Он бранил лампы. Я сказала: «А сколько нововведений на моей памяти! шоссе и дилижансы от Москвы до Петербурга, стеарин, дагерротип». Гоголь: «И на что все это надобно? Лучше ли от этого люди? Нет, хуже!»» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 549).

⁵«О сем помыслите прежде, – сказал Спаситель, – а сия вся вам приложится». – См. коммент. № 3 к письму XXII. *Русской помещик*.

⁶...городничие всех городов... земские заседатели... – *Городничий* – начальник уездного города. *Заседатель* – здесь: выборный представитель от дворян, член земского (уездного) суда.

⁷*Губернское правление* – высшее административное учреждение в губернии, возглавлялось вице-губернатором.

⁸*Присутственное место* (присутствие) – казенное учреждение.

⁹ *Гражданская палата* – высшее в губернии судебное учреждение.

¹⁰ Губернский предводитель – глава губернского дворянства, избиравшийся на три года.

¹¹ *...упомяну только о Совестном суде, подобного которому не знаю в других государствах.* – *Совестный суд* – вид губернского суда в России, рассматривавший гражданские и некоторые уголовные (малолетних, невменяемых) дела, в которых судья судил не только по закону, но и по совести. Существовал с 1775 по 1862 г. В записной книжке Гоголя 1841–1844 гг. отмечено: «Совестный судья по выборам не зависит от губернатора; благодетельнейшее установление. Судить все дела, где должны быть смягчены законы, по совести (христианской): малолетних, умалишенных. Суд его окончателен, поэтому стараются охотно препроводить дела в Совестный суд». Жалованья ему нет, канцелярия содержится от дворян, так, как и сиротское отделение, находящееся под председательством предводителя».

¹² *...в государствах колониальных...* – Подразумеваются Соединенные Штаты Америки, образовавшиеся в 1776 г. из английских колоний. Ср. характеристику Америки в статье Гоголя «О преподавании всеобщей истории» (1835).

¹³ *...не имеющего национальной целизны и духа народно-го...* – «Целизна, целизна – непаханое место» (записная книжка Гоголя 1841–1845 гг.); «нравственная целость и непорочность» (Толковый словарь В. И. Даля).

¹⁴ *...несколько сорванцов могли возмутить целое государство.* – Речь идет о декабристах.

¹⁵ *Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях.* – Эту мысль Гоголь развивает в статье «О ссловиях в государстве», оставшейся незавершенной (1840-е гг).

¹⁶ *...до такой наглости еще не возносили рог свой...* – Реминисценция 74-го псалма св. пророка Давида. «Рех беззаконнующим, не беззаконните: и согрешающим, не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего...» (ст. 5 – 6).

¹⁷ *Смотрите на то – любите ли вы других, а не на то – любят ли вас другие.* – Ср. в гоголевской выписке «О любви» из писем затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия (Машурина): «Не ищу, любите ли вы меня, – но смотрю себя: люблю ли я вас?» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 514).

XXIX. Чей удел на земле выше

Адресат не установлен. Письмо ощутимо проникнуто духом 83-го псалма св. пророка Давида. В Российской государственной библиотеке в Москве и в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге сохранились выписки Гоголя из Псалтири (на славянском, греческом и латинском языках). Ответ на вопрос «Чей удел на земле выше» содержится в письме Гоголя к Н. М. Языкову от 10 февраля 1842 г.: «...Нет выше удела на свете, как звание монаха».

¹...*тот, которому вверен был один талант...* – Подразумевается притча Спасителя о талантах (Мф. 25, 14–30).

²...«*В дому Отца Моего обители мнози суть*»... – Евангелие от Иоанна (гл. 14, ст. 2).

XXX. Напутствие

Адресат письма неизвестен. Содержание статьи перекликается с письмом Гоголя к матери от 1 сентября (н. ст.) 1842 г., где он просил оказать от его имени моральную поддержку встреченному ей в Харькове чиновнику, отличавшемуся «благородством и честной бедностью среди богатеющих неправдой», но бывшему при этом близким к отчаянию.

¹ *На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем там.* – Ср. в «Правиле жития в мире»: «Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу будем на том свете».

XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность

Настоящая статья подводила итог раздумьям Гоголя о судьбах отечественной литературы. О замысле ее Гоголь упоминает в письме к Н. М. Языкову от 28 мая (н. ст.) 1843 г., где сообщает о своем намерении поговорить о нем как о поэте «публично» и «сказать кое-что вообще о русских писателях». Одна из редакций

статьи была написана, по-видимому, в 1845 г. и уничтожена после критики В. А. Жуковского (см. об этом в начале письма Х. *О лиризме наших поэтов*). Отправляя П. А. Плетневу 16 октября (н. ст.) 1846 г. заключительную тетрадь рукописи «Выбранных мест...», Гоголь писал: «Так устал, что нет мочи; в силу сладил, особенно со статьей о поэзии, которую в три эпохи мои писал и вновь сожигал и наконец теперь написал, потому именно, что она необходима моей книге, в объяснение элементов русского человека. Без этого она бы никогда не написалась: так мне трудно писать что-нибудь о литературе».

Можно с уверенностью сказать, что названные в настоящей статье источники самобытности русской поэзии, из которых должны черпать вдохновение русские поэты, – народные песни, пословицы и слово церковных пастырей – имеют первостепенное значение для самого Гоголя. «Существо» и «особенность» русской поэзии явлены в его творчестве в полной мере.

¹ *Струи его пробиваются в наших песнях... в пословицах наших... в самом слове церковных пастырей...* – В определении трех начал русской поэзии Гоголь, по всей видимости, следует Н. М. Карамзину, который в заключение четвертой главы пятого тома «Истории государства Российского», посвященной описанию «состояния России от нашествия татар до Иоанна III», в качестве главных источников русской образованности того времени называет последовательно «церковные и душеспасительные книги» (включая сюда летописи, исторические произведения и «слова»), а также «народные пословицы» и «народные песни русские».

² *...стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину...* – См. коммент. № 3 к письму Х. *О лиризме наших поэтов*.

³ *...восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду.* – Имеется в виду «Ода блаженным памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» (опубл. 1751).

⁴ *Влопыхах занял он у соседей-немцев размер и форму...* – Подразумевается система силлаботонического стихосложения, изложенная М. В. Ломоносовым в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739).

⁵ *Божественный пророк Давид...* – Из оды М. В. Ломоносова «Ея Императорскому Величеству... Императрице Елисавете Петровне на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой

Княжны Анны Петровны... декабря 18 дня 1757 года». У Ломоносова: «Божественный певец Давид».

⁶ *Исайя* – библейский пророк.

⁷ *...одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня.* – Подразумевается поэт и переводчик *Петров* Василий Петрович (1736–1799).

⁸ *...весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлечением и делом отдохновенья...* – Гоголь утверждает это со слов самого М. В. Ломоносова: «Стихотворство – моя утеха, физика – мои упражнения» (Российская грамматика. Наставление шестое. Глава 1. § 472).

⁹ *...останки орд, распаляющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете...* – Гоголь имеет в виду, в частности, предания калмыков. В своем конспекте книги Н. Нефедьева «Подробные сведения о волжских калмыках» (СПб., 1834), в разделе «Религия и духовная образованность и словесность» калмыков, он записал: «Первые люди... жили по 80 тысяч лет... Калмык... иногда дня по три сряду слушает предания о подвигах сказочных героев, которых очень любит... Герои бывают ростом в несколько верст...» В статье «О движении народов в конце V века» (1835) Гоголь объясняет возникновение этих преданий тем, что «жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке».

¹⁰ *Встает в упор ее волнам...* – Из оды Г. Р. Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797).

¹¹ *И смерть как гостью ожидает...* – Из стихотворения Г. Р. Державина «Аристиппова баня» (1811).

¹² *Дмитриев показал много таланта...* – *Дмитриев* Иван Иванович (1760–1837) – поэт, имел переписку с Гоголем.

¹³ *От одного только Капниста...* – *Капнист* Василий Васильевич (1758–1823) – поэт и драматург. Капнисты – близкие знакомые семьи Гоголя.

¹⁴ *...какая-то особенная антологическая прелесть...* – *Антологиями* назывались в начале XIX в. переводные сборники произведений античных авторов, состоящие из коротких стихотворений чувственного характера, а также оригинальные произведения в том же духе.

¹⁵ *«Деревенский домик в Обуховке».* – Имеется в виду элегия В. В. Капниста «Обуховка» (1818). Обуховка – родовое имение поэта в Полтавской губернии.

¹⁶...стали предметом немецких поэтов. – В первоначальной редакции после этих слов следовало: «Случилось это в то самое время, когда с другой стороны строгие и чинные немецкие философы начали утверждать, что человечество достигнуло полной зрелости и началось наконец царство разума. Дело, впрочем, естественное, видя, что мудрость стала подноситься чересчур уже в черством виде, все, которые поживей, стали как школьники вырываться из класса с тем, чтобы поиграть и позаняться тем, что поближе к молодым побуждениям. У немцев молодые побуждения были и встарь ко всему неясному и безотчетному. Немцы ухватились за это и теперь».

¹⁷...в герое его баллады *Вадиме*... – *Вадим* – действующее лицо одноименной баллады В. А. Жуковского, входящей вместе с балладой «Громобой» в поэму «Двенадцать спящих дев» (1810–1817).

¹⁸...другое из *Уланда*... – *Уланд* Людвиг (1787–1862) – немецкий поэт и драматург. В. А. Жуковский перевел целый ряд его стихотворений и баллад.

¹⁹*Под надзирание ты предан*... – Из стихотворения Г. Р. Державина «Победителю» (1785).

²⁰«*Отчет о солнце*». – Подразумевается стихотворение В. А. Жуковского «Летний вечер» (1818).

²¹«*Отчет о луне*». – Имеются в виду послания В. А. Жуковского «Государыне Императрице Марии Федоровне. Первый отчет о луне, в июне 1819 года» и «Подробный отчет о луне, представленный Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне 1820, июня 18, в Павловске».

²²*Его «Славянка» с видами Павловска*... – Речь идет об элегии В. А. Жуковского «Славянка» (1815). *Славянка* – река в Павловске, близ Петербурга, где находилась летняя резиденция царя.

²³«*Ундина*» – Имеется в виду «Ундина, старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бароном Ф. Ламотт Фуке, на русском в стихах В. Жуковским» (СПб., 1837).

²⁴...передаче совершеннейшего поэтического произведения... – Подразумевается перевод «Одиссеи», над которым работал в это время В. А. Жуковский. См. статью «Об Одиссее, переводимой Жуковским».

²⁵...*Батюшков*... слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье». – *Батюшков* Константин Николаевич (1787–1855) – поэт. Гоголь ошибочно приписывает ему

слова из послания А. С. Пушкина «Жуковскому» (1818): «Блажен, кто знает сладострастие Высоких мыслей и стихов!»

²⁶ *Далекий, вожделенный берег!..* – Из стихотворения А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829).

²⁷ *...до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака...* – Имеются в виду следующие строки из «Евгения Онегина»: «Теперь мила мне балалайка Да пьяный топот трепака Перед порогом кабака» («Отрывки из путешествия Онегина»).

²⁸ *...всё, что ни есть во внутреннем человеке...* – *Внутренний человек* – одно из любимых выражений Гоголя, восходящее к словам св. апостола Павла из Второго послания к Коринфянам: «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (гл. 4, ст. 16). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов написал: «Наш внешний человек тлеет, но внутренний обновляется» (*Виноградов И. А., Воропаев В. А.* Карандашные пометы и записи Н. В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания. Вып. 2. С. 44). В уцелевших главах второго тома «Мертвых душ» Тентетников лишился своего замечательного наставника, когда еще «не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек...»

²⁹ *...ничтожной приметы, его смутившей...* – Имеется в виду, вероятно, стихотворение А. С. Пушкина «Приметы» (1829).

³⁰ *...на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика...* – Подразумевается стихотворение А. С. Пушкина «Эхо» (1831): «...Тебе ж нет отзыва... Таков И ты, поэт!»

³¹ *...научнообразным стремленьем своим...* – Слово *научнообразный* употреблено здесь в старом значении. Ср. в воспоминаниях доктора А. Т. Тарасенкова о Гоголе: «Не помню, почему-то я употребил в рассказе слово *научный*; он вдруг перестает есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: «Научный, научный, а мы все говорили «научнообразный»: это неловко, то гораздо лучше»» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 10).

³² *Не для житейского волненья...* – Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

³³ *Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам...* – Образ из библейской Книги Песни Песней Соломона: «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни...» (гл. 4, ст. 2).

³⁴ *Герой испанский Дон-Жуан... дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине...* – Подразумевается «Каменный гость» А. С. Пушкина (1830).

³⁵ *Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта...* – Имеется в виду «Сцена из Фауста» (1825). По свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь «объявил однажды, что известная пушкинская «Сцена из Фауста» выше всего «Фауста» Гете вместе взятого» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 279). *Гёте* Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий писатель.

³⁶ *...терцины Данта внушили ему мысль...* – Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «В начале жизни помню школу я...» (1830). *Данте* Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт.

³⁷ *...в первых повестях его...* – Подразумеваются «Повести Белкина» (1831).

³⁸ *«Рукопись села Горохина».* – Имеется в виду «История села Горюхина» (1830), которая в первой публикации (Современник. 1837. Т. 7) из-за неправильного прочтения рукописи имела название «История села Горохина».

³⁹ *«Царский арап»* – «Арап Петра Великого» (1827).

⁴⁰ *...набросок большого романа – «Дубровский».* – Имеется в виду незаконченный роман А. С. Пушкина, опубликованный посмертно (1841). Рукопись не имеет названия, оно дано издателями при первой публикации.

⁴¹ *...стихотворенье, в котором... изображен побег из города... и часть его собственного душевного состояния.* – Стихотворение А. С. Пушкина «Странник». См. коммент. № 5 к письму Х. О лиризме наших поэтов.

⁴² *Дельви* Антон Антонович (1798–1831) – поэт, издатель альманаха «Северные Цветы» (1825 – 1830) и «Литературной Газеты» (1830).

⁴³ *Козлов* Иван Иванович (1779–1840) – поэт. Его творчеству Гоголь посвятил статью «О поэзии Козлова» (1831–1833; опубликована посмертно).

⁴⁴ *Баратынский* (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844) – поэт.

⁴⁵ *Стоит назвать обоих Туманских...* – Имеются в виду поэты Василий Иванович *Туманский* (1800 – 1860) и его двоюродный брат Федор Антонович *Туманский* (1801–1853), автор популярного стихотворения «Птичка» («Вчера я растворил темницу...», 1827).

⁴⁶ *Крылов Александр Абрамович* (1793–1829) – поэт.

⁴⁷ *...прелагатель псалмов Ф. Глинка...* – *Глинка Федор Николаевич* (1786–1880) – поэт, автор «Опытов священной поэзии» (1826) и «Духовных стихотворений» (1839).

⁴⁸ *...партизан-поэт Давыдов...* – *Давыдов Денис Васильевич* (1784–1839) – поэт и военный писатель.

⁴⁹ *...Веневитинов, так рано от нас похищенный...* – *Веневитинов Дмитрий Владимирович* (1805–1827) – поэт и философ.

⁵⁰ *Хомяков Алексей Степанович* (1804–1860) – поэт, публицист, богослов.

⁵¹ *Покровы прочь! Перед челом...* – Из стихотворения *Н. М. Языкова* «Тригорское» (1826).

⁵² *...игра в свайку...* – *Свайка* – старинная русская народная игра; участники ее броском втыкают большой толстый гвоздь (свайку) в лежащее на земле кольцо.

⁵³ *Тяжкий гвоздь стойком и плотно...* – Из стихотворения *Н. М. Языкова* «К А. Н. Вульффу» (1828).

⁵⁴ *...появились его стихи отдельной книгой...* – Имеется в виду сборник «Стихотворения Н. Языкова» (1833).

⁵⁵ *...стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале.* – Подразумевается послание «Д. В. Давыдову», впервые опубликованное в «Московском Наблюдателе» (1835. Кн. 2).

⁵⁶ *...сам о себе сказал в послании к Овидию...* – «К Овидию» (1821).

⁵⁷ *...точно разымчивый хмель...* – *Разымчивый* – возбуждающий, забористый.

⁵⁸ *На благородное служенье...* – Вероятно, Гоголь по памяти цитирует стихотворение *Н. М. Языкова* «Дерпт» (1825). У Языкова: «И благородное стремленье На поле славы и наук».

⁵⁹ *В них раздались скучанья среди немецких городов...* – *Н. М. Языков* с 1838 по 1843 г. лечился за границей, преимущественно в Германии и Австрии.

⁶⁰ *Когда тебе на подвиг все готово...* – Из стихотворения *Н. М. Языкова* «Позту» (1831).

⁶¹ *...князь Вяземский...* – *Петр Андреевич* (1792–1878), поэт и критик, близкий знакомый А. С. Пушкина и Гоголя.

⁶² *...пестрый фараон всего вместе.* – Реминисценция из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «А перед ним воображенье Свой пестрый мечет фараон» (гл. 8, строфа 37). *Фараон* – азартная карточная игра.

⁶³ В его книге «Биография Фонвизина»... – Фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского. СПб., 1848. Отрывки из этой книги печатались в газетах, журналах и альманахах. Как явствует из письма Гоголя к князю П. А. Вяземскому от июля – сентября 1842 г., «почти половину всего сочинения» Гоголь прочел тогда в рукописи, присланной автором Н. М. Языкову. Переработанный текст этого письма лег в основу следующей далее характеристики книги князя Вяземского и пожелания, чтобы тот посвятил себя изображению века Екатерины. Примечательно, что с этим же пожеланием Гоголь обратился к нему и позднее, в письме от 1 января 1852 г.

⁶⁴ Душа прямится, крепнет воля... – Из стихотворения Н. М. Языкова «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву» (1826).

⁶⁵ Этот поэт – Крылов. – Крылов Иван Андреевич (1769–1844) – баснописец. В записной книжке Гоголя 1845–1846 гг. есть подготовительная запись: «О Крылове. Вот чистые, без всякой примеси русские понятия, золотые зерна ума. Ум безог³ворочный».

⁶⁶...тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. – В толковании поговорки Гоголь следует И. М. Снегиреву, известному фольклористу и этнографу, который усматривал в ней выражение свойственного русскому народу склада ума: «Что Русский и после ошибки может спохватиться и образумиться, о том говорит его же пословица: *Русский задним умом крепок*» (Снегирев И. Русские в своих пословицах: Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. М., 1832. Кн. 2. С. 27). Ср.: «Так в собственно Русских пословицах выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, особенность воззрения... Коренную их основу составляет многовековой, наследственный опыт, этот *задний ум*, которым *крепок Русский*...» (Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи. М., 1848. С. XV).

⁶⁷...как *стоглазый Аргус*... – Аргус – в греческой мифологии великан, тело которого было испещрено множеством (сотней) глаз; неусыпный страж. Согласно мифу, убит Гермесом, после чего Гера перенесла его глаза на оперение павлина.

⁶⁸ Измайлов Александр Ефимович (1779–1831) – поэт и прозаик, издатель журнала «Благонамеренный».

⁶⁹ «*Это осел Крылова!*» – Речь идет о басне «Осел» (1830).

⁷⁰ ...знаменитый спор пушек с парусами... – Имеется в виду басня «Пушки и паруса» (1827).

⁷¹...некоторые из них... замешались в безрассудное дело... – Подразумеваются участники декабристского движения.

⁷² «Две бритвы» – Басня И. А. Крылова «Бритвы» (1828).

⁷³ «Хор певчих» – Имеется в виду басня И. А. Крылова «Музыканты» (1808). В «Мертвых душах» Гоголь воспользовался половицей, которой заканчивается басня. Учитель Чичикова не любил Крылова за то, что тот сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей».

⁷⁴...в басне «Стоячий пруд»... – Басня И. А. Крылова называется «Пруд и река» (1814). Содержание ее отзывается в строках 6-й, «плюшкинской», главы «Мертвых душ»: «...Забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

⁷⁵...в басне «Сочинитель и разбойник»... – Мораль этой басни слышится в словах Гоголя из его «Завещания»: «Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

⁷⁶ Властитель хочет ли народы удержать?.. – Гоголь ошибочно приписывает И. А. Крылову аполог И. И. Дмитриева «Узда и конь» (1826), цитируя его по памяти. У Дмитриева: «Властитель! хочешь ли спокойно обладать?»

⁷⁷ Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый... – Из басни И. А. Крылова «Орел и пчела» (1811). В 1884 г. обнаружен рукописный журнал учеников Нежинской гимназии высших наук «Метеор литературы» («Часть I. 1826, январь. № 1»), писанный предположительно рукой Гоголя, с эпиграфом из первых восьми стихов этой басни Крылова. См. Пономарев С. Нежинский журнал Н. В. Гоголя // Киевская Старина. 1884. № 5.

⁷⁸...у князя Долгорукого... – Имеется в виду поэт и драматург Иван Михайлович Долгорукий (1764–1823).

⁷⁹...князь Кантемир находил пищу для сатиры... – Кантемир Антиох Дмитриевич (1708 – 1744) – поэт и дипломат, автор девяти сатир («На хулящих учение», «На зависть и гордость дворян злонравных...» и др.), имевших широкое хождение в списках (опубл. 1762).

⁸⁰...пародии князя Горчакова... – Подразумеваются сатирические произведения поэта и драматурга Дмитрия Петровича Горчакова (1758–1824), снискавшего репутацию «русского Ювенала».

⁸¹...сатиру на литераторов Воейкова – «Дом сумасшедших»... – Это сатирическое произведение поэта и критика Алек-

сандра Федоровича *Воейкова* (1778 или 1779–1838) было запрещено цензурой (опубл. 1857) и распространялось в списках. 19 февраля 1832 г. Гоголь присутствовал на обеде, данном петербургским литераторам А. Ф. Смирдиным по случаю переезда его книжного магазина. Здесь А. Ф. Воейков читал отрывки из «Дома сумасшедших», посвященные Н. И. Гречу, Ф. В. Булгарину и Н. А. Полевому (см.: Барон А. И. Дельвиг. Мои воспоминания. М., 1912. Т. 1. С. 105–106).

⁸²...*талантливые пародии Михайла Дмитриева...* – Речь идет о поэте, критике и мемуаристе Михаиле Александровиче *Дмитриеве* (1796–1866), знакомом Гоголя.

⁸³...*Аристофан... дерзнул осмеять Сократа.* – Имеется в виду комедия *Аристофана* (около 445 – около 385 до Р. Х.) «Облака» (423). *Сократ* (около 470–399 до Р. Х.) – греческий философ.

⁸⁴...*поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться.* – Парафраза слов М. Ю. Лермонтова: «Но я, расставшись с прочими мечтами, И от него отделался – стихами» («Сказка для детей», опубл. 1842).

⁸⁵...*один из них, издавший свои записки...* – Имеется в виду французский путешественник и литератор маркиз Астольф де Кюстин (1790–1857), чья книга «La Russie en 1839» («Россия в 1839 г.») вышла в Париже в 1843 г., выдержала несколько переизданий и была переведена на ряд европейских языков. В России книга была запрещена. Первый полный перевод ее на русский язык см.: *Кюстин А. де. Россия в 1839 году: В 2 т. /Пер. с фр.: под ред. В. Мильчиной.* М., 1996.

⁸⁶...*и вся Россия – один человек.* – Ср. в Книге Судей Израилевых: «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество как один человек...» (гл. 20, ст. 1).

⁸⁷ *Поэзия наша... добывала какой-то всемирный язык... чтобы приготовить всех к служенью более значительному.* – В ноябре 1842 г. Гоголь писал К. С. Аксакову, побуждая его приняться за изучение русского языка: «Пред вами громада – русский язык! Наслаждение глубокое зовет вас, наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его, в которых, как в великолепном создании мира, отразился Предвечный Отец и на котором должна загреметь вселенная хвалой Ему».

⁸⁸ *Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм... который исходит от наших церковных песней и канонов...* – Тайна этого лиризма была открыта Гоголю. В его бумагах сохранилась целая тетрадь переписанных им собственноручно зимой 1843/44 г.

из служебных Миней церковных песен и канонов – около ста листов. См.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 561–758.

XXXII. Светлое Воскресенье

Глава написана специально для книги.

¹...*как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего.* – Вспоминается притча Спасителя о богаче и нищем Лазаре, переданная св. апостолом и евангелистом Лукой: «Человек же некий бе богат, и облачашеся в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло. Нищ же бе некто, именем Лазарь, иже лежаще пред враты его гноен» (гл. 16, ст. 19–20).

²...*как всепогубляющая саранча...* – Ср.: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы» (Апок. 9, 3).

³...уже готова сброситься с Небес нам лестница... – Образ лестницы, соединяющей землю с небом, – один из любимейших у Гоголя. Он восходит к Библии, а именно к 28-й главе Книги Бытия (ст. 10–17), где описывается видение патриарха Иакова: «И сон виде: и се, лествица утверждена на земли, еяже глава досязаша до небесе, и ангели Божии восхождаху и низхождаху по ней». Этот фрагмент входит в паремии (избранные места из Священного Писания), читаемые в Церкви на Богородичные праздники, и встречается во многих акафистах – Пресвятой Богородице: «Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо»; святителю Николаю, небесному покровителю Гоголя: «Радуйся, лествице, Богом утвержденная, еюже восходим к небеси...» Примеры такого словоупотребления мы находим и в выписках Гоголя из церковных песен и канонов служебных Миней. В православной святоотеческой литературе «лествица» – важнейший образ духовного возрастания. Известно, что одной из любимых книг Гоголя была «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы. Сохранились свидетельства, что Гоголь внимательно изучал «Лествицу» и делал из нее подробные выписки. Дошедший до нас автограф Гоголя, хранящийся ныне в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) и датируемый приблизительно 1843 г., включает в себя выписки из «Лествицы» в том переводе, который был издан в Москве в 1785 г. с названием «Лествица, возводящая на небо». Цитаты и реминисценции из нее встречаются в письмах Гоголя первой

половины 1840-х гг. Доктор А. Т. Тарасенков вспоминал, что незадолго до своей кончины Гоголь указал ему «на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его» (*Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 13*). По словам того же Тарасенкова, сочинение преподобного Иоанна Синайского нравилось Гоголю «своими строгими правилами», и он «старался достигать высших ступеней, в нем описанных» (Там же. С. 31).

<АВТОРСКАЯ ИСПОВЕДЬ>

Впервые напечатано в кн.: Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. М., 1855. Название дано С. П. Шевыревым. Написано летом 1847 г. В данном произведении Гоголь намеревался дать ответ на критику «Выбранных мест из переписки с друзьями». Этот своеобразный автокомментарий он собирался выпустить в свет небольшой брошюрой одновременно с новым изданием книги в полном и исправленном виде. С. Т. Аксаков, прочитавший «Авторскую исповедь» по писарской копии, писал С. П. Шевыреву 19 ноября 1852 г.: «Она непосредственно относится ко мне. По крайней мере я нашел в ней полный ответ на каждое слово моих укорительных писем» (*Аксаков С. Т. Сочинения. Т. 3. М., 1895. С. 434*). Гоголь, конечно, имел в виду не только С. Т. Аксакова, но и других своих оппонентов, например В. Г. Белинского.

¹*...великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.* – Гоголь приводит слова св. апостола Павла из Послания к Римлянам (гл. 3, ст. 4). На полях принадлежавшей ему Библии Гоголь против этих слов сделал помету: «Человек Ложь, Бог истинен» (*Виноградов И. А., Воропаев В. А. Карандашные пометы и записи Н. В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания С. 242*).

²*...сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет...* – Подразумеваются «Мертвые души».

³*...непомещение многих... статей...* – Речь идет о цензурных изъятиях.

⁴*...на суд пред Того, пред Которым ни один человек не бывает прав.* – Реминисценция 142-го псалма св. пророка Давида: «Господи... не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живой» (ст. 1–2).

⁵...по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики... — Подразумевается в первую очередь В. Г. Белинский. 20 июня (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал о нем Н. Я. Прокоповичу: «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которые не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разума перед ним».

⁶...провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. — Имеется в виду отзыв Н. Ф. Павлова, сопроводившего свое первое «письмо» к Гоголю по поводу «Выбранных мест...» следующим эпиграфом: «Эта книга содержит в себе много истинного и много нового; но, к сожалению, истинное в ней не ново, а новое не истинно. Лихтенберг» (пер. с нем.) (Павлов Н. Ф. Сочинения. М., 1985. С. 254). 15 мая 1847 г. в письме к С. П. Шевыреву Гоголь отмечал, что Павлов в своей статье «сознается сам невинно, что эта книга (в которой, по его мнению, ничего нет нового, а что и есть нового, то ложь) сбила, однако же, его совершенно с прежнего его положения (как он называет) нормального. Хорошо же было это нормальное положение!»

⁷ Анахорет (греч.) — отшельник.

⁸ «Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный». — Евангелие от Матфея (гл. 5, ст. 48).

⁹ Я не сходя с своего пути. Я шел тою же дорогою. — Ср. в письме Гоголя к С. Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 г.: «Но внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаюсь и не колеблюсь никогда во мнениях главных...»

¹⁰ Я сделал в то же время воззвание ко всем читателям... — Речь идет о предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» (1846), в котором Гоголь обратился к читателям всех сословий с просьбой присылать ему замечания на книгу. См. также коммент. к «Четырем письмам к разным лицам по поводу «Мертвых душ».

¹¹...в журналах мне отвечали насмешками... — В. Г. Белинский в рецензии на второе издание «Мертвых душ» иронизировал по поводу гоголевского предисловия: «Итак, мы не можем теперь вообразить себе всех русских людей иначе, как сидящих перед раскрытою книгою «Мертвых душ» на коленях, с пером в руке и листом почтовой бумаги на столе...» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 512).

¹² Под небом Африки моей... — Из главы первой «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

¹³...я сел уже на корабль... – Имеется в виду первое путешествие Гоголя за границу, которое он совершил в конце июля 1829 г., тотчас после неудачи с поэмой «Ганц Кюхельгартен».

¹⁴Три дни только я пробыл в чужих краях... – На самом деле Гоголь провел за границей около двух месяцев и вернулся в Петербург 22 сентября 1829 г.

¹⁵...некоторые огорчения и... потребность большего уединения... заставили меня оставить Россию. – Второй раз Гоголь уехал за границу в начале июля 1836 г., после постановки на сцене и появления в печати «Ревизора». Вскоре после премьеры он замечал в «Театральном разезде после представления новой комедии»: «Я удалюсь: пустыня мне нужна...» «И нынешнее мое удаление из отечества, – писал Гоголь В. А. Жуковскому 28 июня (н. ст.) 1836 г., – оно послано свыше, тем же великим Провидением, ниспосылавшим все на воспитание мое».

¹⁶Два раза я возвращался потом в Россию... – В сентябре 1839 г. и октябре 1841 г.

¹⁷...как я уничтожал «Мертвые души»... – Речь идет о первом сожжении второго тома.

¹⁸Известная французская писательница... – Подразумевается Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804–1876). По свидетельству А. О. Смирновой, Гоголь не любил писательницы. «У этой женщины нет искры правды, даже нет чутья истины, – говорил он. – Она может только нравиться французам» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 69).

¹⁹...который дал себе название Луганского козака... – Псевдоним Владимира Ивановича Даля (1801–1872), писателя и лексикографа.

²⁰...я об этом сказал в печатной книге. – В предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями».

²¹...помня слова: просящему дай. – Из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа: «Проящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42).

ИСКУССТВО ЕСТЬ ПРИМИРЕНИЕ С ЖИЗНЬЮ

Впервые напечатано: Русский Вестник. 1888. № 11.

Статья представляет собой письмо к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г. из Неаполя. В приписке к нему Гоголь замечал: «Если письмо это найдешь не без достоинства, то при-

береги его. Его можно будет при втором издании «Переписки» поставить впереди книги на место «Завещания», имеющего выброситься, а заглавье дать ему: *«Искусство есть примирение с жизнью»*. Жуковский ответил Гоголю большим письмом, которое было опубликовано в «Москвитянине» (1848. № 4) под заглавием: «О поэте и современном его значении» (в Собраниях сочинений В. А. Жуковского печатается под названием «Слова поэта – дела поэта»).

По содержанию «Искусство есть примирение с жизнью» являет собой сокращенный вариант «Авторской исповеди». В конце жизни Гоголь намеревался поместить письмо в пятом томе готовившегося им Собрания сочинений среди статей из «Выбранных мест...» и «Арабесок».

¹ *Шепелевский дворец* – одно из дворцовых зданий в Петербурге, где жил В. А. Жуковский.

² *...значение и цель искусства... оно должно быть свято...* – Ср. характерные строки Гоголя в письме к князю В. Ф. Одоевскому из Рима от 15 марта (н. ст.) 1838 г.: «...мое сердце все еще болит донныне, когда занесется сюда газетный листок, и напрасно силюсь отыскать в нем знакомое душе имя... все рынок, да рынок, презренный холод торговли да ничтожества! Доселе всё жила надежда, что снидет Иисус гневный и неумолимый и беспощадным бичом изгонит и очистит святой храм от торга и продажи, да свободнее возлетит святая молитва. Теперь...» (фраза не закончена).

³ *Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения.* – В сборнике выписок Гоголя из святых отцов и учителей Церкви проблеме свободы воли прямо посвящены два отрывка: «Благодаяния Божии (Филарета, митрополита Московского)» и «О свободном произволении (св. Иереими, патриарха Константинопольского)».

⁴ *...говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью»... не подымается в сердце... негодованья противу брата...* – Содержание этого отрывка восходит к «Театральному разъезду...» (1842), где Гоголь писал, в частности, о значении «чистого смеха», что он призван укрощать мятежные движения скорбящей души, порывы человека к самоубийству или гневу против ближнего, являя тем самым одну из сторон того очистительного и утешительного воздействия искусства на человека, когда «вдруг» брызнут «свежительные слезы из его очей» и выходит

он «примиренный с жизнью». См. также коммент. к статье XXX. *Напутствие* «Выбранных мест из переписки с друзьями». Мыслью о недопустимости самоубийственной ненависти проникнуты и обращенные к революционерам слова Гоголя из чернового наброска неотправленного письма к В. Г. Белинскому 1847 г.: «Что спяна передушите всех, думаете поправить? Думаете, лучше будет погибнуть?» (записная книжка 1846 – 1851 гг.). Можно предположить, что само название настоящей статьи – «Искусство есть примирение с жизнью» – связано с теми произведениями критика, которые тот написал в так называемый «примирительный» период своей деятельности. Так, в своем неотправленном письме к Белинскому Гоголь замечал: «Позвольте мне напомнить прежние ваши работы и сочинения... Литератор... должен служить искусству, которое вносит в души... высшее примиренье, а не вражду...»

⁵*Рейтерны* – семья художника Евграфа (Гергардта) Романовича *Рейтерна* (1794–1865), тестя В. А. Жуковского.

ПРАВИЛО ЖИТИЯ В МИРЕ

Впервые напечатано Гейром Хетсо: Scando Slavica. Т. 34. Copenhagen, 1988. Первоначальная редакция трактата опубликована Г. П. Георгиевским под названием: «О любви к Богу и самовоспитании» в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909.

Написано в Ницце, где Гоголь провел зиму 1843/44 г. В это время он жил у Виельгорских на правах члена семьи, почти ежедневно встречался с А. О. Смирновой. Тогда же Гоголь составил сборник выписок из творений святых отцов и учителей Церкви. «После обеда, – вспоминала А. О. Смирнова, – Николай Васильевич вытаскивал тетрадку и читал отрывки из отцов Церкви» (*Смирнова-Россет* А. О. Дневник. Воспоминания. С. 56). Покидая Ниццу в марте 1844 г., Гоголь оставил Виельгорским два своих духовно-назидательных сочинения – «Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». О них он упоминает в письме к А. О. Смирновой от 20 марта (н. ст.) 1844 г.: «Накануне мы читали то, что угодно было Богу внушить мне прочесть, оно, как мне показалось, на

них подействовало. По крайней мере и графиня, и обе дочери дали слово быть веселы и тверды и перечитывать почаще то, что я им оставил». 12 апреля (н. ст.) Гоголь напоминает графине Л. К. Виельгорской: «Я вам оставил после себя гораздо лучшее средство для успокоения, чем мог бы доставить я сам. Я вам оставил то правило, которое сделало меня гораздо лучше, чем я был прежде. И теперь прошу вас, как может только любящий брат просить брата: не пренебрегайте им и перечитывайте со вниманием во всякую беспокойную и грустную минуту».

В 1965 г. беловые рукописи указанных сочинений Гоголя были обнаружены Б. Л. Бессоновым среди бумаг Виельгорских в архиве Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ныне Российский государственный исторический архив).

¹ *Любить Бога значит любить Его в несколько раз более...* — Подразумеваются слова Спасителя: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня...» (Мф. 10, 37).

² *...любовь не от Бога шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, боязливými и нетвердыми.* — Пример такой любви можно видеть в гоголевском Тарасе Бульбе, решившем во что бы то ни стало спасти своего сына Остапа: «Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб: он был малодушен, он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе...»

³ *...оказывать не одну только вещественную помощь...* — «Вещественник, материалист...» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

⁴ *«Претерпевый до конца спасется», — сказал Спаситель...* — (Мф. 10, 22; 24, 13; Мк. 13, 13).

О ТЕХ ДУШЕВНЫХ РАСПОЛОЖЕНИЯХ И НЕДОСТАТКАХ НАШИХ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ В НАС СМУЩЕНИЕ И МЕШАЮТ НАМ ПРЕБЫВАТЬ В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ

Впервые напечатано Б. Бессоновым: Русская литература. 1965. № 3.

Написано в Ницце зимой 1843/44 г., когда Гоголь жил у Виельгорских (см. коммент. к «Правилу жития в мире»). Опреде-

ленным напоминанием им об этом сочинении стали строки адресованного графине Л. К. Виельгорской письма XXVI. *Страхи и ужасы России* в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «...недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу... может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев... может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние...» («О гневе» и «Об унынии» – названия разделов настоящего трактата.) Ср. также в письме Гоголя к А. О. Смирновой от 20 октября (н. ст.) 1844 г.: «Не мешает... вам сказать насчет уныния, что у Софьи Михайловны (Соллогуб, дочери Л. К. Виельгорской. – В. В.) есть записочки, выбранные мною из разных мест против уныния. Может быть, вы отыщете в них что-нибудь и для себя, если будете в нем обретаться».

Замысел трактата во многом поясняют строки, посвященные объяснению Молитвы Господней в «Размышлениях о Божественной Литургии»: «Словом: *не введи нас во искушение* мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом: *но избави нас от лукавого* мы просим о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу...»

Теме преодоления гнева посвящен также относящийся к 1843 г. гоголевский автограф, представляющий собой выписки из «Лествицы» св. Иоанна Синайского и заметки самого Гоголя. См.: *Воропаев В., Виноградов И.* «Лествица, возводящая на небо». Неизвестный автограф Н. В. Гоголя // Литературная учеба. 1992. № 1–2–3.

¹...*припомнить все такие безделицы, которые нас выводят из себя...* – К письму Гоголя от 26 июля (н. ст.) 1847 г., адресованному С. М. Соллогуб, была приложена заметка на отдельном листе, близкая по содержанию к комментируемому месту. «Припомнить все случаи, которые производили самые сильные смущения и душевные страдания. Какие именно из этих душевных страданий были сильнее других и невыносимей. Почему они невыносимы и почему нельзя преодолеть их. Собрать и изложить это непреодолимое и доказать, что точно никакими силами нельзя преодолеть его. В заключение рассмотреть в самом себе, какие нервы в нас чувствительнее и раздражительнее всех прочих».

² *Хорошо бы даже вести журнал...* – Подобный совет Гоголь давал и сестрам. См., например, его письмо к А. В. и Е. В. Гоголь

(октябрь 1843 – май 1844 г.). Судя по всему, Гоголь и сам вел «журнал». Е. А. Хитрово передает в своем дневнике разговор с Гоголем в марте 1851 г.: «Я как-то осмелилась сказать, почему бы ему не писать записок своих. *Гоголь*: «Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я б оставил, а то бы это непременно выдали; а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег»» (Русский Архив. 1902. № 3. С. 557).

³«Сила моя в немощи совершается», – сказал Бог устами апостола Павла. – Второе послание к Коринфянам (гл. 12, ст. 9).

<О БЛАГОДАРНОСТИ>

Впервые напечатано И. А. Виноградовым: Литературная учеб. 2001. Кн. 3. Автограф хранится в Российской государственной библиотеке. В рукописи произведение не озаглавлено. Написано в середине 1840-х гг.

В письмах Гоголя содержатся многочисленные почти буквальные переключки с трактатом «О благодарности». «Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе ниспосланные мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что ни касается меня, и не достаёт у меня ни слов, ни слез, ни молитв для излияния душевных моих благодарений. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн душа моя!» (Н. Н. Шереметевой, 18 февраля (н. ст.) 1843 г.); «И право, мне кажется, человеку не о чем помышлять, как только о том, чтобы превратиться в благодарственный гимн и неумолкаемую песнь Ему» (графу А. П. Толстому 10 июня 1850 г.); «Молюсь, чтобы Бог превратил меня всего в один *благодарный гимн* Ему, которым бы должно быть всякое творенье, а тем более *словесное*, чтобы, очистивши меня от всех моих скверн, не помянувши всего недостойнства моего, сподобил бы Он меня, недостойного и грешного, превратиться в одну благодарную песнь Ему» (протоиерею Матфею Константиновскому 30 декабря 1850 г.); «...Нам следует ежеминутно благодарить Бога... вся наша жизнь должна быть неумолкаемой, радостной песнью благодаренья Богу. О, если бы сделать так, чтобы и никогда и времени неоставало для всяких других речей, кроме ликующих речей вечной признательности Богу!» (О. В. Гоголь 22 декабря 1851 г.).

Текст печатается по изд.: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2001.

О СОСЛОВИЯХ В ГОСУДАРСТВЕ

Впервые напечатано В. И. Шенроком в кн.: Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896. Статья осталась незавершенной; написана в середине 1840-х гг. По содержанию тесно связана с «Выбранными местами из переписки с друзьями».

11 июня (н. ст.) 1847 г. Гоголь, обращаясь к князю П. А. Вяземскому с просьбой написать статью о «тех истинах, о которых могут сказать только люди государственные», замечал: «Если о них не раздадутся теперь здравые определения, годные укрепить хотя некоторых или дать им знать, по крайней мере приблизительно, чего держаться, то их пойдут скоро коверкать вовсе негосударственные люди и могут сбить всех с толку. Вы видите, что некоторое поползновение к тому уже обнаруживается. Даже и я, человек вовсе негосударственный, заговорил о том». Хотя Гоголь имел здесь в виду прежде всего свои «Выбранные места из переписки с друзьями», в еще большей мере это относится к настоящей статье. Возможно, потому она и осталась незавершенной. Не случайно в отрывке «Рассмотрение хода просвещения России...» (записная книжка 1846–1851 гг.) Гоголь выступил против того, что «науки» стали «совершенно принадлежать частному человеку». 2 августа (н. ст.) 1847 г. он писал графу А. П. Толстому (бывшему тогда в отставке): «Будем исполнять закон Христа относительно тех людей, с которыми нам придется столкнуться... а о России Бог позаботится и без нас». В письме «О лиризме наших поэтов» Гоголь, как бы отказываясь от замысла статьи, замечает: «Из нас, людей частных, возыметь... любовь по всей силе никто не возможет... только... государь приобретет тот всемогущий голос любви... который один может только внести примиренье во все сословия...»

Тем не менее размышления о судьбах России занимают значительное место в гоголевском наследии. Отметим особенность данной статьи. Возможно, именно ее незавершенностью объясняется то, что духовенство в ней только упоминается, причем его миротворческая деятельность ставится в один ряд с примиряющей ролью князей и государя. Вместе с тем примечательно, что черты, которые придает Гоголь государю и дворянству, могут быть истолкованы именно как приметы духовного сословия. Так, монарх, по Гоголю, «должен отречься от себя и от своей собственности, как монах»; а дворянство – «должно быть сосудом и хранителем высокого нравственного чувства всей нации».

Заметим также, что, говоря о дворянах, что «они не должны попустить между собой присутствие такого помещика, который жесток или несправедлив», и что они должны приказать ему «выйти» из их круга, Гоголь определенно обращается при этом к своей выписке из Кормчей книги (см. коммент. к «Совету сестрам»), адресованной именно духовенству: «Повелеваем Епископа, или Пресвитера, или Диякона, биящего верных согрешающих или неверных обидевших и чрез сие устрашати хотящего, извергати из священного чина. Ибо Господь нас отнюдь сему не учил: напротив того, Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, страдая, не угрожал» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В. 9 т. Т. 8. С. 470). Ср. в статье «Русской помещик»: «Мужика не бей».

Таким образом, в своем незавершенном трактате Гоголь не столько изображает реальную картину русского общества, но преследует цель более назидательную – поставление законных властей России на должную им нравственную высоту.

¹«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет...» – Слова «Повести временных лет», созданной в нач. XII в. преподобным Нестором-летописцем и дошедшей до нас в составе ряда летописных сводов – Лаврентиевском (1377 г.), Ипатьевском (нач. XV в.) и др. Гоголь передает по памяти переложение слов летописи Н. М. Карамзиным в «Истории государства Российского».

²...слова эти были произнесены людьми вольных городов. – Ср. в заметке Гоголя 1830-х гг. «Начало княжеств»: «Норманы грабили чужие земли... собирали поборы с жителей и угнетали их. (См. Архангельский список). Это побудило славян, мерь, чудь и кривичей выгнать их. Они боялись возвращения их, соединились для защиты и начали делать укрепления. Но между этими четырьмя нациями восстало несогласие, необходимое следствие федеративной системы, и 4 народа признаются...» (не закончено).

<РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ>

Впервые напечатано: Размышления о Божественной Литургии Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша. СПб., 1857.

Замысел книги относится ко времени пребывания Гоголя в Ницце зимой 1843/44 г. и связан, в частности, с прочитанными им тогда в журнале «Христианское Чтение» анонимными

статьями «О православии Российской Церкви» (И. К. Яхонтова) (1843. Т. 3) и «О Литургии» (А. Н. Муравьева) (1841. Т. 1). Как показывает текстологический анализ, статья Муравьева (впоследствии она вошла в его книгу «Письма о Богослужении Восточной Кафолической Церкви») была избрана Гоголем как образец стиля для создания духовного произведения, предназначенного широкому читателю, и как краткое пособие для последовательного изложения хода Литургии (см.: *Гоголь Н. В. Собр. соч.*: В 9 т. Т. 6. С. 530–531 и др.). Тогда же в Ницце Гоголь составляет и свои выписки из служебной Минеи, чему предшествовала его просьба в письме к С. Т. Аксакову от 18 марта (н. ст.) 1843 г. прислать ему «молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами Церкви, пустынноиками и мучениками».

Наиболее интенсивно Гоголь работал над книгой в начале 1845 г., когда гостил у графа А. П. Толстого в Париже. Об этом времени он писал Н. М. Языкову 12 февраля (н. ст.): «Жил внутренне, как в монастыре, и в прибавку к тому, не пропустил почти ни одной обедни в нашей церкви». Такому образу жизни соответствует и характер его занятий: он принимается за изучение греческого языка, чтобы читать в подлиннике чинопоследования Божественной Литургии. При этом Гоголь пользовался книгами из библиотеки настоятеля русской посольской церкви в Париже протоиерея Димитрия Вершинского, бывшего профессора Петербургской Духовной академии, знатока святоотеческой письменности. В ту пору он работал над своим главным сочинением – «Месяцесловом Православно-Кафолической Восточной Церкви» – одним из первых научных трудов по литургике. В бумагах Гоголя сохранились две небольшие тетрадки, куда он внес крупным красивым почерком выписки на греческом и латинском языках из чина Литургии святителя Иоанна Златоуста. Полный текст его латинского перевода был списан для Гоголя неустановленным лицом (по предположению Н. С. Тихонравова на основании почерка – лицом духовного звания). Эта тетрадь из десяти листов почтовой бумаги большого формата также сохранилась в бумагах писателя.

Одним из главных пособий в работе над книгой служило Гоголю «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию...» Ивана Дмитриевского (М., 1803), неоднократно переиздававшееся. В подстрочном примечании к «Предисловию» Гоголь ошибочно называет автора Дмитриевым.

Помимо книги Дмитревского Гоголь упоминает сочинения св. патриархов Константинопольских Германа и Иеремии, святителя Николая Кавасилы (митрополита Солунского), блаженного Симеона (архиепископа Фессалоникийского), а также Старую и Новую Скрижаль.

Скрижаль – толкование Литургии и других церковных служб, составленное греческим иеромонахом Нафанаилом, переведенное на русский язык Арсением Греком и помещенное патриархом Никоном в предисловии к исправленному Служебнику. *Новая Скрижаль* – выдержавшая несколько изданий книга преосвященного Вениамина (Румовского-Краснопевкова): «Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского. В 4-х частях» (М., 1803). Ср. помету в записной книжке Гоголя 1841–1846 гг.: «Новая скрижаль, преосвящ^{енного} Вениамина». Здесь же Гоголь отметил: «О предании Божественной Литургии, св. Прокла» (подразумевается архиепископ Константинопольский Прокл, ученик святителя Иоанна Златоуста, автор не дошедшего до нас в полном виде сочинения о древней Литургии св. апостола Иакова, брата Господня). В гоголевском сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Церкви есть отрывок «О Литургии (Иеремии, Патриарха Константинопольского)», извлеченный из 1 ч. «Христианского Чтения» за 1842 г. и использованный в работе над книгой – «Святейшего Иеремии, Патриарха Константинопольского Ответ лютеранам. Об употреблении таинств».

Внимательно следил Гоголь и за новейшими изданиями. В его письмах этой поры упоминаются «Беседы на Божественную Литургию» протоиерея Василия Нордова (изд. 2-е, М., 1844), издававшаяся в Париже «Теологическая энциклопедия» и другие книги. Следует, однако, иметь в виду, что названные сочинения по литургике служили Гоголю в качестве пособий. «Размышления о Божественной Литургии», в которых органично сочетаются богословская и художественная (в основном – стилистическая) стороны, представляют собой совершенно оригинальное произведение и один из лучших образцов русской духовной прозы. Далеко не все современники писателя понимали это. Приведем тем более ценное свидетельство, переданное доктором А. Т. Тарасенковым. «Одному из моих знакомых, – пишет он в своих записках, – перечитавшему почти все духовные назидательные сочинения, Гоголь прочел эту «Литургию», и, по уверению

этого знакомого, никакая книга не производила на него такого впечатления: «Это сочинение Гоголя нельзя и сравнивать ни с каким другим сочинением того же рода: по силе слова оно превосходит все подобные сочинения, написанные на разных языках»» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 12). Мемуарист, несомненно, понимает здесь графа А. П. Толстого, в доме которого жил последние годы Гоголь.

Сведений о том, как протекала работа над книгой, почти не сохранилось. Можно думать, что «Вступление» к книге было написано в конце 1840-х гг., в эпоху прокатившейся по Европе волны революций. Своим содержанием оно перекликается с составленной Гоголем тогда же молитвой «Господи! спаси и помилуй бедных людей...». В последние годы своей жизни Гоголь трудился над окончательной редакцией «Размышлений...», судьба которой остается неизвестной. Рукопись дошла до нас в отрывках, созданных и переписанных в разное время. Главная, основная рукопись содержит почти весь текст сочинения в первой редакции, переписанный Гоголем набело. Позднейшие поправки внесены сверху строк карандашом. От этой рукописи, состоявшей из трех тетрадей, сохранились только первая и третья. Не внесены в основную рукопись и остались в черновых набросках «Предисловие» (заглавие дано Н. С. Тихонравовым), «Вступление» и «Заключение».

После смерти Гоголя рукопись книги была обнаружена вместе с уцелевшими главами второго тома «Мертвых душ». Весной 1852 г. граф А. П. Толстой, перечисляя в письме к сестре, графине Софье Петровне Апраксиной, оставшиеся после Гоголя бумаги, извещал, что среди них имеется «Объяснение Литургии» (не полностью), которое Гоголь никому, кроме него, не читал, и предполагал издать без имени автора (См.: *Паламарчук П. Г.* Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя // Н. В. Гоголь: История и современность. М., 1985. С 489). Доктор А. Т. Тарасенков сообщает, по-видимому, со слов графа Толстого, что незадолго до смерти Гоголь «окончательно отделал и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемо им в продолжение почти 20-ти лет; наконец, после многих переделок, переписок, он остался им доволен, собирался печатать, придумал для него формат книги: маленький, в осьмушку, который очень любил, хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех сословий. Это сочинение

названо *Литургиею*» (Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 11 – 12).

Замечание о том, что книга создавалась в течение двадцати лет, вызывает, естественно, сомнение. Никакими сведениями на этот счет мы не располагаем. По всей видимости, сообщение Тарасенкова является отголоском каких-то разговоров Гоголя с графом Толстым о том, что о предмете своей последней книги писатель размышлял с молодых лет. Школьный приятель Гоголя В. И. Любич-Романович вспоминал, что тот в церкви «молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную Литургию...» А однажды «Гоголь, недовольный пением дьячков, зашел на клирос и стал подпевать обедню, ясно произнося слова молитв, но священник, услышавший незнакомый ему голос, выглянул из алтаря и, увидев Николая Васильевича, велел ему удалиться...» (Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 554–555).

Отзвуки размышлений Гоголя о Литургии мы находим в его статье «Жизнь», опубликованной в «Арабесках» (1835) и датированной им самим 1831 г. Таким образом, сообщение доктора А. Т. Тарасенкова следует, видимо, понимать в том смысле, что замысел будущей книги вырастал в сознании Гоголя почти двадцать лет, то есть с того самого момента, как он вступил на писательское поприще.

16 мая 1852 г. С. П. Шевырев, занимавшийся разбором гоголевских бумаг, прочел «Объяснение на Литургию» на вечере у попечителя Московского учебного округа, председателя Московского цензурного комитета В. И. Назимова (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 12. СПб, 1898. С. 8). Это было первое обнародование новообретенного сочинения Гоголя. В тот же день М. П. Погодин отметил в своем дневнике: «Вечер у Назимова. Слушал Литургию Гоголя. Нет, слабо, хоть и есть несколько прекрасных мест» (Там же). Но Шевырев тогда же писал ему: «С мнением твоим о Литургии я несколько не согласен. Такого объяснения на русском языке еще не было. Что скажет митрополит (святитель Филарет Московский. – В. В.), не знаю. Удовлетворить его трудно. Маленькие неисправности могут быть, конечно, исправлены» (Там же. С. 8–9). С. П. Шевырев был одним из первых ценителей произведения. В июне 1852 г, накануне своего отъезда в Васильевку, он писал Анне Васильевне Гоголь, сестре писателя: «Когда я в первый раз читал его Размышления о Литургии, мне казалось, душа его носилась около меня, светлая,

небесная, та, которая на земле много страдала, любила глубоко, хотя и не высказывала этой любви, молилась пламенно, и в пламени самой чистой молитвы покинула бренное, изнемогшее тело» (Русская Мысль. 1896. № 5. С. 192). Возвращаясь с родины Гоголя, куда он ездил навестить родных покойного писателя и собрать материалы для его биографии, Шевырев заезжал в Оптину Пустынь, где прочел гоголевское «Объяснение...» насельникам монастыря. Оптинские иноки, хорошо помнившие Гоголя, нашли это сочинение «запечатленным цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет» (Летопись скита Оптиной Пустыни // РГБ. Ф. 214, № 316. Л. 39).

История публикации «Размышлений...» весьма драматична. Они пострадали от цензуры больше, чем любое другое произведение Гоголя. Сначала рукопись находилась у С. П. Шевырева, готовившего к печати сочинения Гоголя, оставшиеся после его смерти. Затем — у святителя Филарета, митрополита Московского, который, по словам Шевырева, намеревался исправить ее. В 1856 г. племянник Гоголя Н. П. Трушковский отправил рукопись в Петербургскую духовную цензуру. Цензурный комитет нашел, что в книге Гоголя «при множестве прекрасных мыслей встречается немало объяснений обрядов богослужения произвольных и даже неправильных; есть даже выражения, противные учению Православной Церкви. Посему и размышления эти не могут быть одобрены в настоящем их виде» (Русская Старина. 1902. № 9. С. 651). После вмешательства графа А. П. Толстого, назначенного 20 сентября 1856 г. обер-прокурором Святейшего Синода, книгу удалось издать, но в исправленном виде: цензуровавший рукопись архимандрит Кирилл исключил несколько мест (до сорока и более строк), прибавил от себя отдельные слова и фразы, исправил кое-где стиль, заменяя литературные обороты церковнославянскими. Цензурованная копия хранится ныне в Институте русской литературы (Пушкинском Доме). См.: *Воропаев В. А.* «Размышления о Божественной Литургии» Николая Гоголя: из истории создания и публикации // Вестник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. М., 2003. В то же время следует сказать, что исправления архимандрита Кирилла были правильны в отношении догматики и хода богослужения. Он восполнил также недочеты, происшедшие, с одной стороны, от недосмотра автора, с другой — от того, что Гоголь, вероятно, не был осведомлен о некоторых деталях богослужения, совершаемого в алтаре (см. коммент. № 17, 18 к *Литургии*

верных). В таком виде книга была издана П. А. Кулишом в 1857 г. под названием «Размышления о Божественной Литургии» и неоднократно переиздавалась, в том числе изданием Афонского Русского Пантелеимонова монастыря (М., 1910).

По подлинным рукописям Гоголя книга была впервые издана Н. С. Тихонравовым в т. 4 10-го издания Сочинений писателя (1889). Рукопись, по которой печатались «Размышления...», не имеет названия; оно дано было С. П. Шевыревым. Печатаая текст «Размышлений...», Тихонравов не оговорил разночтений с изданием П. А. Кулиша. Возможно, он их просто не заметил, а может быть, сознательно умолчал о них во избежание цензурных осложнений. В дальнейшем большинство отдельных изданий книги делалось по тексту Кулиша. Среди них стоит отметить издание, иллюстрированное известным художником-гравером Федором Солнцевым (*Гоголь Н. В. Размышления о Божественной Литургии. С 17-ю рисунками академика Ф. Г. Солнцева, наглядно изображающими всю Божественную Литургию.* СПб., 1910). Оно было рекомендовано Министерством народного образования библиотекам низших училищ и бесплатным народным читальням, а Святейшим Синодом допущено в библиотеки церковных школ и те же народные читальни.

Следует иметь в виду, что сочинение Гоголя не преследовало научных задач и в этом отношении уступает многим исследованиям и даже пособиям по курсу богослужения или литургики. «Размышления о Божественной Литургии» – это продукт не столько ума, сколько сердечной веры. Напомним, что по свидетельству современников, Гоголь намеревался издать свое сочинение без имени автора, сделать его понятным для народа. «Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, – писал он в «Предисловии», – выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою... Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою».

О том, что Гоголь успешно справился с задачей ознакомления молодых людей со смыслом православного богослужения и очередностью его действий, говорит тот факт, что Императрица мученица Александра Федоровна в целях объяснения цесаревичу Алексею обедни читала вместе с ним «Размышления о Божественной Литургии» Гоголя. См.: «Дневник Государыни Импера-

трицы Александры Феодоровны» за декабрь 1917 и январь – март 1918 года (ГАРФ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 333 и 326).

Вступление

¹...*Им же мир бысть*... – Евангелие от Иоанна (гл. 1, ст. 10).

Проскомидия

¹ *Стихарь* – облачение диакона, прямая длинная одежда с рукавами.

² ...*как овечка ведется на заклание*... – Здесь и далее приводятся слова из Книги пророка Исаии (гл. 53, ст. 7–9).

³ Слова *дабы ничто не пропало из Святого Хлеба, и все бы пошло в утверждение* исключены цензурой. Ко всему отрывку о Проскомидии цензор архимандрит Кирилл сделал следующее подстрочное примечание: «Частицы, изъятые из просфор с воспоминанием имени того, кто принес и за кого принес их, к концу Литургии, по причащении, погружаются в Чашу, с молением: «*Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих*». См. коммент. № 20 к *Литургии верных*.

⁴...*приветствует Его каждением фимиама*... – Далее было: «...обрядом, восходящим к глубокой древности, когда возносил<ось> Богу благоухание, как лучшее, что ни находил<и> на земле. Но не одно благоухание вещественное возносит иерей, – возносит он с ним соединенное благоухание духовное, без которого ничтожно было бы каждение. Почему диакон, еще прежде самого каждения, напоминает ему, дабы благословил и самое кадило, и благословляет иерей, читая в то же время молитву кадила, а молитва в таких словах». Ср. просьбу Гоголя в письме к Ф. Н. Беляеву от 5 марта (н. ст.) 1845 г. из Франкфурта: «Попросите... священника нашего (протоиерея Димитрия Вершинского. – В. В.)... чтобы он списал для меня... небольшую выписку из книги, которую я у него брал за день до моего отъезда и в которой собраны некоторые статьи относительно богослужения. Из этой книги я прошу у него выписать о фимиаме и кадиле».

⁵...*Спаситель, всем служивший и умывший ноги*. – Евангелие от Иоанна (гл. 13).

⁶...*О чесом бо помолимся, не вемы, говорит апостол Павел*... – Послание к Римлянам (гл. 8, ст. 26).

Литургия оглашенных

¹...о...*палатах*... – то есть о придворных и гражданских чинах. По объяснению И. И. Дмитриевского, палатными (от *греч.* палата, дворец; из *лат.* Palatium – холм, на котором был основан Рим) назывались в Римской империи придворные и гражданские службы, в отличие от военной.

²...*совокупно с ликом*... – Лик – хор.

³*В продолжение второго антифона*... – Сразу вслед за вторым антифоном исполняется песнь Господу Иисусу Христу «Единородный Сыне и Слове Божий...», объяснение которой Гоголь опускает.

⁴...*возглашаются во всеуслышанье блаженства*... – Имеются в виду заповеди блаженства из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа.

⁵...*воззванием благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте*... – Евангелие от Луки (гл. 23, ст. 42).

⁶...*не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути*... – Гоголь истолковывает притчу о сеятеле (Лк. 8, 5 – 15).

⁷...*кто не родится свыше, не ввидет в Царствие Небесное*... – Евангелие от Иоанна (гл. 3, ст. 3).

⁸...*к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей*... – Спаситель дважды изгонял торгующих из Иерусалимского храма: в начале Своего служения (Ин. 2, 13–17) и три года спустя, в Великий понедельник (Мф. 21, 12–13; Мк. 11, 15–19; Лк. 19, 43–46).

Литургия верных

¹*Иерей... возглашает: Премудрость!*... – Это слово возглашает диакон.

²...*Никто из связавшихся чувственными пожеланьями*... – Вольное переложение молитвы священника во время Херувимской песни.

³...*будучи благоуханьем Христовым, по слову Апостола*... – Слова Второго послания св. апостола Павла к Коринфянам (гл. 2, ст. 15).

⁴*Песню эту сложил сам император*... – Подразумевается византийский император Иустин II (Младший), царствовавший с 565 по 578 г.

⁵...*святую ложку*... – Правильно: лжицу (в пер. с греч. – клещи).

⁶...*называемый Великим Выходом*. – Правильнее: Великим Входом.

⁷...*Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона*... – Псалом 50, ст. 20–21.

⁸...*приветствие Самого Спасителя: Мир всем!* – Евангелие от Луки (гл. 24, ст. 36).

⁹...*Остави дар свой и шед прежде примиришься с своим братом*... – Из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа (Мф. 5, 24).

¹⁰...*Аще кто речет: люблю Бога, а брата своего ненавидит*... – См. коммент. № 1 к письму XIX. *Нужно любить Россию*.

¹¹ *Потир* – «Чаша для Св. Причастия» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

¹²...*яко порт нечист вся дела ваша*. – Слова молитвы пророка Исаии: «...якоже порт нечистыя вся правда наша...» (Ис. 64, 6).

¹³...*в рудах*... – «...в рудокопаниях, каменоломнях заключенные...» (объяснение И. И. Дмитриевского).

¹⁴...*как в зеркале... Как в звуке*... – И. И. Дмитриевский приводит слова архиепископа Газского Самона, которыми воспользовался Гоголь: «Якоже некое зеркало кто имеяй, узрев себя (в нем), на многие потом укрушцы (куски) хотя бы раздробил: но однако в коемжде уломке (обломке. – В. В.) тень лица и тогда целу узрит. Тако да помышляет всяк и *плоть Христову* быти *неврежденну и всецелу в коейждо крупице*. И якоже человек, произносящий некое речение, глаголет, и глаголя разумеет оное, и слышит, и сущие окрест его, хотя б и многие были слышашие, слышат не раздельное, но всецелое. Таковый же образ и о теле Христовом» (Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. Основано на Священном Писании, Правилах Вселенских и Поместных Соборов и на писании Св. Отцев Церкви. Составлено Иваном Дмитриевским. Издательский отдел Московского Патриархата, 1993 /Репринтное воспроизведение издания 1897 г. С. 335). Ср. у святителя Димитрия Ростовского: «И паки, аще удивляешься, како един целый Христос во многих частях равно верным дается, не меньши во единой и не больши в друзей; удивляйжесь и сему, како един глас мой и у мене есть во устех и в ваших ушесех вкупе един глас. И аще удивляешься, како Тело не ломается в раздроблении Таин, егда Агнец раздробляем, или како во всякой части совершенный и целый есть Христос; удивляйжесь и сему, егда зеркало раздробится в малые части, образ же человеческий в

нем не раздробляется, но во всякой части цел является, якоже и в полном зеркале» (Сочинения св. Димитрия, митрополита Ростовского. Т. 5. М., 1840. С. 133).

¹⁵ *Врата царские разверзаются, <возвещая... совоспевает ему вся церковь.>* – В угловых скобках поставлены слова Гоголя, перенесенные сюда цензором архимандритом Кириллом из повторного, расположенного ниже, описания этого же момента Литургии, которое по недосмотру автора осталось незачеркнутым в основном тексте рукописи. См. коммент. № 18.

¹⁶ *...Се прикоснуся устам твоим...* – Книга пророка Исаии (гл. 6, ст. 7).

¹⁷ *...и воспевают певцы сии ликующие песни...* – Цензором архимандритом Кириллом данное место было исправлено, так как эти песнопения не поются певцами, а читаются в алтаре священником после его причащения: «...Церковь устами своих священнослужителей повторяет сии ликующие песни...» По причащении священнослужителей и мирян священник опускает также в Потир частицы, вынутые из просфор, произнося: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих».

¹⁸ *...и соделает твердыми стопы наши.* – Далее в рукописи следует текст, относящийся к уже описанному причащению мирян. Этот момент Литургии оказался, таким образом, описанным Гоголем дважды и второй раз не на своем месте, а потому весь следующий фрагмент был исключен цензором: «И разверзаются в последний раз царские врата, возвещая разверзаньем своим разверзание самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру. В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении слов: *со страхом Божиим и верою приступите*, и в ее отнесении изображается исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с Собой в дом Отца Своего. Громом торжественного песнопенья гремит весь лик в ответ: *Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явился нам!* И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь».

¹⁹ *А священник, складывая в это время антиминс и, с Евангелием в руках, ознаменовав <крест>, возглашает Троичное славословие...* – Фраза была исправлена цензором архимандритом Кириллом следующим образом: «А священник, сложивши в это время антиминс и ознаменовав его крестообразно Евангелием, возглашает Троичное славословие...»

²⁰ Отрывок *Затем священник приступает к боковому жертвеннику... очищение вселенная* исключен цензором, так как погружение в Потир частиц, вынутых из просфор на Проскомидии, совершается еще на престоле, а не на боковом жертвеннике. Объяснение следующей далее заамвонной молитвы Гоголь опускает.

²¹ Слова *Испив из Чаши приобщение всех с Богом* исключены цензором.

²² ...*раздаче Святого Хлеба...* – Антидора.

²³ Отрывок *Хотя и не накрывается теперь... совершает ту же Святую Трапезу Любви* исключен цензором.

²⁴ ...*Ныне отпущаеши раба Твоего...* – Молитва праведного Симеона Богоприимца (Лк. 2, 29).

МОЛИТВЫ, ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ, ПРЕДСМЕРТНЫЕ ЗАПИСИ

В настоящий раздел включены молитвы, написанные Гоголем во второй половине 1840-х гг. Они свидетельствуют о его богатом молитвенном опыте и глубокой воцерковленности его сознания. Предание приписывает Гоголю также стихотворную молитву:

«Никтоже притекая к Тебе, посрамлен от Тебе исходит, Пречистая Богородице Дево, но просит благодати и приемлет дарование к полезному прощению <Богородичен 6-го гласа по тропаре святому>.

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшие моления,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиление,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле –
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышу судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!»

Впервые напечатано в 1894 г. (без имени Гоголя) в типографии Киево-Печерской лавры на отдельном листе большого формата (цензурное разрешение 8 октября 1894 г.) под названием «Песнь молитвенная ко Пресвятой Деве Марии Богородице». Без имени Гоголя эта молитва печаталась также в «Собрании листков для душеполезного чтения» (Благословение Свято-Афонского Ильинского скита. Одесса, 1896. №. 66). В 1897 г. историк А. А. Третьяков напечатал ее в журнале «Русский Архив» (№. 8) с примечанием, что молитва была сообщена ему иеромонахом Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой лавры Исидором (Грузинским-Козиным), который знал ее от своего брата, камердинера в доме графа А. П. Толстого, где жил последние годы и скончался Гоголь. Эту молитву отец Исидор очень любил и усиленно распространял, даже посылал ее Государю Александру III, Гладстону и Бисмарку. Возможно, от него она попала и на Афон, где он одно время подвизался. Более подробные сведения об отце Исидоре см. в кн.: Соль земли, то есть Сказание о жизни старца Гефсиманского скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским (книга вышла в начале XX в. и переиздана репринтно в 1984 г. изданием монастыря Св. Германа Аляскинского (Платина, Калифорния); см. также Ф л о р е н с к и й П. А., священник. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1994). В юбилейном 1909 году молитва Гоголя была перепечатана (с некоторыми исправлениями) в газетах «Московские Ведомости» (20 марта) и «Русское Знамя» (30 апреля); затем она была помещена в качестве приложения в кн.: Г о г о л ь Н. В. Размышления о Божественной Литургии. С 17-ю рисунками ака-

демика Ф. Г. Солнцева, наглядно изображающими всю Божественную Литургию. СПб., 1910.

На 1846 <год>

Впервые напечатано В. И. Шенроком (по копии Н. П. Трушковского) в кн.: Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

«Влеки меня к себе, Боже мой...»

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Современнике» (1858. №. 11). Другие редакции этой молитвы (связанной с созданием «Мертвых душ») см. в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Молитва была послана Гоголем А. А. Иванову в канун «Нового Русского года», 12 января (н. ст.) 1847 г. «Посылаю вам молитву, — писал Гоголь, — молитву, которою ныне молюсь я всякий день. Она придется и к вашему положению, и если вы с верою и от всех чувств будете произносить ее, она вам поможет. Читайте ее поутру всякий день. А если заметите за собой, что находитесь в тревожном и особенно беспокойном состоянии духа, тогда читайте ее всякий час и никак не позабывайте это делать».

«Боже, благослови!..»

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Данное молитвенное воззвание по случаю наступления Нового года написано Гоголем на обрывке писчей бумаги и связано с созданием поэмы «Мертвые души».

«Господи, дай мне помнить вечно... мое неведение...»

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Написано на лоскутке писчей бумаги.

«Боже, содей безопасным путь его...»

Впервые напечатано П. А. Кулишом в кн.: Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Т. 6. СПб., 1857. Написано по случаю предстоящего паломничества в Иерусалим. Молитва послана Гоголем в письме к матери из Неаполя от 15 января (н. ст.) 1848 г., в котором, в частности, говорится: «Прошу вас отправить молебен и, если можно, даже не один (во всех местах, где умеют лучше

молиться), о благополучном моем путешествии. Чувствую, что нет сил помолиться самому: силы мои как бы ослабели, сердце черство, малодушна душа. Я требую от вас всех помощи, как погибающий брат просит у братьев. Соедините ваши моления и помогите воскрылиться к Богу моей молитве... Прилагаю здесь, на всякий случай, на особенной бумажке содержание того, о чем бы я хотел, чтобы священник, сверх содержимого в обыкновенных молебнах, молился».

«Господи! спаси и помилуй бедных людей...»

Впервые напечатано Г. П. Георгиевским в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. Молитва составлена Гоголем в конце 1840-х гг., во время прокатившейся по Европе волны революций.

«Милосердия, Господи. Ты милосерд...»

Эта и следующая молитва – «Боже, дай полюбить еще больше людей» – содержатся в записной книжке Гоголя 1846–1851 гг.

«Молюсь о друзьях моих...»

Впервые напечатано в кн.: Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1892 г. СПб., 1895. На автографе помета: «Писал Гоголь перед смертью в 1852 году».

Духовное завещание

Впервые напечатано И. А. Линниченко в «Русской Мысли» (1896. № 5). Написано, по-видимому, в последние дни жизни Гоголя.

¹...*помнить изречение Спасителя: «Паси овцы Моя!»* – (Евангелие от Иоанна, гл. 21, ст. 16–17). Смысл этих слов Гоголь разъясняет в письме к сестре Ольге Васильевне из Неаполя от 20 января (н. ст.) 1847 г.

²*Якима отпустить на волю.* – *Яким* Нимченко (ок. 1803–1885) – крепостной человек Гоголя, бывший при нем камердинером и поваром в Петербурге в 1829–1836 гг. Согласно завещанию Гоголя получил вольную.

³*Семена также...* – *Семен* Григорьев – крепостной мальчик Гоголя, бывший его слугою в 1848–1852 гг., когда Гоголь жил в Москве в доме графа А. П. Толстого на Никитском бульваре. Го-

голь, по словам его матери, говорил, что даст за мальчика ответ перед Богом, и старался воспитать его, беседуя с ним и давая читать полезные книги (см.: Лит. наследство. Т. 58. С. 744). После смерти Гоголя Семен был отправлен в Васильевку и отдан в услужение Н. П. Трушковскому, племяннику Гоголя.

⁴...*прослужит лет десять графу*. – А. П. Толстому.

⁵...*упражнение в труде на воздухе около сада или огорода*. – Архимандрит Феодор (Бухарев) в одном из примечаний к своей книге вспоминал, как Гоголь рассказывал ему о своих садовых и огородных занятиях в школе, благотельных для его духовного развития. «Всему этому, – говорил Гоголь, – много обязан я тем, что еще свежего сохранилось в душе моей» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 61).

Совет сестрам

Впервые напечатано (с пропуском, по копии С. П. Шевырева) И. А. Линниченко в «Русской Мысли» (1896. № 5). Написано, вероятно, как и духовное завещание, незадолго до смерти.

¹...*дом свой да превратят в обитель*... – В этом пожелании Гоголь, очевидно, руководствовался правилом Константинопольского Св. Собора 861 г. о создании монастырей из частных имений и о поставлении в них игуменов. Это правило содержится в Кормчей книге, с новым синодальным изданием которой Гоголь познакомился еще в год его выхода – в 1839-м. Сохранилась тетрадь выписок Гоголя из этого издания, которые он сделал зимой 1843/44 г. в Ницце.

² *Одна из них может быть игуменьей*. – По свидетельству биографов Гоголя, в родной семье писателя царил атмосфера глубокого христианского благочестия (см.: Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. Киев, 1902. Отд. 3. С.36–37; Глебов С. Воспоминания о Гоголе // Русская Старина. 1910. № 1. С. 73–74). Этому много способствовали бабушка Гоголя Татьяна Семеновна и его мать Мария Ивановна.

Друзьям моим

Впервые напечатано П. А. Кулишом в кн.: Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854. По содержанию данный отрывок примыкает к духовному завещанию и написан, по-видимому, в одно время с ним.

«Будьте не мертвые, а живые души...»

Впервые напечатано И. А. Линниченко в «Русской Мысли» (1896. №. 5). Написано на отдельном листе, вероятно, в последние дни жизни Гоголя.

¹...*всяк, прелезаѣй иначе, есть тать и разбойник.* – «Аминь, аминь, глаголю вам: не входяѣй дверьми во двор овчий, но прелезаѣя инуде, той тать есть и разбойник...» (Евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 1).

Строки, написанные за несколько дней до кончины

Первая запись – «Аще не будете малы, яко дети...» – впервые напечатана П. А. Кулишом в кн.: Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854. Остальные записи впервые опубликованы Н. С. Тихонравовым в кн.: Библиотека для Чтения. Бесплатное приложение к журналу «Царь-Колокол» (Соч. Н. В. Гоголя. Дополнительный том ко всем предшествовавшим изданиям Соч. Гоголя. Вып. I). 1892. №. 3.

¹ *Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное.* – Евангелие от Матфея (гл. 18, ст. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
-------------------	---

СТАТЬИ ИЗ «АРАБЕСОК»	16
Скульптура, живопись и музыка	16
О преподавании всеобщей истории	20
Взгляд на составление Малороссии	35
Несколько слов о Пушкине	45
Ал-Мамун	51
Жизнь	57
Шлецер, Миллер и Гердер	60
Мысли о географии	65
Последний день Помпеи	74

ТАРАС БУЛЬБА	82
--------------------	----

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ	204
Предисловие	204
I Завещание	207
II Женщина в свете	212
III Значение болезней	217
IV О том, что такое слово	218
V Чтения русских поэтов перед публикою	222
VI О помощи бедным	224
VII Об Одиссее, переводимой Жуковским	226
VIII Несколько слов о нашей церкви и духовенстве	235
IX О том же	237
X О лиризме наших поэтов	239
XI Споры	253
XII Христианин идет вперед	256
XIII Карамзин	258
XIV О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности	260

XV Предметы для лирического поэта в нынешнее время	271
XVI Советы	275
XVII Просвещение	277
XVIII Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»	280
XIX Нужно любить Россию	295
XX Нужно проездиться по России	296
XXI Что такое губернаторша	304
XXII Русской помещик	318
XXIII Исторический живописец Иванов	325
XXIV Чем может быть жена для мужа в простом дома- шнем быту, при нынешнем порядке вещей в России	336
XXV Сельский суд и расправа	340
XXVI Страхи и ужасы России	342
XXVII Близорукому приятелю	346
XXVIII Занимающему важное место	348
XXIX Чей удел на земле выше	367
XXX Напутствие	368
XXXI В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность	370
XXXII Светлое Воскресенье	415
ДУХОВНАЯ ПРОЗА	425
<Авторская исповедь>	425
Искусство есть примирение с жизнью	463
Правило жития в мире	468
О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии	473
<О благодарности>	483
О сословиях в государстве	484
<Размышления о Божественной Литургии>	489
Молитвы, духовное завещание, предсмертные записи ...	541
КОММЕНТАРИИ	547

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (*вышел*)

Русское Православие (*выйдет в 2008 г.*)

Русское государство (*вышел*)

Русский патриотизм (*вышел*)

Русское мировоззрение (*вышел*)

Русский образ жизни (*вышел*)

Русская география

Русское хозяйство (*вышел*)

Международные отношения

Национальные отношения

Русская литература (*вышел*)

Русское искусство

Русский театр

Русская музыка

Русская наука

Русская школа

Русское воинство

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организаций. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Е. Н. Сапрыкина
Корректор А. Г. Мартынова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 05.04.2008 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 33,0 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.